

Екатерина Михайлова

“Я у себя одна”,

или

Веретено Василисы

Москва
Независимая фирма «Класс»
2003

УДК 615.851

ББК 53.57

М 94

Михайлова Е.Л.

М 94 “Я у себя одна”, или Веретено Василисы. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2003. —

320 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 101).

ISBN 5-86375-049-9

Бывают книги, встреча с которыми становится событием. Как минимум потому, что они помогают взглянуть на свою жизнь иначе, чем мы привыкли. К их числу принадлежит и та, которую вы держите в руках. Именно таким необычным взглядом она и отличается от многочисленных книг “про женщин” и “про женскую психологию”. Хотя, разумеется, речь в ней идет и о том, и о другом. А еще о женских психологических группах и их участницах, о гендерных мифах и о том, как они появляются. А также о том, почему мы такие, какие есть, и может ли быть иначе.

Узнавания сменяют открытия, боль и страх чередуются с иронией и озорством, пониманием и любовью. Так и крутится веретено, сплетая нитку жизни — жизни женщины и жизни вообще, в которой столько разного...

А прочитать книжку полезно всем — независимо от пола, возраста и профессии. Право слово, равнодушными не останетесь.

Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль

Научный консультант серии Е.Л. Михайлова

ISBN 5-86375-049-9

© 2003 Е.Л. Михайлова

© 2003 Независимая фирма “Класс”, издание, оформление

© 2003 Е.А. Кошмина, дизайн обложки

Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству “Независимая фирма “Класс”. Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

www.kroll.igisp.ru

Купи книгу “У КРОЛЯ”

БЛАГОДАРНОСТИ, ИЛИ ПРОСТО ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ “СПАСИБО”:

- Всем участницам женских групп разных лет и мест — за честь и удовольствие совместной работы. Имена и узнаваемые детали ваших историй в этой книге изменены, потому что мы так договаривались. Иногда мне было очень жаль это делать: подробности бесценны. Но уговор дороже.
- Психодраматистам — учителям и коллегам — за науку, за особый цеховой кураж и знание тайных троп в ад и обратно.
- Всем бывшим и нынешним сотрудникам Института групповой и семейной психотерапии, без которых не было бы женских групп, следовательно, и этой книги: Елене Виль-Вильямс, Ирине Дмитриевой, Евгении Левиной, Александру Масаеву, Галине Поддо, Наталье Дацкевич, Наталье Ефанкиной, Алене Науменко, Ольге Гавриловой, Елене Пикуновой.
- Директору Института и моему мужу Леониду Кролю, поддержавшему в свое время проект, в успех которого не очень-то и верил.
- Ольге Петровской и Александре Сучковой, ведущим в женском проекте Института тренинги “Зеркало для Венеры”, “Жила-была девочка...” и еженедельные женские группы.
- Заре Мигранян и Татьяне Рощиной, познакомившим меня с журнальным “закулисьем”.
- Ирине Тепикиной, редактору и повитухе этой книги, стимулировавшей полагающиеся муки. У авторов нынче модно редактировать себя самим — видимо, они не знают, какого удовольствия лишаются.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ АВТОРА

Что касается этой книги... Сам предмет ее ни на секунду не позволяет забыть, что мы ведем свой разговор в пространстве, насыщенном парами разнообразной гендерной, — то бишь связанной с “социальным”, а не биологическим полом, — мифологии. Не только что насыщенном, а с превышением “предела допустимой концентрации”. Нравится нам это или нет, но надыхались по самое некуда. Попробуйте-ка сказать о “женщинах вообще” хоть что-нибудь неизбежное — все равно получится банальность, глупенькая младшая сестренка мифа. Бородатая патриархальная мифология перепуталась в наших бедных головах с новейшей феминистской, которая, на мой взгляд, обладает всеми чертами бунтующей дочери властного отца: в яростной борьбе до поры до времени трудно разглядеть семейное сходство; в жизни примирение иногда наступает, когда папа делается слаб и немощен, а дочка становится мудрей, но то в жизни... Пока они воюют, нам-то с вами жить, вот в чем проблема. И как во всякой “семейной склоке”, занимать одну сторону явно недальновидно — решение простое, но убогое. А поскольку “поле битвы” — мы сами, тем более не стоит.

Ни одно суждение, ни одна оценка в такой ситуации не могут быть непредвзятыми, и в этом смысле положиться мне решительно не на что. Разве что — с полным пониманием уязвимости такой опоры — на собственный человеческий и профессиональный опыт, на совершенно субъективное и ненадежное ощущение того, где живое и разное, а где “фанера”, дутый пафос простых решений. Разве что на любимых авторов — очень мне хотелось привести их в эту книжку, чтобы другие тоже могли кого вспомнить, а кого узнать. И, возможно, полюбить. Или нет, уж в этом-то мы относительно свободны. Разумеется, авторами я считаю не только поэтов и ученых, но и тех, с кем вместе все эти годы мы пряли свою пряжу и ткали полотно общего разговора о женской жизни.

Кстати, о свободе. Я позволю себе время от времени впадать в академическую стилистику — просто потому, что это часть моего опыта. Но верна ей не останусь: собираюсь быть легкомысленной, непоследовательной и капризной — насколько получится. Добрая половина цитат извлечена из памяти, в чем честно признаюсь. Компания авторов собиралась по единственному признаку моей любви и восхищения, иногда многолетних и почетительных, а иногда совсем недавних. Известность, рейтинги и близость к вершинам научного или литературного олимпов роли не играли. У нас на женских группах без чинов, знаете ли. Почему-то рука не поднималась беспокоить тени великих поэтов: они и так всегда с нами — “и над бездною родимой уж незнамо как летаем — между Анной и Мариной, между Польшей и Китаем”. На источники ссылаться собираюсь как и когда будет удобно, а временами — не ссылаться вообще. Вот только что не сослалась, и ничего. Хотя и знаю, что это строчка великолепной Юнны Мориц. С удовольствием избавлю моего редактора от поиска страниц, изданий и прочей фигни, которой мы обе отдали дань в других наших совместных авантюрах. Из больших цитат беру только то, что мне подходит (в общем-то все так делают, но не признаются). Тенденциозный пересказ без ссылки на источник — это чистой воды сплетня, вот этим и займусь. С большим, надо заметить, удовольствием.

От логической “расчлененки” (часть первая: что такое женщина; часть вторая: история вопроса; часть пятнадцатая: выводы и рекомендации) — отказываюсь. В темном лесу, — который может символизировать не только бессознательное, но и многое другое, — от дефиниций мало толку. Между прочим, набрести в лесу на подозрительно заезженную дорогу — отнюдь не подарок: вместо новых и интересных мест наверняка выйдешь по ней к заплыванному садово-огородному кооперативу, а то и к глухому забору военной части. Буду очень стараться избегать терминов — из-за их “отягощенной наследственности”. Но полностью без них обойтись, боюсь, не получится. Это исключительно моя проблема. С небольшими словесными трудностями поступим так: встретив незнакомое слово, дайте ему хорошего пинка — и будьте уверены, что ничего не потеряли.

Никаких претензий на полное отображение женской души, жизни и проблем не имею. Глупо и амбициозно: предмет неисчерпаем, а от “Полных энциклопедий” всего чего угодно вообще тошнит. Более того, на хорошо “пережеванные” темы высказываться как-то не тянет. К примеру, брак и карьера, равно как и правильное воспитание детей, идеальное ведение домашнего хозяйства или “семь правил охоты на любимого” не вдохновляют категорически. Скажете, что тогда остается? А вот посмотрим — глядишь, кое-что и останется.

В мои коварные планы входит также перескакивать с пятого на десятое, отвлекаться на каждый пустяк, если он покажется важным, и бессовестно умалчивать о важных вещах, нудно повторяться, бросать туманные намеки и делать провокационные заявления, а также громко распевать жестокие романсы и неприличные частушки. В темном лесу это очень бодрит.

Пока я тут болтала, похоже, мы пришли: "Хорошо, — сказала Баба-яга, — знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня, а коли нет, так я тебя съем! — Потом обратилась к воротам и вскрикнула: — Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь!".

КТО БОИТСЯ ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ?

— Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбежать за огнем к Бабе-яге!

— Мне от булавок светло! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду!

— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок, — мне от спиц светло!

— Тебе за огнем идти, — закричали обе, — ступай к Бабе-яге!

Совершенно дурацкое дело — объяснять, почему веретено, Василиса и какое это имеет отношение к названию “Я у себя одна” и женским группам, которые я уже довольно давно веду. Почему, к примеру, не “Коклюшки Кассандры” или “Наперсток Натальи”? Так и вижу пару-тройку ироничных коллег: “веретено”, конечно же, фаллический символ, а Василиса — имя несколько двуполое, а все вместе — это, разумеется, зависть к пенису, как завещал дедушка Фрейд. Ребята, я вас все равно люблю и уважаю. Другие коллеги, исповедуя иные профессиональные верования, склонятся к идее женской инициации с символикой нити судьбы, ритуалом зимних посиделок; а то еще и этимологией имени Бабы-яги побалуют. Вишь, то ли она просто-напросто “ягая”, злая то есть, то ли русифицированная версия Ба-бай-Аги. И тоже хорошо. Объясняться — занятие неблагодарное, ну его совсем. А дело было так.

Сказка про Василису — имеется в виду та, в которой девочка получает в наследство от умирающей матери волшебную куклолку-помощницу и по приказу мачехи идет за огнем к Бабе-яге, — стоит в ряду “женских” сказок несколько особняком. Героиня вспоминается не кротостью, красотой, бесконечным терпением или тем, как она отказывается от себя во имя, сами понимаете, большой Любви, — то есть не добродетелями “хороших девочек”, а чем-то еще. За своим испытанием, за страшноватым, но необходи-

мым светом она идет в темный лес одна: ни далекий отец, ни проезжающие по другим дорогам добры молодцы ей не помощники, вся надежда на себя да на куколку. Решение и помощь находятся совсем не там, где их принято искать в “женских историях”. Как сказали в одной группе: “Золушка едет в заколдованной карете, на ней все чужое, все иллюзия; Спящая Красавица вообще лежит себе и ждет принца, а Василисе ждать нечего, и она идет пешком. И хотя все кончается, как положено, свадьбой, — путь другой, решение другое”. Во многих женских группах как-то сама собой эта сказка оказывалась сказкой “про другое”.

Например, про то, что наступает в жизни такой момент, когда гаснет свет, а идти за ним приходится далеко, в страшный темный лес, к Бабе-яге. Или про то, что кому-то и “от булавок светло”, но довольство этим булабочным светом — до поры. Или про то, что волшебная куколка и материнское благословение спасают и в черный час, только в жизни куколку порой приходится делать своими руками, а за благословением отправляться в нелегкое странствие, искать его трудно и настойчиво, когда — в туманной семейной истории, в родовой мифологической прапамяти, а когда и вовсе не в своей кровной семье. Или про то, что некоторые вещи никак, ну никак невозможно узнать раньше срока: есть такое знание, до которого еще дожить надо, а до того оно чужое и бесплодное. Или про ненадежную, в самый неподходящий момент поворачивающуюся спиной “фигуру отца”, который, понятное дело, порой и не отец вовсе. Или про то, как страшит непонятное, не встречавшееся в предыдущей жизни, — и как важно бывает все-таки в этот опыт войти...

У всякой сказки смыслов и тайн много. Да, есть несколько блестящих интерпретаций этой. К примеру, есть прелюбопытный анализ “Василисы” в “Бегущей с волками” Клариссы Пинколы Эстес. Пересказывать его не стоит, а от удовольствия процитировать не откажусь:

“Мы уже убедились, что оставаться слишком кроткой глупышкой опасно. Но, быть может, вы все еще сомневаетесь, быть может, вы думаете: “Господи, да кто же захочет быть такой, как Василиса?” Вы захотите, уверяю вас. Вы захотите быть такой, как она, сделать то, что сделала она, и пройти по ее следам, ибо это путь, который позволит вам сохранить и развить свою душу”*.

“Англизированная” версия самой сказки, конечно, отвлекает от сути — как вам нравится Баба-яга, которая говорит Василисе: “Ну что же ты, милая!”, — и вдобавок называется “колдуньей”? Мы-то знаем, как старуха изъясняется на самом деле...

* Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. — К.: София, 2000.

Впрочем, это все пустяки: “подлинная история Василисы Премудрой” (по другим источникам — Прекрасной) вполне доступна и есть в любом мало-мальски приличном сборнике русских народных сказок, по соседству с “Пойди туда, не знаю куда” и “Финистом — Ясным Соколом”. Сказка как сказка: в меру жестокая, в меру загадочная, со времен детского чтения полузабытая, перепутавшаяся в памяти с другими сказками... Важнее-то не это: она *работает*. И бывшая рыженькая девочка из подмосковного военного городка, дочка суровой матери и внучка нелюбящей бабки, разыгрывая с помощью группы “Василису”, сделала для себя что-то очень важное. И печальная мама трех требовательных дочерей почему-то посветлела лицом, побывав Бабой-ягой. (Между прочим, Бабу-ягу в женских группах не очень-то и боятся, относятся к ней почтительно, но с юмором.) А вот еще: энергичная умница-журналистка почему-то вспомнила, как бабушка говорила ей много-много лет назад: мол, в молодости шустрая была, что твое веретено... Вот оно-то ей от бабушки и осталось, только внучке прясть некогда и незачем — надо самой вертеться.

А на некоторых группах Василиса почему-то не вспоминается, они сочиняют или помнят другие сказки “про другое”. Вот одна: “Моя жизнь как кочан капусты. Листья смотрят наружу. Этот — к друзьям, этот — к детям, этот — к мужу, этот — к родителям, этот — к работе... Хорошие листья, успешная жизнь, но где же я сама, где кочерыжка? В эти два дня я хотела бы совершить поход за ней, хоть узнать про нее что-то”. Вопрос из группы: “Это как изюминка?” — “Нет, изюминка — для других, а кочерыжка — это я и есть, та, которая у себя одна”. (Конечно, кочерыжка тоже может быть проинтерпретирована по дедушке Фрейдю... Если не смешно, дальше можно не читать.)

Кому как, а мне этот капустный образ — и многие другие, о которых расскажу в свое время, — ближе и симпатичней разговоров про “истинное Я” и “путь к себе”. Хотя, конечно, речь идет именно о них. Но еще и о том, что готового рецепта нет: хоть ты сто раз становись перед зеркалом и говори “Я люблю и принимаю себя”, хоть выучи наизусть все полезные “советы психолога”, — свою нить можно спрясть только самой.

Кто же боится Василисы Премудрой? Да мы сами и боимся, что уж там. И есть чего испугаться: эта история, что называется, обязывает. Как минимум — к попытке посмотреть на свою жизнь и себя в ней иначе, чем привыкли.

“На какой-то миг Василиса пугается силы, которую несет, и ей хочется выбросить пылающий череп.[...] Это правда, я не стану вам лгать — легче избавиться от света и снова уснуть. Это правда — порой бывает трудно держать перед собой светильник из

черепа. Ведь с ним мы четко видим себя и других со всех сторон — и уродливое, и божественное, и все промежуточные состояния.[...]

Плутая по лесу, Василиса, безусловно, думает о своей неродной семье, которая коварно послала ее на смерть, и хотя у девочки добрая душа, череп отнюдь не добр: его дело — быть зорким. Поэтому, когда она хочет бросить череп, мы понимаем, что она думает о той боли, которую причиняет знание некоторых вещей о себе, о других и о мире”*.

...С веретеном в руках хорошо поется, вспоминается и думается, да и света, в общем-то, не надо — пальцы все и так чувствуют. И все-таки идти Василисе в темный лес к страшному костяному тыну — “как нам, чтобы понять свою жизнь, иногда приходится повернуться к чему-то тяжелому, страшному в ней”. Это опять голос из группы. Пора поговорить и о ней.

СВОИМ ГОЛОСОМ: ЖЕНЩИНЫ БЕЗ МУЖЧИН

Я долго колебалась, прежде чем написать книгу о женщине. Тема эта вызывает раздражение, особенно у женщин; к тому же она не нова. Немало чернил пролито из-за феминистских распрей, сейчас они уже почти утихли — так и не будем об этом говорить. Между тем говорить не перестали. И не похоже, чтобы многотомные глупости, выпущенные в свет с начала нынешнего века, что-нибудь существенно прояснили в этой проблеме. А в чем она, собственно, заключается? И есть ли вообще женщины? Конечно, теория вечной женственности имеет еще своих приверженцев. “Даже в России они все же остаются женщинами”, — шепчут они.

Симона де Бовуар. Второй пол

У некоторых людей само упоминание о женских группах — да еще с девизом “Я у себя одна!” — вызывает странные фантазии: “Это вы что там, мужиков ругаете?” (Почему-то подразумевается, что иной темы для собравшихся вместе женщин не существует.) С другой стороны, в этом диком и, что важнее, фактически неверном предположении слышится дальний от-

* Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. — К.: София, 2000.

звук прокатившегося в 60—70-е годы по Америкам-Европам женского движения, в котором крупный кукиш (а то и кулак) в адрес угнетателей-мужчин и вправду был частью процесса. Все это уже вышло из мировой моды, сыграв свою роль в истории. Нынешнее время именуют “постфеминистским”. Вот только кто? С порога третьего тысячелетия, да еще из России, где проблема не только не решается, но даже и не поставлена, все довольно странно. Впрочем, “группового бума” у нас тоже не было — и нет. Так что история женских групп “первого призыва” нам не указ, но знать ее все равно небесполезно. Знание, говорят, сила...

А именно: в давние времена — уже после открытия ДНК и спутника, но до СПИДа, всеобщей компьютерной грамотности, даже до волны международного терроризма, а также до лайкры, Уотергейта, Мадонны и еще много до чего — жили-были неглупые и очень сильно приунывшие жены и матери. Жили они в хорошеньких пригородах, копались в хорошеньких садиках, забывали потихоньку то, чему их неизвестно зачем учили в колледжах, парковались у супермаркета и останавливались поболтать с соседками, поджидая содержавших их мужей с настоящей серьезной работы (в которой ничего не понимали) и играли в маджонг, чтобы скоротать время. Иногда волновались — это когда сын падал с велосипеда или от мужа пахло чужими духами.

Постепенно выяснялось, что если когда-то в свое время мужья обещали кое-что “в богатстве и бедности, здравии и болезни until death do us part”, то это не следовало понимать буквально. Оказалось, что “мелкие домашние интересы” — вся эта прорва бесплатной работы на семью, круговерть, которой нет конца, — отупляют, съедают жизнь по капле... и презируемы миром “Настоящего Дела”. Дети вырастают, а появившиеся на месте очаровательных пупсиков гадкие подростки просто невыносимы, когда матери вмешиваются в их жизнь.

А что еще могли делать эти женщины, чтобы сохранить иллюзию своей нужности? “Так что многие из них, доведенные до белого каления, пристрастились к валиуму и крепким напиткам, а некоторые присоединились к зарождающемуся женскому движению”*.

Женские группы “подъема самосознания”, “социального развития”, “взаимной поддержки” составляли его неотъемлемую часть. Некоторые учили тому, что никогда не поздно вернуться в колледж и после двадцатилетнего перерыва получить новое образование, профессию, начать собственное дело. Некоторые ставили жесткие и неприятные вопросы: почему, например, мужскими бывают решение и характер, а женскими — штучки и болтовня? Почему я киваю и поддакиваю даже тогда, когда это мне явно во

* Elizabeth Wertzel. The bitch rules.

вред? Почему позволяю считать свою тяжелую и ответственную работу по дому чем-то второстепенным и вспомогательным? Кто меня всему этому научил и в чьих интересах? Были группы, которые давали возможность выплеснуть накопившиеся океаны горечи: там можно было жаловаться, кричать, проклинать ту самую счастливую жизнь, бессмысленность которой в полной мере могли понять другие женщины, разменявшие свои способности и надежды на медяки соответствия ожиданиям окружающих и иллюзию стабильности и безопасности.

Может, важнее было даже не то, что говорилось, а сама возможность быть *услышанными*, получить человеческий отклик на свои переживания без ярлыка “нервного срыва” и обвинений в том, что “с жиру бесишься”. Оказалось, что женщины постоянно, с отроческих лет, ощущают себя *недоговаривающими* — это при стереотипе-то женской болтливости! То, что для них важно, в социуме важным не считается; их мнения, умения, ценности квалифицируются как пустяки, а из чувств существующими признаются только те, которые общественно полезны (скажем, “любовь к детям”) или неудобны в обращении (“истерика”). Образованные господа изволили шутить, что “женщина — это грудь, влагалище и депрессия”. Образованным дамам и барышням при этом полагалось тонко улыбаться — вместо того, чтобы твердо посмотреть в глаза шутнику и серьезно сказать: “Знаешь, я не нахожу это смешным. Мне кажется, что женоненавистническое определение смешным быть не может. Ты действительно подразумевал именно это?”. Ну что ж, шутки на то и шутки, чтобы совместить агрессию и соблюдение социальной нормы. (Про этот механизм блистательно рассказано все тем же дедушкой Фрейдом в работе “Остроумие и его отношение к бессознательному”.) Про агрессию понятно, кто же ее на себе не испытывал. Интересней про социальную норму: ей суждено было измениться, и сильно.

Долгое молчание чревато воплем ярости, каковой и прозвучал на весь западный мир. Если бы этим и ограничилось, все легко свелось бы к “выпусканью пара”. Дело, однако, приняло другой оборот. “Ополоумевшие бабы” оказались более чем способны изъясняться на “языке колонизаторов” и за неполные двадцать лет явили миру десятки вдумчивых и корректных исследований по вопросам различий в языке, мышлении, коммуникации мужчин и женщин. Появились новые понятия — прежде всего понятие “гендера”, отражающее социальные (а не биологические) отношения пола. Сама идея о том, что “женское” означает не “худшее, чем...”, а “другое”, начала пускаться корни в массовом сознании именно тогда. Возможность говорить “своим голосом”, “другим голосом”, “на своем языке” — и о том, что важно для меня, кто бы что ни считал по этому поводу, — вот нерв и подробнейшим образом разработанный тезис сотен публицистических статей, со-

циологических опросов и больших академических монографий*, повестей, эссе и стихотворений. В каком-то смысле все пишущие и читающие стали чем-то вроде огромной женской группы.

ГДЕ ЭТО СКАЗАНО

Где это сказано,
 Что мужьям полагаются двадцатипятидолларовые ленчи и приглашения
 на конференции и симпозиумы в Южную Африку,
 А женам полагается бобовый суп из жестянок и культпоходы
 с дошкольниками в местное пожарное депо,
 И где это сказано,
 Что мужьям полагаются встречи с очаровательными юристками,
 и с прелестными преподавательницами древней истории,
 и с обаятельными художницами, наследницами и поэтессами,
 А женам полагаются встречи с прыщавым кассиром в универсаме,
 И где это сказано,
 Что мужьям по воскресеньям полагается послеобеденный сон
 и футбольный матч по телевидению,
 А женам полагаются цветные карандаши и картинки
 для раскрашивания с детьми,
 И где это сказано,
 Что мужьям полагаются восторженные похвалы, моральная поддержка
 и десять дней подряд горячий чай в постель
 при первых признаках насморка,
 А женам полагаются заботы по обеспечению всего этого?
 И если жена решит в конце концов,
 Что пускай муж сам возит ботинки в починку, детей к врачу и собаку
 к ветеринару, а она тем временем будет изучать, допустим,
 нейрохирургию или трансцендентальную философию,
 То где это сказано,
 Что она всегда должна чувствовать себя
 Виноватой?

Джудит Виорст, 1968

Это стихотворение было опубликовано на русском языке примерно в середине 1970-х — кажется, в журнале “Америка”. Тогда оно воспринималось совершенно иначе: стоя в километровой очереди, допустим, за туалетной бумагой, довольно трудно представить себе как проблему “встречи с прыщавым кассиром в универсаме”. Кто бы мог подумать, что тридцать лет спустя молодые женщины в России будут наступать на те же грабли? Кста-

* См., например, классическую философскую работу этого направления “Второй пол” Симоны де Бовуар или, для контраста, популярный обзор научных исследований Деборы Таннен “Ты меня не понимаешь”.

ти, с более поздними работами Джудит Вiorст (которая начинала с колонок в женских журналах, а потом в далеко не юном возрасте и вправду стала психоаналитиком, а после вновь вернулась в литературу и продолжает писать на границе жанров) мы еще встретимся.

Конечно, женское движение было в гораздо большей степени политическим и экономическим, чем... как бы это выразиться... "душевым". Неудивительно, что психология, социология и конъюнктурный политический расчет быстро перепутались; те высказывания и формы поведения, для которых вчера нужно было обладать немалой решительностью или хотя бы наплевательским отношением к общественному мнению, очень быстро стали его воплощением. Нормой то есть. И тоже уже не вчера. Вот голос из восьмидесятых: "Лет двадцать назад молодые люди водили своих девушек не в театр или ресторан, а на антивоенные манифестации. Теперь они нашептывают им на ухо, что будут помогать им по дому, а вместо чайных роз на длинных стеблях посылают в подарок подписку на газетку "Слезайте с нашей шеи""*.

Дело это — для западной культуры — прошлое, "women's studies" там свое сказали и успели даже несколько надоесть. "Эти женские симпозиумы, на которых собирались одни женщины, говорили только о женщинах, читали от лица женщин тексты, написанные женщинами..." — звучит устало, без малейшего интереса, а то и ядовито. Они — эти симпозиумы, конференции, да и женские группы — просто-напросто сделали свою работу. И это тоже часть современной западной реальности, которая уже — путем естественного эксперимента — узнала, что ни громы и молнии на головы мужчин-угнетателей, ни самостоятельное ведение дел, ни наличие престижной профессии, ни социальная успешность — не гарантия счастья. Что, разумеется, не означает его наличия в традиционной модели семьи и брака, растворения в детях и внуках. А означает, видимо, что простые и массовые рецепты — всегда иллюзия.

И поразительно, как мало мы об этом знаем. Притом знание наше основано на самых карикатурных примерах. Вроде какой-нибудь полуслучайной конференции под Москвой, где американские феминистки всерьез, что называется, из тяжелых орудий распекают российских женщин за пользование косметикой "в угоду угнетателям". Или вроде довольно распространенного наблюдения про то, что "этим" ни дверь открыть нельзя, ни чемодан поднести. За что, разумеется, другие женщины на них очень сердиты — и так-то насчет чемодана не допросишься, а уж с этой "новой нормой"...

Заметили ли вы, что всякое движение, ставящее под сомнение привычные правила, всегда в своем авангарде густо заселено людьми энергичными,

* Сьюзен Конант. Пес, который говорил правду. (Это "собачий" детектив, действие которого происходит в Гарварде).

красноречивыми и... как бы это выразиться... не совсем приятными в обращении? А иначе и быть не может: для того чтобы поставить под вопрос устройство мира, надо быть в состоянии этому миру противостоять, а такое занятие не для “душечек”. “Душечки” собирают результаты изменений через 15—20 лет и даже не задумываются о том, откуда они взялись. Но это я так, к слову.

А вот — прямо по теме. К вопросу о недопустимости поднесения чемоданов и пропускания вперед в дверях. Я не думаю, что блистательная пара Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, например, играли в эти игры. Оба для этого были слишком умны, цивилизованны. И, что особенно важно, оба профессионально выражали свои мысли в текстах. Зачем человеку, способному аргументированно спорить и рассматривать любой вопрос с разных сторон, выражать себя через гордый отказ от помощи поднести чемодан или иной столь же однозначный жест? Зачем той, которая может что-то рассказать миру словами, упрощать свое поведение до плакатной, “листовочной” формы?

Но вот и парадоксальный результат: про какую-нибудь дурищу из штата Айова, назидательно пыхтящую в “Шереметьево-2” со своим барахлом (в знак самодостаточности), мы знаем. Рассказывали знакомые, что-то мелькало в прессе. В общем, что-то известно. А про Симону де Бовуар, не годящуюся в персонажи анекдота, — не знаем. Ее феминизм слишком умен и непрост, она бесстрашно заглядывает в такие “углы”, от которых нам не по себе. Как насчет честного, до кома в горле, анализа отношений долга-любви-ненависти между матерью и дочерью? Или поразительного по бесстрашию описания женского старения — его психологии, социологии, физиологии? Не знаем мы и того, что в современной литературе сам термин “феминизм” давно уже употребляется во множественном числе, поскольку возникло множество “толков” и направлений, в том числе взаимоисключающих. Так что, по идее, возникает вопрос: если говорить о феминистской идее, то о какой? Ну не о чемоданах же, в самом деле! Ничего этого мы не знаем. Самое занятное, что и феминистская психотерапия, с ведущими работами и представителями которой, по идее, профессионалам следовало бы быть знакомыми, в отечественной “карте местности” отсутствует. Обесценивание и вытеснение — это, между нами говоря, психологические защиты... Интересно, почему?

Видели, правда, Машу Арбатову по телевизору... Раздражались, восхищались... По мне, за то, что она “растабуировала” — злым и горьким пером — тему акушерско-гинекологического надругательства, ей надо бы при жизни памятник поставить, а тексты эти включить в список обязательной литературы для всех “хелперов”, то бишь для людей так называемых “помо-

гающих профессий” — психологов, врачей, социальных работников и так далее. Вот — о практике отечественного родовспоможения:

“Все это напоминало космический корабль, жестоко запущенный с женщинами, не имеющими возможности позвать на помощь и не обученными оказать ее себе сами. Энергетика боли все больше и больше закручиваясь в воронку, толкала этот корабль вперед к катастрофе. [...] Все это произошло со мной семнадцать лет тому назад только по той причине, что я — женщина. И пока будут живы люди, не считающие это темой для обсуждения, это будет ежедневно происходить с другими женщинами, потому что быть женщиной в этом мире не почетно даже в тот момент, когда ты делаешь то единственное, на что не способен мужчина”.

Это — из рассказа “Меня зовут женщина”, финал. Преодолеваю острое искушение процитировать больше и с деталями, от которых и при чтении-то “плохеет” — несмотря на то, что в жизни большинство из нас как-то эти “детали” пережили. Мы и об этом поговорим, но немного позже.

Так вот, сия решительная дама как-то сказала в интервью, что, *если* вы сами зарабатываете на жизнь, сами принимаете важные жизненные решения и делаете свою работу не хуже, чем делал бы ее мужчина, *то* вы — феминистка. Ой-ой, а тогда это мы все, что ли? Только никому не говорите, а то могут не так понять. Поскольку скорее всего мы зарабатываем — сами! — под руководством начальника-мужчины. Поскольку ежу понятно, что для равной социальной оценки работа должна быть сделана не просто “не хуже”, а намного лучше. И даже самые отважные из нас так часто “пугаются силы, которую несут” и из последних сил избегают “той боли, которую причиняет знание о себе, о других и о мире”...

Ни один “-изм” не обходится без демагогии. Феминистская, естественно, оказалась ничем не лучше любой другой. “Можно утверждать, что мужчины всегда морально дурен — агрессивные феминисты (-ки) это постоянно и делают. Например: нашей современной культуре навязана идея так называемой “красоты”, то есть представление о том, что люди неравны в отношении внешней притягательности. Это грех “смотризма” (lookism).

Феминистка Наоми Вульф (сама молодая и красивая) разоблачила негодяев: она открыла, что идея “красоты” возникла с развитием буржуазного, индустриального общества, примерно в XVIII веке. Женщинам внушили, что красота — это ценно, что красиво то-то и то-то, наварили кучу косметики и всяких притирик и через рекламу вкомпостировали это все в мозги. Женщины попались на удочку, отвлеклись от борьбы за свои права и по уши ушли в пудру и помаду, а тем временем мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. Когда одуроченная женщина

кончила выщипывать брови — глядь, все уже занято”. Это — из “Политической корректности” Татьяны Толстой. Едко, смешно и известно автору не понаслышке; ну, может быть, только самую чуточку вся эта демагогическая дурость выставлена еще дурее, чем в жизни.

Пафос простых решений вообще бессмертен, как Кощей, хотя сами решения периодически обновляются. Особенно велико бывает ликование, когда удастся найти виноватых: все беды нашего несовершенного мира от... (загрязнения окружающей среды, мирового сионизма, мужчин-угнетателей, феминисток... нужное подчеркнуть). Занятно жить на этом свете, дамы и господа. Как только “простое решение” названо и объявлено верным, никакого “роста самосознания” вроде бы уже и не нужно. Более того, оный рост становится даже вреден и опасен, ибо понимание себя и других ведет к сомнениям, а там, глядишь, и к терпимости, состраданию, самостоятельному мышлению... А это уже не для демонстраций или митингов протеста, это история личная, одинокая по определению...

Мода на женские группы в западной культуре прошла — и слава Богу: там, где “модно”, следует остерегаться дешевки и подделок. Из обязательных для “каждой думающей женщины” они стали чем-то, к чему можно иногда обратиться в период раздумий о выборе, необходимости прислушаться к собственным чувствам или кризиса роста. Женские группы стали явлением частной (в смысле не общественной) жизни и унаследовали от своего бурного политизированного прошлого, пожалуй, лишь одно: в них по-прежнему сильно чувствуется и ценится возможность *быть услышанной*, возможность *говорить своим голосом* — и, насколько это вообще реально, без поправок на сидящего в голове “внутреннего критика”, заведомо знающего, что “никому ее мнение не интересно”.

В очень серьезной коллективной монографии по женским группам личностного роста и более специализированным психотерапевтическим я насчитала 59 разновидностей тематических групп разного формата. После чего сбилась, поймав себя на том, что с этими подсчетами явно не все в порядке: похоже на поиск “авторитетных источников”, настоящим подтверждающих, что занимаюсь я чем-то вполне приличным, в русле традиции — она книга какая толстенная!* Хватать за шкирку собственного “внутреннего критика” бывает нелегко, даже когда знаешь, где он прячется и когда подает голос. В этой связи очень интересно бывает обсудить в женской группе, *кто что сказал дома, уходя*. После такого разговора как-то рассеиваются иллюзии о полной уверенности в себе, самодостаточности...

* Книга называется “Women and Group Psychotherapy” (1996, Ed. B. De Chant). Она не только объемистая, но и крайне интересная во многих отношениях — например, великолепной библиографией. Подарена автору психодраматисткой Иви Летце: обучение наше заканчивалось, разговоры велись обо всем на свете. Надписан подарок так: “Пусть работа множества женщин этой книги вдохновляет и поддерживает твою работу”. Чем не благословение от “профессиональной крестной”?

А недавно один старинный знакомый пригласил на профессиональный семинар, как обычно, проходящий в выходные. "Спасибо, мне это было бы ужасно интересно, но у меня группа". — "Кого учишь?" — "Да нет, не учебная. Женская группа, мой проект". И действительно — мой проект, с величайшими трудами и муками "пробитый", уже не первый год любимый и успешный. Интересно, вот эта легкая извинительность тона связана только с ситуацией? Или где-то глубоко внутри все-таки сидит нечто — возможно, некто — и тоже не считает эту работу "настоящим делом"? Одна моя английская коллега говаривала, что главный male chauvinist pig, главный мужчина-угнетатель сидит у нас вот где — и выразительно постукивала корявым пальцем по лбу. Имелось в виду вовсе не то, что мы это все выдумали. Подразумевалось, что обесценивание и принижение женщины, сравнение "всегда не в ее пользу" так глубоко усвоено — из воздуха, из культуры, от папы с мамой, — что при встрече с настоящим, живым мужским шовинизмом у нас всегда в тылу "пятая колонна". Что, делая удивительные вещи дома и на работе, мы отмахиваемся — сами на себя машем рукой? — ой, да это я так... Что оценки, которыми мы пользуемся по отношению к самим себе, часто предвзяты. Что где-то таится готовность не считать саму себя чем-то важным и достойным внимания и размышлений — это право словно бы должен предоставить какой-то "Он". И что об этих своих особенностях следует знать и помнить, ибо они могут действовать без нашего сознательного ведома и отнюдь не в наших интересах...

Итак, своим голосом — и о том, что важно для меня...

В отечественной практике группы вообще не очень-то распространенное явление; еще кое-что известно о бизнес-тренингах ("Искусство продаж" или "Сплочение команды"), кое-что — о чисто терапевтических группах — допустим, в клинике неврозов (но об этом разумный человек вряд ли будет рассказывать направо и налево). Групп на "ничейной" территории, где живут *просто люди* — не в ролях сотрудников корпорации или пациентов клиники, а сами по себе, — довольно мало. Объяснить человеку, зачем ему тратить время, силы и деньги на "это" — не принятое в культуре, не имеющее отчетливой запоминающейся "упаковки", но и не обладающее таинственностью эзотерического бдения незнамо что, — трудно. Тем не менее, уже довольно много лет эта работа делается — и надеюсь, что со временем ее будет становиться все больше. Но вот какое простенькое наблюдение родилось по ходу дела...

В российских условиях любые группы, где речь идет *об отношениях, чувствах и самопознании*, — женские. De facto, по составу (если это не мужское отделение клиники, не класс в продвинутом экспериментальном лицее, не часть какой-нибудь учебной программы). Набирая группу "для всех желающих", можно знать наверняка: "этого" — толком не представ-

ля, что и как будет происходить, не вполне даже отдавая себе отчет в своих мотивах — желают преимущественно женщины. Как правило, образованные. Как правило, довольно успешные в традиционном смысле слова: “при работе, при детях”. Цветущего возраста — старше двадцати пяти и где-то до сорока с хвостиком. Общительные, симпатичные, разные. Приносящие с собой на психологический тренинг коробку сока и какие-нибудь орешки и предлагающие “сократить обед на полчаса”, потому что “когда еще вырвемся”.

И хотя каноны групповой работы требуют смешанного состава — ведь группа, по идее, должна моделировать жизненные ситуации и отношения, — в реальности на объявления про “Дороги, которые мы выбираем” и “Семейные роли и семейные сценарии”, про “Вкус к жизни” и “Тренинг уверенности в себе” откликаются все равно преимущественно женщины. Их в пять, семь, десять раз больше, чем нетипичных мужчин, заинтересовавшихся “всею этой психологией”. И, честно говоря, “нетипичность” обычно этим не исчерпывается. Видимо, для того чтобы нарушить традицию в отношении “не мужественной” тематики, нужно действительно быть в чем-то необычным человеком: либо одиноким и самопогруженным искателем истины, либо “отвязанным” эксцентричным собирателем всякого рода необычных занятий, либо сильно страдающим человеком, не решающимся непосредственно обратиться за психотерапевтической помощью (эти никогда не говорят о проблеме в группе, подходят в перерывах). Но согласитесь, если мужчин на двухдневном тренинге двое из четырнадцати участников... кто угодно покажется “необычным” и почувствует себя не на своем месте. Им и правда неуютно: неизвестно куда попали, ожидают от них не пойми чего, а когда они пытаются все же высказывать какую-то “свою правду”, это встречается почтительным повышенным вниманием — и явно недостаточной поддержкой, уклончивыми высказываниями, отведенными взглядами. Невозможно же оправдать завышенные и противоречивые ожидания, служить мишенью для выражения всех претензий, обид, разочарований в мифической патриархальной фигуре — и при этом еще и нормально себя чувствовать!

Со стороны это немного похоже на родительское собрание — когда на чудом забредших туда двоих-троих пап смотрят как на “почтивших присутствием”, все равно чужих и не до конца понимающих, что к чему. Снизу, свысока и издали одновременно, если такое возможно.

Но на родительском собрании можно просто “отметиться”, а в группе необходима атмосфера доверия, открытости и, как минимум, равенства участников... Одна милая дама, бывавшая и на женских, и на смешанных группах, так ответила на мой вопрос о том, как она воспринимает их различия: “Ну как же, там всегда думаешь, как сядешь, что скажешь...” Простота этого

комментария обманчива. Сесть следует красиво, напоказ, “сказать” непременно умное и отредактированное, и вовсе не из личного интереса к присутствующим на занятии мужчинам — просто так правильно. Мужской фигуре, роли в женском восприятии часто приписываются оценочные, “экспертные” функции. Реальные мужчины в группе могут не давать никаких оснований полагать, что они склонны осуждать или контролировать. Картина мира, в которой любой — любой! — мужчина становится значимым источником оценки и критики, тем, “кто выставляет баллы” за привлекательность, ум, оригинальность, существует в женском сознании как бы сама по себе. Что поделаешь, на то есть исторические и культурные причины, и, пожалуй, “наше наследие” потяжелее американского (уж не говоря о том, что его просто больше). Больше — и разного.

ДАН ПРИКАЗ: ЕМУ НА ЗАПАД, ЕЙ — В ДРУГУЮ СТОРОНУ...

“Позор тому, кто полагает, что у женщин нет души. У них есть что-то вроде души, как у животных и цветов”. [...] Ошибочно считалось, что так постановили на Вселенском Соборе в Никее в 325 г.

*Анн Анселин Шутценбергер.
Синдром предков*

Очень неоднозначно это самое наследие. Опять-таки история Василисы... В ней ведь и мужчин, считай, нет: любящий папа оставляет дочь на ненавидящих ее баб и уезжает заниматься “Настоящим Делом”. Царь (впоследствии муж) проявляет интерес к героине как к умелице, соткавшей немыслимой тонкости полотно. Когда через “доверенное лицо” она получает заказ на шитье из этого полотна царских сорочек, любопытна реакция: “Я знала, — говорит ей Василиса, — *что эта работа моих рук не минует*”. Где, спрашивается, ликование по поводу хотя бы удачного устройства дел? Где хоть на медный грошик интереса к “царскому интересу”?

Героини традиционных наших сказок вообще не кажутся трепещущими перед “фигурой мужской власти”. Многие из них активны, мудры, сами принимают решения, а часто видят дальше и проницательней героя. Царевна Лягушка это вам не Бедная Лиза из профессиональной (между прочим, мужской) литературы. Кстати, в человеческом воплощении “лягушонка в коробочке” — тоже Василиса, и тоже Премудрая или Прекрасная. Крошечка Хаврошечка, конечно, жертва... но уж больно неистребимая... В отношении Марьи Моревны комментарии вообще излишни.

Все это напоминает нам — не в качестве серьезного научного пассажа, а так, по ассоциации — о некоторых занятых моментах. О том, например, что почти до времени Ивана Васильевича Грозного женщины у нас имели больше гражданских свобод, чем в Европе: девушку, например, нельзя было насильно выдать замуж. Или о том, что в Новгородской республике вдова, воспитывающая сына, именовалась “матерой” и обладала практически равными с мужчинами правами. А уж совсем в давние (но не незапамятные) времена почтенные наши предки могли зваться Людмиловичами и Светлановичами, и тогда это не было “отчеством”. Как будто картинка векового угнетения верна... но не полна. Не так все просто. И даже описанная Пушкиным шокирующая практика браков между, прямо скажем, малыми детьми, — когда по первости жены колошматили мужей, а уж потом, как положено, наоборот, — это тоже не вполне домостроевская практика. Так и тянется двухголосный распев: с одной стороны, “станет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть”, а с другой — “есть женщины в русских селеньях”... “в горящую избу войдет”.

На протяжении последних поколений нашим женщинам случалось и воевать, и кормить семью, и прыгать с парашютом в тайгу — в общем, “а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят”.

Есть, однако, в этом нескончаемом героическом эпосе одна существенная деталь: не сами они это выбирали, не сами затеяли. Возможно, в двадцатые годы некая эйфория свеженького равноправия еще озаряла улыбки физкультурниц... Однако не всех, не всех... Эмансипированная “новая женщина” сама не заметила, как зашагала строем туда, куда ее направили — на тот участок трудового фронта, куда ее выгоднее было бросить. Кто шагал с верой, кто без, — но шагали. Хорошо еще, если на ходу удавалось получить образование и родить. Впереди, как мы знаем, было отнюдь не “светлое будущее”, сколько бы ткацких станков она ни обслужила, — впереди был Большой террор и Великая отечественная война.

Если выдастся возможность, обязательно посмотрите на плакат военного времени из альбома “Женщины в русском плакате” серии “Золотая коллекция”. Стоит она, суровая, на первом плане, в каком-то по брови повязанном платке и брезентовых рукавицах, рядом — ящики под снаряды, на дальнем плане колоннами уходят за край изображения мужчины. Куда — понятно, и что навсегда — тоже понятно. Текст, громадными буквами: “Заменим!”. И — “строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих”. Плечи оказались неспигаемыми, женщины — почти всемогущими.

Военная лирика дает удивительные примеры магического мышления. Когда “уходили комсомольцы на гражданскую войну” и девушка ему желает, ни много ни мало, “если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой”.

И когда "ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не случится", и "как я выжил, будем знать только мы с тобой" — далее по тексту. Тексту, десятилетиями воспроизводившемуся как заклинание, хотя война давно закончилась: на школьных конкурсах чтецов, на концертах — где угодно. Мужественный Симонов с трубкой озвучил самую что ни на есть первобытную фантазию о женском всемогуществе: "она" может уберечь — или нет! — только одной силой чувства и мысли. Отголоски докатились до шестидесятых: "Я люблю вас нежно и жалеюще, но на вас завидуя смотрю: лучшие мужчины — это женщины, это я вам точно говорю". Или "за то, что ты во всем передовая, что на земле давно матриархат" — рифмуется с "хохотать" и "такая мука — неперередаваемо".

И уже в мирные времена случилось так, что идея (или, скорее, переживание) силы и самостоятельности для наших женщин часто выглядит непривлекательной. Не потому ли, что она прочно связана в родовой памяти не с успехом, а с бедой, не со свободой, а с покинутостью, не с возможностями, а с необходимостью выживать? Сила эта сама себя не любит, она не "для", а "от". Шутки-прибаутки "на тему" отчетливо сигнализируют: надоело! Вот, к примеру, весьма характерный лимерик:

Гражданка одна из России
 Влезала, куда не просили:
 Из хаты с огнем,
 Из стойла с конем
 Пинками ее выносили.

Не лезь, то есть, пока не позовут (не призовут?) — спасу нет от твоего непрошеного героизма по привычке! Извините, дяденька, мы не нарочно...

И никто не скажет наверняка, сколько времени уйдет на то, чтобы в женском сознании сила и самодостаточность зазвучали и окрасились иначе, стали восприниматься как радостные, творческие, рожденные не для барачков и оборонных заводов — и не связанные с катастрофами, с прямым или символическим убийством мужчин. Наблюдения сегодняшней жизни к оптимистическому прогнозу не склоняют...

А что касается групп, которые не "должны", а на самом деле моделируют ситуации реальной жизни, даже если эти модели нам не очень нравятся... Станным образом возникает противоречивая картинка — двенадцать активных заинтересованных женщин, двое напряженных дядечек; при этом им приписывается статус, на который они даже и не претендуют. Это довольно нелепо: "мужская фигура власти" существует как мифологическая, составляет важную часть женской оценки ситуации — "как сядешь, что скажешь", — а реальные-то мужчины в этой ситуации оказываются в дву-

смысленном и трудном положении. Их не слышат, им не доверяют... Преодолеть это, конечно, можно — и вспомнить группы, где удавалось прорваться через барьер “гендерных стереотипов”, тоже можно. Но... чем сохранять верность групповому канону и мучительно добираться всякий раз “хоть каких-нибудь” мужчин, не честнее ли признать проблему?

Сегодня она, возможно, даже острее, чем десять—двенадцать лет назад. Если в дремучие советские времена существовала шутка — опять-таки компромисс агрессии с социальной нормой — про мужчину как “три Т” (тахта, телевизор, тапочки), то в нынешние времена мы уже узнали, куда он отправился, встав с тахты, и что за этим последовало. Как ни парадоксально, слом привычного уклада только заострил — порой до карикатуры — основные черты патриархатной культуры: ориентацию на власть, подавление, силу. Телевизионная картинка заседания какой-нибудь Думы визуально та же, что и картинка двадцатилетней давности: серые пиджаки. Разница в том, что сами пиджаки скроены получше. А их носители шевелятся пошустрее, а то и вовсе дерутся. Тузят друг друга, могут и коллегу-депутата, уважаемую даму, за волосы оттаскать. И дело не в том, что отдельно взятый (крупным планом) психопат распускает руки, а в том, что он есть символическое выражение российской новой нормы. Да, ему сделают замечание с предупреждением: ты, мол, Петрович, чересчур... ты гляди... Но скажут с пониманием, по-свойски. Потому что все действующие лица знают, что завтра у соответствующего здания не будет стоять трехтысячная толпа разгневанных женщин с гнилыми помидорами. А будут, как и каждый день, стоять опереточного вида путаны под бдительным присмотром сутенеров на хороших машинах и дружественной милиции. И независимым средствам массовой информации освещать тут будет решительно нечего — ничего нового, все и так все знают.

В общем, страна опять воюет, бесконечно выясняя, кто кого, — то есть в новых экономических условиях мужественно распевает все те же “старые песни о главном”: власть, статус, принуждение. А то, что вместо “броня крепка и танки наши быстры” звучит блатной шансон, отражает лишь изменившийся характер боевых действий.

И в регулярной армии, и в криминальной разборке место женщины определено, и перспективы у этого “места”, прямо скажем, незавидные: “у войны неженское лицо”. Но чего еще можно ожидать от общества, десятилетиями работавшего на войну и покорение — ах, какой глагол! — то целины, то космоса? Удивительно ли, что все женское — “по умолчанию” понимается как второсортное, неважное, не стоящее серьезного внимания? Расскажу всего один из коллекции профессиональных сюжетов новейших времен.

...Знакомьтесь: Геннадий, один из пяти мужчин, участников большой учебной группы в большом городе N. Гена из бывших воен-

ных, потом получил педагогическое образование и работает заместителем директора по воспитательной части — или как это сейчас называется — в элитарной школе. Неистощим на выдумки: какие-то клубы, соревнования, перформансы и их проекты из него просто сыплются. Успешен: уважают подростки, ласкает начальство, любят женщины, полгорода просит о частной консультации. Кажется, даже победил в своем регионе в конкурсе "Учитель года". Что называется, интересный мужчина: чеканный профиль, косая сажень, ослепительная улыбка, великолепная пластика, может и "техно" станцевать, и боевым приемом срубить. Карьера на взлете. Вполне незаурядный путь, хорошая реализация своих данных, популярность.

— Что гложет, Гена?

— Я в принципе доволен жизнью, своим выбором. Мне нравится работать с этими ребятами, видеть результат. У меня есть будущее — кое-какие предложения все время поступают, причем ставки растут. Но! Вот какое "но"... Единственные люди, от которых я не получаю и, наверное, никогда не получу той оценки, что мне, честно, очень хочется, — это ребята, знакомые еще с военного училища. Уходили из армии почти одновременно. Кто куда — большинство в бизнес. И вот они... не знаю, как сказать, чувствую только... не уважают. Нет, они звонят, когда надо детей пристроить или, там, вразумить... Но один прямо сказал: чем ты, мужик, занимаешься? Смотри, говорит, наши все — серьезные люди, ты один не при делах...

— Гена, покажи нам этого друга — стань им и скажи все, что считаешь нужным, от первого лица.

Он пересаживается на другой стул, обращается к своему месту, как если бы остался там:

— Ну, че ты, правда, в этой школе забыл? Это что, дело для настоящего мужика? У тебя же башка варит, внешность представительская, языки... Нет, ну я, конечно, понима-аю, мамы всякие нужны, мамы всякие важны... Но ты не прав.

И снова обмен ролями, и Гена отвечает другу юности Жоре... Правильными словами отвечает, но страшно собой недоволен. Потому что оправдывается, потому что получил упрек в недостатке мужского начала, а как на него ответишь? Автомат Калашникова из-под стола покажешь?

Наша дальнейшая работа с Геной — это тоже другая история. И спасибо ему за пронзительную честность его обиды — девять из

десяти молодых людей с похожим “раскладом” ни за что бы в ней не признались. А чувство, допущенное в сознание, — это уже шанс его прожить и перерасти. Так, по крайней мере, считают психологи и психотерапевты.

Вернемся к ним. Все, что “про семью”, “для души” и в той или иной степени имеет отношение к психологии, квалифицируется в патриархальном сознании как женское, то есть вторичное, необязательное и в лучшем случае пригодное “для домашнего употребления”. Студенты факультетов психологического консультирования и психотерапии — это на самом деле *студентки*. Покупатели книг по популярной и даже узкопрофессиональной психологии — это на самом деле *покупательницы*. Клиенты психотерапевтов (обоего пола) — в большинстве своем *клиентки*. Каковы же участники женских групп — те, кому не жаль пожертвовать выходным днем, потратить силы и деньги на участие в тренинге — при том, что нет ни особой моды на такого рода занятия, ни пролезавшей во все щели рекламы?

На мой взгляд, — конечно, пристрастный, я же их люблю и уважаю, — они совершенно замечательные. Умные, красивые и... счастливые. Предвижу недоумение: если счастливые, чего же по группам ходить? А в том-то и дело, что типичная участница такой группы приходит не “лечиться от”, а “работать для”. Иногда свой приход в группу они называют “подарком самой себе”. Они поразительно трезвы и реалистичны: “Я понимаю, что проблему, которую я наживала годами, за один день не решишь. Что я надеюсь здесь получить, это новый взгляд и, может быть, энергию первого шага. А идти мне, конечно, придется самой”. Это довольно типичное высказывание.

В их историях может быть очень много боли. И, на мой взгляд, это совершенно не исключает счастья. Но уж жертвами, бедняжками этих женщин никак не назовешь. При любых своих обстоятельствах они склонны сами делать свою жизнь — иногда получается лучше, иногда хуже, — и многие уже не однажды ее меняли. Собственно, их появление на группе — это один из способов заниматься собой. Как сказала одна из них, “в жизни мы обычно около, а здесь занимаемся именно своей жизнью. Я бы сказала, что наша работа — это не столько изменение себя, сколько находки себя”.

Название проекта “Я у себя одна!” вполне откровенно и понимается ровно так, как и задумывалось: “Я уже давно поняла, что я у себя одна, но, бегая между семьей и работой, часто об этом забываю. Сегодня я буду учиться помнить это каждую минуту”.

Возраст, как уже сказано, разный. Одна из тем, часто возникающих на группе, — это как раз жизненные циклы, женская жизнь во времени. Мы имеем уникальную возможность заглянуть в детство и в старость, посмот-

реть на свой единственный путь и быть со своим возрастом (и, добавлю, с его физическими, телесными проявлениями) на “ты”.

Занятия? О, разные! Мы встречались и с многодетными мамами, и с женщинами, решившими сначала заниматься карьерой, и с успевающими и то, и другое. Иногда, если позволяет время, в самом конце группы я предлагаю назвать свое занятие там, во внешнем мире. Полный восторг и “коробочка с сюрпризами”: оказывается, наша главная шутница — директор технического училища, а вот радиожурналистка, менеджер, учительница итальянского языка, web-дизайнер, риэлтор, врач-гомеопат... Нам было не до этого, мы занимались другим, но и картина нашей разнообразной занятости тоже впечатляет. И может быть, это впечатление особенно сильно на фоне необыкновенного ощущения общности сопереживания, своего рода “сестричества”.

Внешность? Разная, что всегда интересно и здорово. Единственное, что могу сказать наверняка, — это что на группу приходят удобно одетыми, хотя никто об этом специально не предупреждает. Поскольку женщины всегда так или иначе обдумывают этот вопрос и никогда не выходят “на люди” абы как, я вижу в этом еще одно подтверждение тому, что этот день (или два, или вечер — в проекте бывали группы разного формата) действительно посвящен себе.

...Искушение расширить, разветвить группы, успешно идущие уже семь лет, велико. Мне который год не дает покоя идея тренинга, посвященного различиям в языке и мышлении мужчин и женщин. Пару раз мы попробовали его заявить и столкнулись с еще одной стороной того, о чем я рассказывала в этой главе. Звонят и записываются женщины. Одни, без исключений. Это бессмысленно, поскольку сама постановка вопроса требует равной заинтересованности “высоких договаривающихся сторон”. В противном случае речь опять идет о том, “как понять его” — или “ах, почему он не понимает”. И пока это так, для меня есть смысл в ведении женских групп про то, как понять себя.

И ВСЕ-ТАКИ ЧТО МЫ ТАМ ДЕЛАЕМ?

Не рассказывайте, что с вами произошло. Покажите, как это было.

*Якоб Леви Морено,
создатель метода психодрамы*

И тут, пожалуй, самое время рассказать о том, как мы работаем — что у нас на самом деле происходит и чем оно отличается от семинара, посиделок, дамского клуба или собрания.

Женские группы по традиции велись преимущественно как разговорные — участницы сидят в кругу и говорят, а ведущая может с разной степенью определенности влиять на ход этой дискуссии. Бывали и группы другой направленности, например, телесно-ориентированные, танцевально-двигательные, использующие технику управляемого фантазирования, работающие со сновидениями — групповые подходы владеют самым разным “инструментарием”, а выразить себя и быть понятой можно не только на словах. Нашу работу мы построили на основе психодрамы, хотя на занятиях даже слово это не упоминается — только если возникают вопросы. Русское звучание слова автоматически провоцирует фантазии об экзальтации, “страстях в ключья”, театральщине и явно уводит “не туда”, — не говоря уже о том, что какой-то грамотей в “ТВ-парке” завел рубрику “Психодрама” и сваливает туда аннотации всех психологических кинодрам и все сюжеты с участием душевнобольных героев: как слышится ему, касатику, так и пишется. Нескладно получается, а что делать — термин есть термин, не “душедейством” же ее называть! (Буквальный русский перевод с греческого звучал бы примерно так, и тоже хорошего мало.)

А на самом деле суть этого весьма почтенного и старого метода групповой работы такова: душа получает возможность действовать не внутри, как ей привычно, а вовне, и любые ситуации, воспоминания, отношения, фантазии могут воплощаться и исследоваться средствами ролевой игры*. От этой игры не требуется выразительность, театральность тут совершенно ни при чем, зато она позволяет сразу взять “быка за рога” и не прятаться за словами. Соображения автора — мои то есть — по поводу метода можно прочитать в другой книге**, а сейчас я просто постараюсь “на пальцах” объяснить, как это происходит. Без этого некоторые дальнейшие фрагменты будут не совсем понятны.

Любую сцену из прошлого можно “переиграть” в настоящем времени, “здесь и сейчас”. Это особенно важно, если сильные чувства в реальности не были выражены, остались под спудом. Если мы на минутку задумаемся об этом, то поймем: то, что для нас важно, с нами всегда, это всегда “сейчас”, сколько бы лет ни прошло. Мы не можем исправить прошлое как последовательность событий, как факты: развод родителей, собственные ошибки или травмы, упущенные возможности. Но мы можем — а иногда и просто-таки должны — в подробностях рассмотреть те его фрагменты, ко-

* Те, кому интересно почитать о теории и практике психодрамы, могут обратиться к нескольким замечательным книгам: Грета Лейтц “Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама”; “Психодрама: Вдохновение и техника” (Под ред. П. Холмса и М. Карп); Пол Холмс “Внутренний мир снаружи. Теория объектных отношений и психодрама”, Рене Марино “История Доктора: Дж.Л. Морено — создатель психодрамы”.

** Психодрама в женских группах: “дочки-матери” // Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. О том, что в зеркалах: Очерки групповой психотерапии и тренинга. М.: НФ “Класс”, 1999. С. 217 — 223

торые определяют что-то важное из нашей сегодняшней (и завтрашней) жизни — те, которые из-за своей значимости "всегда сейчас". При этом понимания "одной головой" явно недостаточно: важно войти в соответствующее эмоциональное и физическое состояние. Психодрама не только умеет прояснять, освещать ярким светом осознания и понимания, но и дает возможность завершить незаконченное, оплакать утраты, досказать невысказанное.

Смысл? Прямой! Не завершённые на эмоциональном уровне отношения продолжают болеть и "нарывають", невыраженные чувства все равно ищут выхода и порой находят его нам во вред — так "застревают", например, обиды и претензии к близким, так годами мучают не сказанные слова прощения и прощания. Может быть, для других участников тех ситуаций и отношений они были не так уж и важны; может быть, для них все закончено и забыто, но если наше прошлое продолжает "дергать", если мы не в состоянии отпустить свои старые чувства, убеждения или способы поведения, — это важно не для других, а для нас самих. Зачастую в реальности просто нет возможности для завершения, "доработки" значимых отношений: когда-то властная, ломающая дочку мать уже стара и сама от нее зависит, какие уж тут разборки? Уже нет того подъезда, где девчонку до смерти испугали; давно исчезла с горизонта "та самая" подруга — да мало ли! Не всякая подробность из нашего прошлого нуждается в оживлении и "переигрывании", но таких немало — и психодрама дает нам тот "волшебный фонарь", с которым можно отправляться в "там и тогда", превращая его в "здесь и теперь".

Есть у нее и другие возможности: например, подробно рассмотреть и почувствовать — а затем и понять — смутные и противоречивые внутренние состояния. Вытащив их наружу, придав им материальную форму и разыгрывая — то есть действуя, а не говоря, — можно многое узнать о себе и о своем мире. А уж если действия окажется недостаточно, можно и поговорить, только не о них, а непосредственно с ними. Например, можно спросить у страха, откуда он взялся в свое время, — и он ответит. Как? Вот как: работающий со своей темой человек выбирает из группы помощников — их еще называют вспомогательными лицами — и своим поведением и словами задает им те роли, которые сейчас нужны "по делу". Ну, например, если уж речь зашла о страхе — а с этим чувством и вправду часто приходится работать, и не только на женских группах, — то это может выглядеть так.

- Кто бы мог помочь тебе сыграть твой страх? — спрашивает ведущая.
- Вера, можно тебя? — героиня, Тамара, оглядывает притихшую группу — страх ведь все-таки выбираем!

Вера выходит на нашу рабочую площадку — мы ее “сценой” не называем, нам важно, чтобы главная героиня могла этим пространством распоряжаться по-своему, а группа могла все видеть, сопереживать и по мере надобности участвовать в действии. Если в жизни группы подобное происходит в первый раз и Вера еще не знает, как ей действовать, дело ведущей — дать простую инструкцию, повторять которую после уже не придется, все будет с одного раза “схвачено”. Вот она:

- Тамара, поменяйся ролями со своим Страхом, стань им. А Вера становится тобой, Тамарой. *(Они меняются ролями — стало быть, и местами. Ведущая обращается к Тамаре в роли Страха.)* Страх, что ты делаешь с этой женщиной? Покажи. *(Тамара, конечно, прекрасно знает, что именно делает с ней ее родной Страх, и ей не составляет труда это показать. Она подкрадывается к “Тамаре” в исполнении Веры, берет ее сзади за плечи, потряхивает и приговаривает):*
- Я тебя парализую, лишаю возможности думать, чувствовать, двигаться. Я вытягиваю из тебя все силы, делаю твои руки хлипкими, ноги — ватными, запускаю холодный комок тебе в живот.

Каждому живому человеку знакомо переживание сильного страха, но в реальности оно у нас внутри, а психодраматический Страх снаружи. Его злодеяния задаются сначала главной героиней, а потом происходит второй обмен ролями, и все оказываются на “своих местах”: Тамара становится самой собой, а Вера в точности воспроизводит сказанное и показанное. Сотни раз я видела, — а во времена своего психодраматического обучения и испытывала на себе, — как после нескольких минут в роли какого-нибудь совершенно гадостного чувства человек уже чувствует себя лучше. “Вытащенное наружу”, оно обычно начинает хвастаться своим всемогуществом, демонстрировать всяческие пакости, которые обычно учиняет, — но ведь руки-ноги и речь при этом у него не чьи-нибудь, а самого “пострадавшего”! Это активная, хотя и противная роль, а после обмена ролями человек вроде бы и становится жертвой своего Страха, но не по-настоящему, чувствует себя по-другому. К тому же Страх обретает форму, воплощается исполнителем-помощником, поэтому с ним можно и побороться, и поговорить. Тамара, например, яростно отдирала от себя впившиеся в нее “щупальца”, а отделив Страх от себя, в лоб спросила:

- Откуда ты взялся?

На этот вопрос ответ есть только у самой Тамары, поэтому следует обмен ролями — Вера в роли Тамары повторяет вопрос, Тамара в роли Страха отвечает:

— Я появился после той ситуации, которую ты так не любишь вспоминать. Я напоминаю тебе, как ты можешь быть бессильна и беспомощна, чтобы ты снова не попала в беду.

Дальше мы будем действовать “по показаниям”: может быть, просто попытаемся договориться со Страхом, сделать его более контролируемым. Но, возможно, — судя по ответу — я предложу Тамаре все же вспомнить “ту ситуацию”. Не исключено, что мы построим новую сцену, Тамара выберет новых помощников и мы проиграем что-то очень для нее тяжелое и мучительное, а чтобы сделать эту сцену чуть более “переносимой”, Тамара отправится в это болезненное воспоминание не одна, а с кем-то, кто сможет ее поддержать. Разумеется, если сама решит, что ей это сейчас необходимо.

И вот так, воплощая и “озвучивая”, мы можем прояснять довольно сложные и запутанные переживания, укрощать того же внутреннего Критика, усиливать и “подпитывать” те свои части, которым не хватает “жизненного пространства”. Мы можем в буквальном смысле слова прощаться с периодом жизни или с приятной, но отжившей свое иллюзией, а можем исследовать область еще не известного, заглядывать в будущее. Можем попытаться понять собственное сновидение или фантазию, привычку или неожиданный для себя самих поступок. Во всем этом разнообразии возможностей одно остается неизменным: героиня ищет свою правду, при всей нашей поддержке и сопереживании отправляется в свое путешествие — *одна*. Исключения составляют те сюжеты, которые изначально являются не личными: например, если захотим, мы можем проиграть любой миф или сказку. Есть, к примеру, такая странная “женская история” — “Василиса Премудрая” называется...

Действие, игра создают особую атмосферу спонтанности и совместного творчества, в которой можно рискнуть и подумать, почувствовать или повести себя новым, для себя самой неожиданным образом. Группа подыгрывает главной героине*, подхватывая и точно по ее образцу воспроизводя роли любых персонажей, которые ей нужны для работы: это могут быть роли значимых людей или явлений, даже неодушевленных предметов. Представляете, что может рассказать дверь в женской консультации или ваша детская шубка из цигейки, не говоря уже о старой фотографии или только что начатом еженедельнике? А в последнее время всю заговорили персональные компьютеры и автомобили.

Героиня — вернее, тема, заявленная ею, — выбирается самой группой. Обычно есть несколько готовых к работе, “разогретых” участниц, а веду-

* В психодраматической литературе главный герой называется протагонистом, выбранные им на разные роли члены группы — вспомогательными лицами, а ведущий — директором, и это моя “родная” терминология, но на страницах этой книги я ее придерживаюсь не буду.

шая задает группе вопрос: “Работа с какой темой даст больше лично вам?” Для глубокой, осмысленной работы очень важно, чтобы тема была “горячей” для многих, тогда героиня получает настоящую эмоциональную поддержку, а другие участницы — пищу для чувств и размышлений о своей жизни. Я всегда внимательно слушаю, какие темы и в каком порядке выбирает группа. Бывает, что смелая участница пугает остальных своей откровенностью и готовностью работать “вглубь” и ее запрос до поры до времени “не слышат”; бывает, что группа эмоционально устает от тяжелого, “кровавого” материала и нуждается в хотя бы коротком путешествии на “солнечную сторону жизни”; очень часто бывает, что после одной-двух работ первоначальные запросы меняются, и это лишний раз доказывает, что каждая героиня работает не только для себя, но и для всей группы.

В начале каждой индивидуальной работы мы всегда договариваемся о ее направлении и о цели: “Что могло бы быть для Вас результатом этой Вашей работы?”. Понятно, что иногда приходится поторговаться: таких “контрактов”, как решение всех проблем за полчаса или “счастье вообще”, мы не заключаем: это, что называется, дохлый номер. Для меня принципиально важно, чтобы цель и “фокус” работы формулировала сама героиня: это ее жизнь, ее чувства, мало ли что покажется ведущей и группе! Бывает, что на занятия приходят женщины, толком не знающие, с чем и почему им имело бы смысл работать — и что? Не раз случалось, что немного позже они “ухватывали” что-то настолько важное и для них, и для остальных, что их работа становилась главным событием дня. Меня не пугает отсутствие готовых формулировок — они, кстати, часто бывают неточными, заимствованными из популярной литературы или разговоров с подругами. Мне кажется, что сама по себе готовность потратить время, деньги и силы на групповую работу — это лучшее доказательство того, что “есть зачем”. А уж сориентироваться и назвать словами — это не вопрос: чуть раньше, чуть позже, с моей ли помощью, без нее ли.

На одну длительную — то есть раз в неделю в течение нескольких месяцев — женскую группу ходила совсем молодая девушка, страдавшая ужасной застенчивостью. В первый раз ее вообще привела мама — как вы догадываетесь, сверхактивная и речистая. Почему-то у таких мам дочери сплошь и рядом тихие, словно с рождения прибитые бешеной активностью и постоянным вмешательством во все свои дела. И ездила девчонка откуда-то издалека, приезжала усталая и бледненькая, и на мой вопрос: “Кто хотел бы сегодня поработать?” — ни разу не выдвинулась. Правда, в работах других участниц подыгрывала, а в шеринге — прошу прощения, в разговоре о чувствах — порой говорила очень тонкие и глубокие вещи. Группа обращалась с ней бережно, с симпатией и на равных: было понятно, что всяческого дерганья и прямых инструкций типа “не сиди, будь активной,

это же тебе надо” девочка и такхватила через край. К чему я рассказываю эту историю? А вот к чему: в конце нашей работы, на предпоследнем занятии тихая Ирочка своим мягким голосом сказала, что ничего важнее этого общения в ее жизни не происходило с самого детства. Что она впервые сдавала экзамены в техникуме без паники, что для нее раскрылся мир взрослых женщин, которые, оказывается, тоже люди со своими переживаниями и слабостями (!). Что главная “работа над собой” происходила у нее внутри. Что она с трудом училась не заикливаться на собственном привычном “что обо мне подумают”, а сопереживать, ставить себя на место других людей. И что особенно она благодарна группе за то, что ее принимали такой, какая она есть. Монолог такого объема мы слышали от нее впервые — это раз. Она действительно была важной, незаменимой частью той нашей группы, своим присутствием и своей жизнью научила нас чему-то очень важному — это два. И наконец, сейчас история Ирочки напоминает о том, что для работающей группы важно уважение к своеобразию, к уникальности того способа выражать себя, который сложился у любой из ее участниц. Когда “рано” и когда “пора”, о чем и какими словами, бурно и выразительно или тихо и почти без внешнего действия — все это моменты личного выбора: “своим голосом и о том, что важно для меня”.

Из технических деталей добавлю, что главные психодраматические инструменты — это обмен ролями, дублирование (внутренний голос) и “зеркало”. *Обмен ролями* позволяет ввести новое действующее лицо, его (или ее) голосом и глазами задать ситуацию, а заодно, может быть, и увидеть ее поновому. *Дублирование* очень помогает думать и чувствовать — особенно когда чувства и мысли неясны, противоречивы. “Внутренний голос” всегда звучит из-за спины, любые его утверждения могут приниматься или корректироваться. Ну, а *психодраматическое “зеркало”* — это редкая возможность увидеть себя со стороны, что не всегда приятно, но почти всегда полезно. Все, что важно для героини в “месте действия”, мы обычно обозначаем весьма условно — стульями: вот дверь, вот окно, еще здесь важен телефон, который все не звонит и не звонит... Может быть, на эти роли будут введены люди, может быть, они будут только обозначены — действие и чувства героини покажут, с какой подробностью и в каком направлении нам разворачивать работу. Меня всегда поражает, как легко и без всякого специального “натаскивания” группа начинает пользоваться этими инструментами — будто всю жизнь мы только и делали, что “исследовали свою правду средствами ролевой игры”. Может быть, здесь дело в детских воспоминаниях? Для ребенка ведь естественно одушевлять все вокруг, говорить за куклу или машинку, подражать действиям героев фильмов...

Одна из замечательных особенностей психодрамы заключается в том, что другие участницы (даже те, кто не занят в ролях) всегда примеряют на

себя и свою жизнь “шкуру” героини, как если бы сами побывали там, тогда, с теми, кто...

Действие вовлекает больше, чем разговоры, да и правды в нем больше — той личной, субъективной правды, которую героини отправляются искать. Еще одна важная деталь: в начале дня мы обязательно договариваемся о нескольких простых правилах:

- ни в каких сценах, сколь бы бурными они ни были, мы не причиняем физического ущерба себе и другим;
- все, что делается и говорится на группе, конфиденциально — при желании где-то что-то рассказать мы обязательно меняем имена и узнаваемые обстоятельства (и на этих страницах вы не встретите ни одного настоящего имени или географического названия);
- от предложений ведущей можно и нужно отказываться, если они тебе по тем или иным причинам не подходят.

Эти правила делают нашу работу более безопасной — в том, что она нуждается в такой “страховочной сетке”, вы скоро убедитесь сами.

А по завершении действия всегда бывает разговор о том, какие чувства, связанные с собственным опытом, “зацепила” чья-то история. Это очень важная часть наших дел в группе: здесь героиня получает поддержку (ты не одна, это знакомо, мы с тобой), но одновременно и группа может высказать наблевшее, поделиться своим — причем не путая “свое” и “не свое”. Что бы мы ни испытывали, глядя на чью-то работу и сопереживая ей, это чувство возникло не впервые, а сейчас мы сердимся, не можем унять слезы или трясемся от страха не *по причине* работы героини, а только лишь *по поводу* ее. Причины слез, гнева или дрожи коренятся в собственной жизни, опыте каждой участницы, а работа героини только открывает дверцу к ним, позволяет им выйти на поверхность. Этот разговор о чувствах в психодраматической традиции называют шерингом, и первые несколько раз бывает непросто удержать разгоряченную группу от советов, оценок и попыток “учить жить”. Непросто, но совершенно необходимо: совет или интерпретация — это всегда уход от своего опыта, а сообщение о чувствах может быть равно важным и для говорящей, и для слушающей: “Когда ты заговорила о ситуации, которую не любишь вспоминать, я впервые испугалась по-настоящему. До дрожи, сильно. И конечно, всплыла ситуация, которую я много лет как бы не помню. Как бы. Она тоже связана с физическим унижением. Это было...”. Отработавшая героиня только слушает, в самом конце может сказать группе пару слов — уверяю вас, в этом “послеоперационном” состоянии вести длинные разговоры особо не тянет. Чаще всего

просто благодарят за поддержку, обязательно выводят из ролей всех вспомогательных лиц и предметы, которые имели какую-то символическую нагрузку: мы очищаем пространство, внутреннее и внешнее, для следующей работы.

Есть еще четвертое правило: его я ввожу по ходу дела, когда оно может быть понято и уже имеет какой-то смысл. Мы договариваемся о том, что все, кто работал со своим материалом, пару дней подождут с принятием важных решений (особенно "по теме") и воздержатся от попыток бурно обсуждать свою работу (особенно с "заинтересованными лицами", о которых шла речь в самой работе). Искушение немедленно поменять в своей жизни все или схватить телефонную трубку и начать не то мириться, не то ругаться, не то резать правду-матку — велико. Поддаваться ему — не следует. В эмоционально заряженном, "искрящем" состоянии можно и дров наломать, а уж решений напричинать таких... Главная психодраматическая работа делается не во время разыгрывания, даже не во время разговора о чувствах: она происходит глубоко внутри, где душа в своем привычном внутреннем плане перерабатывает все, что с ней происходило во время психодраматической сессии. Тогда-то и рождаются новые мысли, возникают чувства, связываются между собой воспоминания и обрывки кем-то сказанных фраз, снятся новые сны. На это нужно время.

Группа и ведущая — только катализаторы; каждая из нас возвращается в свою реальную жизнь, где нам и дальше жить; все изменения и прозрения должны быть с этой жизнью увязаны. На это тоже нужно время. Сорок восемь часов — это "минимум для безопасности", уравнивающий интенсивность группового опыта. Дальше все равно приходится принимать свои решения и продолжать свой путь.

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Первое правило — делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят этого.

Екатерина Великая об искусстве правления

Но что это мы все о мрачном и серьезном: темный лес, говорящая загадками Баба-яга, страхи да тяжелые воспоминания — так и до морщинок на лбу недалеко. Лоб же, понятное дело, должен быть гладким, если же его вообще многовато, лучше прикрыть избыток челкой. Так советуют стилисты, а им виднее. Скажем спасибо за заботу и заглянем в обычную женскую группу в одну из суббот.

Обычно первый наш шаг мало напоминает знакомство в традиционном смысле слова — этот ритуал сильно подпорчен многократным повторением в официальных или светских ситуациях. Начнешь с него — и вытащишь все привычки общения с “чужими”, когда невольно контролируешь, “как сядешь, что скажешь” (даром, что мужчин поблизости нет). Мы начинаем с разминки, которая позволяет и рассмотреть подробнее тех, с кем свела судьба в этом совместном “путешествии”, и кое-какие мысли прояснить, и каждой незаметно решить для себя, на какую работу, какую степень открытости, какую глубину общения можно отважиться в этой группе.

Как правило, в начале такой разминки я предлагаю разбиться на пары по какому-нибудь странному и неожиданному признаку. Например, объединиться с той, которая кажется самой непохожей внешне. Понятно, что сходство и различие — дело сугубо субъективное: кто смотрит на рост, а кто на цвет волос. Тем и занятно. Разговоры у нас идут короткие — обычно две минуты говорит одна, две минуты другая, а потом пара распадается и на новую тему уже можно поговорить с новой собеседницей. Темы для этих двухминутных разговоров не очень обязывают, хотя каждую при желании можно было бы развернуть в многочасовую групповую работу. Вот, например, о чем я просила поговорить “для разогрева” последнюю группу:

- Какие стереотипы, “перлы народной мудрости” в отношении женщин вас особенно задевают?
- Когда — давно или недавно — вы испытывали яркое, отчетливое чувство “Боже, как хорошо быть женщиной!”?
- В каких своих жизненных ролях вы чувствуете себя “на месте”, в согласии с самой собой, а какие даются с трудом или просто не нравятся?
- Кто из знаменитых женщин всех времен и народов вызывает у вас чувство восхищения — “Какая женщина!” — и чем?
- Что обычно говорят маленькой женщине с припевом: “Ты же девочка!”, что считается обязательным, “в жизни пригодится”, за что хвалят, ругают, стыдят?

Бывают и другие темы, иногда возникающие на ходу, в ответ на какую-нибудь реплику или реакцию — нам важно сразу окунуться в пестроту, богатство воспоминаний и примеров, признать право думать и чувствовать по-разному — и, разумеется, право быть выслушанной и выражать себя “своим голосом”. А уж после разминки, когда хотя бы половина группы больше не кажется чужой, обрела голоса и лица, мы садимся в круг и говорим о том, с чем каждая из присутствующих хотела бы поработать в этот день, что ее привело к нам.

И вот однажды почти в начале группы мы слушали, кто с чем пришел — как обычно. Перечислено было многое: сомнения по поводу смены работы и фантомные боли* после мучительного развода, отношения со старой мамой и со взрослым сыном, эмоциональная зависимость от мужчины и поиск нового дела в жизни, неумение сказать “нет” друзьям и родным, переживание одиночества в семье, муки ревности, желание больше радоваться уже достигнутому успеху. Были страхи, надежды, поиск ресурса, изменение приоритетов — все, что важно. А одна веселая дама — назовем ее Натальей — говорит:

— Эх, сюда бы хоть парочку журналисток из дамских журналов — поглядели бы, как люди живут! А то смех разбирает, что там у них считают проблемой! Прямо королевство кривых зеркал какое-то!

Материализовать прессу на тот момент было никак нельзя (хотя однажды такое случилось), но для начала поиграть в то, “что там у них считают проблемой”, было можно — Наталья энергичная тирада вызвала много смешков, кивков и выразительных междометий.

* Боли после ампутации конечности: ее нет, но она как бы еще есть и болит.

Иногда, если речь идет о чем-то знакомом и не вполне личном, мы работаем без “главного действующего лица”. Вот коротенькая игра-импровизация на тему женских журналов и стала таким лирическим — нет, скорее комическим — отступлением. Прежде чем начать настоящие, серьезные и личные, истории, мы совершили маленькую экскурсию в мир глянца и кукольных представлений о том, что же такое женские проблемы. Как пел Вертинский, изысканно грассируя, “разве можно от женщины требовать многого, Вы так мило танцуете, в Вас есть шик”...

Итак, мы обозначили место — что-то вроде сцены в комнате, — и ведущая (то есть я) предложила всем желающим стать Колонкой, Статьей или Фотографией. Получился этакий живой макет журнала. Вот он.

- Я — Колонка обозревателя моды. Ну конечно, гей — это та-ак стильно. Смотрите, вот я какой хорошенький, просто прелесть, so cute! Так, о чем я? Наступает лето, пора обновить гардероб. Все, что у вас есть, никуда не годится. Это уже не носят, милые. Смотрите, что вам нужно, и немедленно: вот такие босоножки... и вот такая сумочка... и вот такой экстремальный блузончик... So cute, но не для всех: коровам больше сорок второго это не пойдет. Для них — отдельный раздел “Большой размер — еще не трагедия”. К счастью, его веду не я. Я люблю, чтобы видно было вещь, а женщина внутри — это лишнее.
- Пора худеть! Как, вы еще не знаете самой крутой диеты? Записывайте, это ваш последний шанс прилично выглядеть на пляже. Будете как я — плоский живот, никакого целлюлита, пальчики оближешь! Глядишь, и облизет...
- Вечный вопрос: брить ноги или эпилировать горячим воском? За и против... против и за... Это непростое решение. (*Лежа на спине, Оксана рассматривает высоко задранную ногу.*)
- А я — письмо от читательницы. Можно ли рассказывать мужчине об этом самом... ну, о своем предыдущем сексуальном опыте? Если нет, то что делать, если он настаивает?
- Брить или не брить — вот в чем вопрос... (*Оксана разглядывает вторую ногу.*)
- Наш психолог отвечает читательнице. Если настаивает, дорогая Елена, то можно — но без подробностей. Ваш друг может подумать, что Вы его сравниваете с другими... друзьями. Мужчины, Леночка, этого не любят. Если Вам дорог этот... друг, дайте ему понять, что Он — несравненный во всех отношениях. Это они обычно глотают не жуя. Возьмите листок бумаги и напишите 20

синонимов к слову "несравненный". Выучите наизусть, пусть это станет вашей второй натурой. Побольше разнообразия, удивляйте его каждый раз. Это они любят. Только нужно знать меру: если вы восхититесь Вашим Несравненным, а он такого слова не знает, он почувствует себя ущемленным. Этого они, конечно же, не любят. Пишите нам — мы откроем вам все их секреты!

- А я — кулинарная колонка. Вот рецептик по-тря-сающего десерта. Все такое взбитое-взбитое, сверху ягодки-ягодки, и почти никаких калорий. Вот какая картиночка хорошенькая! Все гости просто обзавидуются! Так им и надо, раз колоночку не читали!
- (*Мрачно, с пафосом.*) Хозяйки, запомните: кухонное полотенце должно висеть не больше двух дней! Затертое полотенце — ваш позор и дополнительный расход стирального порошка. Кафель надо чистить сверху вниз. Пакеты от крупы разрезаем ножницами: в швах всегда что-то застревает. Сто пакетов — сто грамм экономии.
- (*Интимно, выгибая бедро.*) А я — анкета "Твои эротические фантазии". Кафель сверху вниз почистила? Ноги побрила? Десертик в морозилке? А теперь ответь на мои вопросы!

Ты обычно предаешься эротическим фантазиям:

- в транспорте — 1 балл;
- на работе, вместо самой работы — 0 баллов;
- у себя на кухне — 2 балла;
- в постели с мужчиной, не имеющим с ними ничего общего, — 0 баллов;
- читая наш журнал — 4 балла.

В столбик складывать умеешь? Запиши ответ — консультация нашего сексолога на странице сорок.

— Брить или не брить...

Хотя пословица и гласит, что "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается", — у нас все наоборот. В реальности игра "в журнал" заняла меньше времени, чем вы о ней читали. И никакое описание не передает интонаций, поз и движения — "пора худеть", например, исполнялось на фоне настоящих отжиманий, а "массовка" потягивала из вообразяемых ча-

шек что-то до крайности омерзительное, судя по мимике. Смех смехом, а что дальше? А дальше — вопрос (мой):

— А вот здесь, в сторонке, у нас обычная женщина. Что говорит ей журнал? Давайте услышим подтекст, второй смысл.

“Колонки” смыкают ряды и обращаются к пустому стулу:

— Вот она, настоящая жизнь! Нравится? Старайся, тянись!

— Я — твой сон, твоя мечта. Не просыпайся, там все совсем не так.

— Тебе ни-ког-да так не выглядеть.

— Никому не интересно, что у тебя внутри. Полируй фасад.

— Не принимай меня всерьез. Вот я, например, тебя всерьез не принимаю, а ты?

— Но какие большие деньги я делаю на твоих маленьких слабостях!

— Купи — и может быть, тебя тоже купят, девочка...

— Ты дура. Ты слопаешь все, что мы тебе захотим скормить. Ну не дура? (Хор в ответ: дура, дура...)

И вот тут-то возникает занятный вопрос: на чем играют, чем искушают эти самые журналы? Ведь понятно, что женщину они не уважают, в грош не ставят — в прямом и переносном смысле. В женских журналах “сильнее, чем где-либо еще, Женщина утверждает себя как особый зоологический вид, своего рода колония паразитов, которые хоть и способны двигаться сами по себе, но не могут далеко уйти и всякий раз возвращаются к привычной опоре (каковой является *vir*)”. Кто, собственно, является привычной опорой, понятно, поэтому латынь оставляю без перевода, — а вся цитата принадлежит французскому исследователю современных мифологий Ролану Барту. И самое поразительное то, что написаны эти строки в конце 1950-х годов. С тех пор мир повидал многое: сексуальную революцию и женское движение, полеты в космос и чудеса генной инженерии, экологические катастрофы и падение Берлинской стены, Интернет и новых Нобелевских лауреатов... А для “особого зоологического вида” (как его понимают в кукольном мире глянца) время, похоже, остановилось:

“В мире журнала “Эльль” нет мужчин, но он всецело сотворен мужским взором и представляет собой не что иное, как мир гинекея. [...] Вы можете любить, трудиться, писать, заниматься бизнесом или литературой, но только не забывайте, что на свете есть мужчина и что вы ему не равны; ваш мир свободен лишь постольку, поскольку зависит от его мира; ваша свобода — вид рос-

коши, она возможна только при том условии, что прежде всего вы признаете обязанности своей природы. [...] Иезуитская мораль: можете отступать от морали своего удела, но ни в коем случае не от догмы, на которой она зиждется".

Охо-хо, это вообще 1955 год — год моего рождения, между нами говоря. Студентки слушают лекцию по психологии гендерных различий, склонив головки немыслимых цветов над свеженьким номером — кажется, все того же "Эльль". Все возвращается на круги своя? Или это так кажется из Москвы 2002 года, куда более благополучные соседи радостно сваливают то, что уже "не носят" сами — радиоактивные отходы, сигареты "Мальборо" и целую кучу международных изданий про красивую жизнь?..

ПОЛЕ ЧУДЕС... В СТРАНЕ ДУРАКОВ

Три вещи не прощаются женщинам. Но никто не знает, какие и почему.

Янина Ипохорская

Не будем лицемерить: чего греха таить, листать женские журналы так сладко, так приятно. Что-то гладкое и блестящее, очаровательные флакончики, парящие в невесомости туфельки, мелькают вкусные слова — что-нибудь вроде "пастельный", "воздушный", "уютный"... Колонки разбросаны по страничкам так элегантно, тут шрифт — там цвет. Это чтобы нам было нетрудно, глупеньким: никто ведь не читает глянецовые журналы внимательно, рассеянный взгляд нужно заманивать и ловить.

Лично мне случалось *читать* женские журналы исключительно из практических соображений — когда появились предложения что-нибудь для них написать. Элементарная корректность требовала ознакомиться, хотя, если честно, давалось это всякий раз нелегко. Когда открываешь любой — называйся он хоть "Фам фаталь", хоть "Верунчик" — точно знаешь, что сейчас будет. Тебе будут нечто продавать, сначала убедив, что у тебя этого нет.

Бизнес есть бизнес. Реклама тряпочек и косметики — почему нет? Это красиво, а бежать покупать "оттенки сезона" никто не заставляет. Реклама чудодейственных диет и новейших процедур — так "не любо — не слушай, а врать не мешай", ведь даже у самых доверчивых из нас есть кое-какая голова на плечах. Все мы знаем, что, в общем-то, нужно меньше есть и больше двигаться, чудес не бывает — или бывают такие, что не обрадуешься. И все мы знаем, что "ничто так не старит женщину, как возраст". И что эф-

факт дорогого косметического салона (“революционная технология омоложения” — альфа-гидрокси-что-то там, лифтинг-пилинг, керамид-коллаген... что следующее?) — продержится до первого аврала на работе или ангины. И что нормальная физическая нагрузка — это струйка пота, гримаса напряжения на лице и ноющие мышцы назавтра. Барышня на картинке демонстрирует чудеса гибкости и растяжки, не поведя бровью и все с той же сияющей улыбкой — надувные у нее гантели, что ли?

Но это все еще цветочки. Ягодки — это философия жизни, то есть того представления о женщине и ее жизни, которое остается как бы в тени фигурных флакончиков и супердиет.

“Теперь, когда моя грудь выглядит нормально, я счастлива”.

“Браво косметике! Именно она дарит каждой женщине *уверенность в себе*”.

“Если вам что-то не нравится в том, что он делает в постели, об этом можно сказать с улыбкой — но только с *нежной улыбкой*”.

“Благодаря интеллекту и мускулам он чувствует свое *превосходство* над женой”.

Это — крупным шрифтом. Мелким — история Вали С., которая “не удержала ЕГО” — то ли потому, что не пользовалась новейшим эпилятором, то ли улыбка была недостаточно нежной. Будет, конечно, и история Марины П., у которой все кончилось хорошо, — то есть ей купили цветы, признались в “чувстве” и разрешили не увеличивать бюст хирургическим путем. Как говорится, “спасибо, дяденька”...

Все мы знаем, что слезные письма в редакцию пишутся в редакции же, советы передируются из одного и того же источника (разумеется, переводного). А я еще знаю, что в этих изданиях часто работают вполне тонкие и умные женщины, которые, стесняясь, заказывают психологам “матерьяльчик” с пожеланиями “побольше конкретных советов”, хотя про свою собственную жизнь они никогда не стали бы слушать расхожие премудрости, весь этот психологический ширпотреб, “пучок на пятачок”. (Между прочим, даже на нормальной — личной и конфиденциальной — психологической консультации советы дают крайне редко и осторожно.) Но — “позиция нашего руководства”, но — “наших читательниц интересует конкретика”... Работа есть работа, позиция руководства — это серьезно, как понимают все большие девочки. Я с нежностью вспоминаю редакторов и корреспонденток, с которыми мы отчаянно пытались вдуть хоть искру жизни, юмора, сомнения в пластиковую упаковку “женского жанра”, в этот

придуманый мир. Получалось, прямо скажем, когда как и не совсем. Жить в кукольном домике, где хозяйка Барби, тесно.

Вот, например, какими вопросами мучаются "наши телезрительницы" — по мнению программы "Женские уловки", или "Дамский зал", или "Секретники женского счастья".

- Может ли женщина сама проявить инициативу и познакомиться с понравившимся мужчиной или нужно ждать, когда он "обратит внимание"?
- На какие темы можно (нельзя) говорить при первой встрече (например, может ли женщина говорить, что у нее — "серьезные намерения" или выспрашивать про его личную жизнь и т.д.)?
- Стоит ли рассматривать приглашение в ресторан как приглашение в постель?
- По каким признакам определить, что мужчина — типичное "не то"?
- Можно ли знакомиться с женатыми мужчинами?
- Стоит ли ради "него" резко менять образ жизни (например, часами сидеть дома и ждать звонка)?
- Что делать, если он говорит, что любит, но жениться не хочет?
- Можно ли говорить про свой возраст?
- Можно ли выспрашивать про его личную жизнь?
- Можно ли при мужчине говорить, что сидишь на диете, отказываться от еды, говорить: "Я такая толстая...".?
- Можно ли говорить о себе, о своих интересах или лучше спрашивать его?

За каждым таким вопросом (а они вполне могли примерно так и задаваться) *что-то да есть* — только никто не потрудился выяснить, что именно. Например, в этом впечатляющем, хотя и неполном списке из моего архива сразу бросается в глаза, что большинство "роковых вопросов" связаны с разрешением (чьим, интересно?) и, в частности, с разрешением говорить. В самом деле, тупо молчать и хлопать ресницами как-то совсем уж дико. А откроешь рот — явно сделаешь что-нибудь не то. Дорогая редакция, помогите!

У меня при чтении такого рода списков возникают совсем другие вопросы. Что же надо было сделать с девочкой, чтобы до такой степени вытравить

из ее общения с представителями противоположного пола даже тень какой бы то ни было естественности? Почему отношения с мужчиной в этом “раскладе” полностью лишены радости — ни интереса, ни удовольствия, один сплошной страх ошибки? Почему воображаемый мужчина, которому словно сдается какой-то бесконечный экзамен, такой убогий, слабый, неинтересный? Почему “наши телезрительницы” совершенно не предполагают — судя по вопросам, — что они сами могут в общении с мужчинами хотеть разного, искать и находить разное? Где хоть одно упоминание о том, что тело, душа, разум, дух женщины вообще имеют собственные — и различные — потребности?

В пространстве плавает некая виртуальная женщина, у которой нет ни биографии, ни чувств, ни возраста, ни самооценки. Она — надувная игрушка, причем не обязательно из ассортимента секс-шопа — может быть рекевизитом и в гостиной, и на кухне, и в офисе. Как говорится, за что купят — то и отработает.

Я не верю в массовый врожденный идиотизм — ни женский, ни мужской. Когда милая и неглупая тележурналистка говорит извиняющимся тоном: “Нашу передачу смотрит такой контингент — домохозяйки, сами понимаете, что они могут спросить. Главное, с ними надо попроще, на их уровне”, — для меня это многое проясняет. В частности, происхождение “надувной куклы”. Обратите внимание, как гармонично дополняют друг друга страх “сказать не то” аудитории — и покровительственное “что они могут спросить” у “дорогой редакции”. При всех различиях в образовании, возможностях, амбициях — *полное единство в главном: они не любят женщину.*

Не нравится она им, неинтересна. Ее можно только использовать — а на что она еще годна, не разговаривать же с ней, в самом деле? Одна “домохозяйка” сказала по этому поводу так: “Не могу я смотреть эти женские программы, тупость какая-то. Вот “В мире животных” — это да, детские есть интересные, документальное кино, даже футбол. Там хоть жизнь, происходит что-то”. Может быть, эта женщина не знает многого. Но и “ее уровня” вполне достаточно, чтобы не путать жизнь с ее отсутствием. Мертвой — “надувной” — ей быть не нравится.

И если к самим журналам и телепрограммам у меня вопросов нет — они такие, какие только и могут быть, то есть какие купят, — то к нам, покупающим или хотя бы перелистывающим, вопросы есть. Мне интересно, что нас привлекает в этом мило упакованном кукольном царстве. Конечно, мы имеем право предпочесть эту картину мира и самих себя прочим — так же, как имеем право питаться сплошь жирными пирожными с ядовитым розовым кремом. Но по крайней мере понимаю, что это вред-

но... Нам кажется, что мы воспринимаем “жирную розочку” глянцевого страниц иронично, с безопасного расстояния. Так ли это? В самом ли деле глянцевая сласть безопасна для самооценки и достоинства или все-таки эксплуатирует наши слабости и потихоньку питает старый и могущественный миф о женской глупости, мелочности, тщеславии, зависимости — короче, принадлежности к “колонии паразитов” или в лучшем случае — к “низшей расе”? Тогда тем более интересно, на чем нас, чем нас, за что — в смысле за какую веревочку...

На любом тренинге продаж, где обучают тонкостям манипулирования человеческими слабостями, говорят примерно следующее: вы продаете не товар, вы продаете удовлетворение какой-то потребности, исполнение желаний, мечту... Какие потребности требуют “глянцевого сладостей”? О, их немало! Даже неполный список впечатляет. Например, такой:

- **Потребность в том, чтобы с нами поговорили.** (Неспроста в большинстве изданий к нам обращаются прямо — ну просто виртуальная подружка!) Нам гораздо чаще, чем мы это замечаем, нужна поддержка, общение — причем специфически женское, не осуждающее интерес к собственным ногтям или качеству кожи, рассыпающее калейдоскоп деталей... “Мне все про тебя интересно и важно, давай расслабимся и помечтаем... Я могу тебя развлекать, забавлять, утешать... Я всегда с тобой... Только не забудь подписаться...” Интересно, от кого мы предпочли бы это услышать и не услышим — ни тогда, ни теперь, ни потом?
- **Потребность в обновлении,** в том, чтобы “начать новую жизнь с понедельника”, изменить что-нибудь в своей внешности, гардеробе, привычках — да какая разница? Все мы так или иначе чем-нибудь не вполне удовлетворены, да еще есть страх перед серьезными изменениями (что нам подсказывает, что цена их может оказаться высока). Но вот революционное изменение цвета лака для ногтей, подсказанное, то есть разрешенное журналом, — это можно, это даже нужно. Так и потребность в новизне сыта, и овцы боязни перемен целы. Жизнь многих женщин так ужасающе монотонна — в сущности, такую монотонность только женщины и выносят, — что потребность “сменить кожу” часто становится просто отчаянной. А голоса сирен нашептывают: это можно, это близко, ничего не надо решать и всерьез менять, только купи — и вот тебе новая ты! И еще купи, и еще... Интересно, насколько мы контролируем это промывание мозгов, а насколько оно нас?
- **Потребность в руководстве, в получении санкций:** носи то, не ешь это, делай так-то! При этом стандарт задается чуть повыше читательского, что создает дополнительный “фактор защиты”: так делают правильные, классные, модные. Не слушай мамочку, тетеньку, дуру с работы —

слушай меня, и ты будешь права, а они — нет! Каждая женщина с детства слышала сотни замечаний, от которых практически не было защиты: внешность, манеры, “ты же девочка”. Следовать им во взрослой жизни глупо, оставаться вовсе без них и положиться на себя трудно и страшно. Тетеньке и дуре с работы возразить сильно хочется, но для этого нужно серьезное прикрытие. Журнал его дает, при этом косвенно обычно намекает на то, что на самом деле миром правят богатые мужчины, а вовсе не мамочки с тетеньками, а слушаться надо сильного. Научись нравиться, убажывать, угадывать желания и воплощать мечты — получишь влияние, даже власть. Потому что в мире куклы Барби по-другому ты их не получишь никогда... Интересно, насколько мы на самом деле не уверены в себе?

- **Потребность ощутить хотя бы иллюзорное благополучие**, забываясь, заглядеться на блестящее, яркое, из какой-то невзаправдашней и прекрасной жизни залетевшее... “Так ребенки-нищенки веками барские разглядывают елки...” В реальности бывают болезни, страх перед будущим, нереализованные способности, одиночество без семьи и совсем уже беспробудное одиночество в семье, — как бывают и минуты полноты и счастья, которые не покупаются, а только дарятся или делаются своими руками. Там — “аромат сезона”, семь способов избавиться от волосков где-нибудь, где эти волоски “отравляют всю мою жизнь”, плюс рассказ о чьей-то сердечной драме с хорошим концом. В журналах, как и в дамских романах, все всегда кончается хорошо. Зловредные волоски побеждены; ты пахнешь тем, чем следует пахнуть в этом году. Ты контролируешь свой вес, свой стресс, свою жизнь — только не вспоминай о ней, а если что-то беспокоит, купи игрушку, и тебе будет казаться, что ты не снаружи, как Девочка со спичками, а внутри... Там, где никогда не случается ничего плохого... Вы никогда не задумывались, почему Фея-крестная дала Золушке такую жесткую инструкцию относительно полуночи? Неужели не в ее волшебных силах было оставить девочку на балу, дать ей забыть о горшках и реальном месте в жизни? Похоже, что мудрая Крестная хорошо понимала простую вещь: для того чтобы “все кончилось хорошо” даже в сказке, как минимум следует знать меру и оставаться самой собой. Иллюзии прекрасны, когда им отводится безопасное место — сны, мечты, “мыльные оперы”... и женские журналы, если на них не “подсесь”. Интересно, многие ли из нас отваживаются честно признать, что сплошь и рядом иллюзии контролируют нас, а не наоборот?
- **Просто потребность в красивом**. Вы заметили, что еда на гляцевых страницах красивее, чем на тарелке? Ни таких фруктовых салатов, ни столь безупречных губ, ни вот так свободно летящих шарфов не бывает. Говорят: “Красиво, как на картинке”. И мы хотим жить красиво, прекрасно понимая, что *так* красиво не бывает. Все равно хотим. По тем же са-

мым причинам, по которым шофер-дальнобойщик лепит на стекло Клашу Шиффер, хотя все его прошлые и будущие женщины будут от нее сильно отличаться, а сменщик все равно не поверит, что это "его девчонка". Мы тоже заслужили, черт возьми, этот "глоток глянца" своими сумками, ободранными подъездами, всей этой вечной барачно-коммунальной стройкой, в результате которой все равно получалась мерзкая блочная девятиэтажка. Быт прошедшей эпохи был враждебен человеку вообще, а человеку-женщине — в особенности. Поддержание жилья в порядке буквально означает бесконечный вывоз грязи. Теснота не дает уединиться. Все предметы против: пылесос дико воеет, краны капают ржавым, соседи заливают (у них краны такие же), в телевизоре помехи, слышимость блочная... И несмотря на гнусную шутку о том, что советская женщина — это ВИОЛА (временно исполняющая обязанности лошади), она находила — в меру вкуса и умения — место для то ли "хорошенького" календаря, то ли салфеточки, и шила по ночам маскарадные костюмы детям, и со своей внешностью умудрялась что-то еще сделать, прежде чем состариться и стать "теткой" в тридцать шесть. И то, что сейчас мы можем купить духи, красивую одежду, кошачьи консервы, освежитель воздуха, коврик в ванную и цветущую гардению в горшке — это наш спрос, наше утешение за серый ужас быта советского времени. Витрины, по крайней мере, в больших городах, красивы, даже изысканны. Соблазны "украсить" — повсюду. И все это требует не изобретательности на грани фантастики, а только самого простого — денег. А денег у женщины всегда меньше, чем у выполняющего такую же работу мужчины — не говоря уже о том, что есть ситуации и периоды, когда своих у нее нет вообще...

Красивого хочется остро и по-разному: в доме, на столе, в зеркале. Но старые "военные хитрости" — переукрасим, обвяжем кружевцем, превратим в почти совсем новое — не помогут. Почти все наши самоделки все-таки выглядят немного жалко, они стали невкусными, как и самодельные "трюфели" из порошка какао, сухого молока и бог знает чего еще. Их-то не жаль. Жаль творческой искорки, духа беспримерной изобретательности и самостояния, который одна моя подруга давних лет называла "сама себе примус". Это только кажется, что насытить потребность в красивом стало просто. Заметили ли мы, как лихо используется наша жажда компенсировать ту нехватку красоты, с которой большинство из нас выросло? Голодавшие в детстве люди часто приобретают странные пищевые привычки — кто переедает, кто запасы делает, кто все время ходит с куском. Одна моя западная коллега с удивлением заметила, что в Москве ей встречалось огромное количество женщин с ногтями почти немыслимой длины: "Но ведь это же неудобно; может быть, это символическое сообщение?" Руки говорят: "Я не мою посуду, я не чиню, не стираю, не пересаживаю цветы, я вообще случайно оказалась на этой вашей улице". Ох,

неслучайно... Нарисуй на ногтях хоть что, куда денешь все остальное? Сытый голодного не разумеет. И я не могу объяснить милой коллеге, почему в мрачном подземном переходе маленькими застывшими группками стоят женщины с замороженными лицами, напряженно глядя в иные миры — на сияющие флакончики, черные кружева, мягкие складки настоящей кожи...

Интересно, про какой еще товар или услугу нам вкрадчиво сообщат, что именно ими мы должны немедленно украсить свою жизнь, “потому что я достойна самого лучшего”?

- Ну, и, конечно, есть еще *потребности попроче* — **“быть не хуже” или хотя бы “знать, как быть не хуже”, убедиться, что “не у меня одной”**. И наконец-то идентифицироваться с образом женщины-победительницы — сексуальной, элегантной, богатой и всегда, всегда получающей то, что хочет...

Честно говоря, я не знаю ни одной живой женщины, относящейся к “глянцевай сласти” всерьез: мы все-таки гораздо умнее. Может быть, некоторое чувство превосходства, с которым небрежно закрывается очередная “Фам фаталь”, — это тоже отдельная приманка? Может быть, и это просчитано?

Как бы там ни было, то представление о женщине, которое стоит за невинной болтовней легкомысленных страничек, просто пугает. Судите сами.

Эта “ОНА”:

- зависима — от мужчины, мнений окружающих, моды, чего и кого угодно;
- не уверена в себе настолько, что все время нуждается в поглаживаниях и похлопываниях, сосках и погремешках;
- озабочена не своим развитием, а судорожным “ремонтom фасада”;
- не способна к элементарному анализу фактов, причем даже фактов собственной жизни;
- ревнива, завистлива, ненадежна в отношениях, склонна к манипуляциям;
- в других — мужчинах прежде всего — видит не людей, а некое средство для достижения своих целей;
- уж если любит, то достанет и удавит этой любовью так, что мало не покажется;
- во всем, что делает, эта особа постоянно изобретательно неискренна, причем завралась так давно и последовательно, что концов уже не сыщешь;
- и вновь — зависима, зависима, зависима...

Почему "ОНА" кажется такой ужасно знакомой — ведь среди нас такого хладячего убожества днем с огнем не сыщешь? Где же мы все-таки встречались?

Эта неприятная особа, конечно, не живой человек... Я совсем не уверена, что пропитывающий все вокруг миф о женщине как создании бессмысленном, инфантильном и неполноценном выдумали угнетатели-мужчины. Мифы — творчество коллективное, и тут приложили руку все кому не лень... Да и какая разница, кто что породил, — важно, что он давно и прочно въелся, стал реально действующей силой, осколочком дьявольского зеркала попадает то в глаз, то в сердце — и мы видим самих себя и мир в искаженном, недобром свете.

Женские журналы ничего не выдумали — они только подхватили и эксплуатируют наши собственные страхи, иллюзии и желания, связанные с глубоким и тайным недоверием к собственному складу ума, души и тела. Они не виноваты — в их кривом зеркале отражается всего лишь карикатура, глубоко сидящая в нас самих. И вопрос только в том, как обнаружить, отследить и проверить реальностью тот кусочек нехорошего зеркала, который засел в единственной нашей голове, глазах, сердце. Мы не отвечаем за печальное наследство, полученное от многих поколений, — но, безусловно, отвечаем за то, как этим наследством распоряжаемся в своей единственной жизни.

Интересно, и как же?

ШЛЯПКА, САЛАТ И СКАНДАЛ

Это совершенно неважно.

Вот почему это так интересно.

Агата Кристи

Говорят, что женщина может сделать из ничего шляпку, салат и скандал. Не знаю, чего больше в этом утверждении — раздражения или восхищения такой способностью. Но в общем принято считать, что женщины могут огорчаться по пустякам и радоваться пустякам же. И в самом деле, что только не огорчает нас, глупеньких. Вот например, одна моя коллега получила на работе жидкость для чистки компьютера. Оказалось, что жидкость одновременно имеет свойство смывать лак для ногтей. Нашим изумленным взорам предстала разъяренная, оскорбленная до глубины души женщина, несущая на отлете эту ужасную руку, изуродованную, пусть и не по-настоящему — что это, как такое могло со мной случиться? С двух — нет, хуже, с трех из десяти ногтей подло снялся лак. Ее гнев был совершенно серьезным, будто ее обманули, подвели, предали в чем-то очень важном. Можно сколько угодно иронизировать о ничтожности повода, но сам по себе гнев был настоящий, тут уж никакая ирония неуместна.

И мне, и многим из вас случалось горько рыдать по поводу подгоревшего пирога. Ну, казалось бы, какая чушь! Ну, поскоблим корочку, ну, заменим этот пирог чем-то... Уж наверное, он был не единственным блюдом в запланированном ужине. Но так горько, так обидно, так подло — выверенный рецепт, пекла такой пирог сто раз — и вот на тебе! Весь день пошел наперекосьяк, да и жизнь не задалась — обобщения множатся и расширяются. Бог с ним, с пирогом, но ощущение какой-то глубинной, тягостной обиды — оно-то настоящее. Одна моя приятельница как-то раз достала из хранения любимый свитер, надела, собираясь выходить из дома. Не тут-то было. Как вы догадываетесь, неожиданно обнаруживается несколько маленьких противных дырочек, проделанных молью и ускользнувших от

внимания при переключении зимних вещей. Какая беда, какая печаль, и ведь самый любимый свитер, и ведь перебирала вещи, и ведь клала какую-то антимолю, таблетки, бумажки. Все фуфло, ничему нельзя верить! Чума, катастрофа. Свитер носился лет десять, свое отработал. В конце концов, можно было придумать способ эти дырочки художественно заштопать. Наши мамы и особенно бабушки владели такими “маленькими хитростями”: сделаем то-то и то-то, и ничего заметно не будет! Бабушка Раиса Григорьевна говаривала не без иронии: “Пол-Москвы не заметит, а на остальную наплевать”. И конечно, через день приятельница сама смеялась над таким ужасным горем, но опять-таки в тот момент, когда обнаружилась эта печаль, эта беда, эти семь маленьких дырочек на видном месте, отчаяние было непритворным. И может быть, еще было немножко стыдно, потому что в глубине души ничтожность повода вполне осознается. Но всплеск этого сильного, тяжелого, когда гневного, когда страдальческого чувства — он ведь есть.

А уж как мы огорчаемся по поводу того, кто и что о нас сказал! И сказано было как-то двусмысленно, не то чтобы злобная однозначная гадость! Но если случается услышать “это” краем уха или получить в виде цитаты, — как горько, как печально, как рушатся просто забытые, важные вещи в жизни. Даже девчонками мы гораздо больше обижаемся не тогда, когда нас по-настоящему подвели, а именно на это “сказала”. “Она про меня сказала” — и как это простить, скажите на милость? Очень во многом отношения в девчоночьей стайке и в восемь лет, и в двенадцать строятся на пресловутых “сказала, посмотрела”. Не так посмотрела. Наверное, уже и “сказала”.

Конечно, в столь юном возрасте мы не склонны задумываться, почему же так обидно, почему такая сильная реакция, да и в более поздние годы как-то всегда не хватает времени или внимания додумать, обратить внимание на силу собственной обиды: что же так сильно задело? Потому что надо срочно спасать пирог. Или искать другой свитер, чтобы выйти из дома. Или приводить в порядок испорченные ногти. Надо что-то делать! Хотя бы потому, что, *делая*, мы выкручиваемся, чинимся, собираем себя по кускам. И опять все отлично, мы в очередной раз переиграли подлую жизнь, которая нам подсунула такой неприятный сюрприз, и об этом можно больше не думать. Виктория! Иногда случается, что мы натыкаемся на такую — слишком сильную, как говорят окружающие, — реакцию раз за разом, и тогда уж хочешь — не хочешь, приходится обратить на нее внимание. Но что же это такое, почему меня так это тревожит, задевает? Что-то здесь другое, что-то не так. И тогда, если нам хватает смелости и терпения совсем чуть-чуть додумать, отчего мы гневаемся, отчаиваемся, плачем в такие моменты, мы можем понять что-то важное. И почти всегда это бывает не про ногти,

не про дырочки и не про горелую корку пирога, а про гораздо более серьезное. Настолько, что подумать и почувствовать про это *прямо* мы не решаемся, слишком страшно. И боль настоящая. Такая, что допустить ее до себя всю сразу — трудно.

Расскажу вам историю “о пустяках” замечательной, умной, красивой женщины средних лет — назовем ее Нора. В качестве темы своей работы она выдвинула вот что: “Меня безумно раздражает, выбивает, выводит из себя тот бардак, который все время существует у меня дома. Я хочу или научиться относиться к этому философски-равнодушно, или, не злобствуя и не расстраиваясь, между делом быстро все убирать. То есть или наплевать, или делать, но без этого тяжелого переживания, которое всегда сопровождает ситуацию, когда я вхожу домой и вижу опять тарарам”.

Как и всегда в нашей групповой работе, тему, заявленную той или иной участницей, выбирает группа. Группа была довольно большой — человек 15. Норину работу выбрали 10 из 15. Отозвалось. Когда я предлагаю группе выбирать, кто сейчас будет работать, я всегда подчеркиваю, что мы выбираем не человека, а тему, работа с которой сейчас важна больше, чем с другими темами. И такой дружный — ну просто бегом — выбор говорит о том, что нечто кажется знакомым и важным. И наконец мы оказались в таком месте, где про это можно говорить, и никто не оценит наше беспокойство как слишком мелкое, нестоящее. И никто не посоветует “быть выше” чего бы то ни было и не обращать внимания на “мелочи жизни”.

У Норы хватило смелости исследовать собственную эмоциональную реакцию, а группа радостно воспользовалась случаем, когда взрослая, достойная, уж явно не мелкая, явно не живущая только бытовыми интересами женщина заговорила об этом как о проблеме. И мы отправились туда, где Нору посещает это чувство, — к ней домой. Мы построили быстро и условно — как обычно, из наших универсальных стульев — прихожую, вход в ее дом. Мы обозначили место и признаки того самого “бардака”. И только Нора открыла дверь своим ключом, возвращаясь с тяжелой работы, вышеупомянутый бардак тут же о себе и заявил. “Что ты видишь?” — спрашиваю я. “Ой, я вижу все, что вижу каждый вечер. Я вижу кучу обуви в прихожей. Сняли — бросили, сняли — бросили”. Ага, кто мог бы быть кучей обуви? Выбирается исполнительница: Нора, поменяйся ролями с этой Кучей обуви. И говорит Норе Куча: “А я здесь всегда, а ты меня никогда не разгребешь, а я все больше и больше, и плевать, мне вообще нет до тебя никакого дела: хочешь — перешагивай, хочешь — разбирай меня, но я же завтра возникну опять”. Хорошо, что ты видишь еще? “Я вижу мойку, полную грязной посуды”. Кто мог бы быть грудой грязной посуды, кто мог бы быть мойкой? Нора в роли Мойки, Полной Грязной Посуды, говорит следующее: “Я возникаю, когда тебя здесь нет, я — сообщение тебе: “Мы поели,

а ты прибирай, а мы не будем делать это сами, нам незачем, у нас другие интересы в жизни, а ты мать, ты давай и расхлебывай".

Снова обмен ролями, мы — Нора, я и группа — слушаем сообщения от двух "элементов бардака". На реалистическое бытописание не претендуем, да оно нам и не интересно. Зато как много знакомого каждой женщине, ведущей дом: набросанное что-то из одежды, висящее на совершенно не поделенных местах; кухонный стол, заваленный всякими причиндалами, не имеющими никакого отношения к кухне... Даже жена генерал-губернатора Австралии прекрасно знала, что "самое худшее в домашней работе то, что все, что вы делаете, пачкается, выбрасывается или съедается в течение суток". Тема хаоса, противостояния грозным силам энтропии порой прячется за работами "про бардак". Но не в этот раз. В общем, уже кое-что ясно, раз прозвучала у второго персонажа подряд эта фраза: "А ты мать, ты и убирай". Конечно же, это голоса не беспорядка как такового, а того, что стоит за этим беспорядком. Поскольку я имела дело с очень умной женщиной, я спросила у Норы прямо: "Нора, кто это?" "Ясное дело, кто, — ответила она, — сын и дочь".

Не буду сейчас рассказывать весь последующий ход работы, которая, конечно, была про отношения с взрослыми детьми. Они не подростки, а понастоящему, совсем взрослые; могут приходиться когда угодно и уходить к кому угодно. И достойные молодые люди — из тех, про которых говорят: "О таких детях можно только мечтать". Они тоже много работают, отнюдь не бездельники и не паразиты, и в этом доме есть вся сложная "начинка" семьи, состоящей из мамы и двух взрослых детей: любовь, раздражение, постоянное решение вопроса с границами, конкуренция между братом и сестрой. Все как и положено.

Но есть еще одна болезненная проблема. Нора была очень хорошей матерью. Нора воспитала своих детей замечательно. И она находится на пороге той ситуации, когда перестанет быть главным образом, *прежде всего* матерью. И уже можно на равных поделить с детьми хлопоты по ведению хозяйства, но тогда надо признать, что в семье Норы все взрослые — и это другие отношения. В каком-то смысле другая семья, которая нужна им гораздо меньше; другие права и обязанности; ничего похожего в жизни еще не было. Немножко страшно, хотя и естественно. Ситуация с определением взаимных ролей и так уже затянулась, дети совсем большие — 20 и 22. Пора менять "контракт", старые рамки уже никого не устраивают, но... Нора может и *остаться* матерью, и продолжать подбирать, подтирать, подскребать, вмешиваться, советовать, руководить. Тогда неизбежно ощущение, что ее используют, — и соответствующая реакция.

Вот какое важное, совершенно не пустяковое, где-то даже грозное по своей важности решение. Кто мы сейчас друг другу? Мы по-прежнему мамочка и

деточки или мы уже кто-то еще? А если мы другие, то как это делается, каковы правила этих отношений? Что мы должны изменить в том, как общаемся? Какие сообщения мы друг другу оставляем, если это так? Мы же понимаем, что разбросанные вещи — это что-то вроде письма маме. И когда мама, скрежеща зубами, усталая, гневная, собирает разбросанные вещи, это тоже сообщение: “В ответ на Ваш запрос...”. И пошло, и поехало... В атмосфере привычной семейной разборки как-то недосуг задуматься о том, что за “письмо” лежало под кучей обуви в прихожей, о чем на самом деле грохотали тарелки в мойке. Может быть, думать об этом настолько тяжело, что безопаснее *просто* сердиться и обижаться.

Мы закончили работу Норы разговором, “письмами” детям. В группе было довольно много взрослых женщин, и не обязательно имеющих детей. Тем не менее письмо получилось совместным — хотя окончательная редакция была, конечно, авторской, Нориной. Это ее жизнь, хотя группа была очень важна в этом исследовании. И вовсе не по признаку совпадения житейского опыта: у меня, мол, тоже дочь чашки за собой не моет. И не в чашках дело, и даже не в возрасте или семейном положении. Надо заметить, что групповая работа отменяет — конечно, на время — все общепринятые “важности”: считается, что наличие или отсутствие детей — это признак признаков, самое-самое, тот специфический опыт, который делает одних женщин похожими друг на друга, а других... тоже похожими друг на друга. Так вот, может быть и иначе. Более того, когда это иначе — насколько легче дышится и тем, и другим! “Детным” и бездетным, замужним и разведенным, “карьерным” и не очень... Если вернуться к теме Нориной работы, то мы ведь помним и себя подростками, мы помним, как наши матушки в пятнадцати- или семнадцатилетнем нашем возрасте писали пальцем “вытри пыль” на запыленной поверхности или демонстративно клали наш не очень свежий лифчик на письменный стол. И тоже хотели нам что-то сказать. И тоже не сказали. Как мы на них злились, как скрежетали зубами, как остро чувствовали, что здесь что-то не то! И как прочно усвоили сам способ непрямого, неоткровенного, через “пустяки” оформленного диалога о самых важных в жизни вещах... Разный опыт участниц, — когда сняты поверхностные, внешние различия и общепринятые деления на “женские касты”, — один из самых сильных ресурсов группы, ее золотой запас. Он помогает пробиться сквозь уровень всем знакомой “бытовухи” к тому, что за ним.

Нет пустяков: за каждым подгоревшим пирогом, за каждым безнадежно испорченным ногтем, за каждым пыльным углом и за многими другими “пустяками” что-то стоит, и это что-то хочет с нами поговорить, но часто у нас не хватает времени или отваги посмотреть на него прямо. Может быть, потому, что оно слишком серьезно, грозит подорвать самые основы нашего мира. Норина работа оказалась “про отношения”, но я могу вспомнить с

десяток работ других женщин, в которых тема пресловутой уборки, "кучи хлама" выводила на совершенно другие проблемы. И тоже важные. Отношения с Хаосом — это вам не реклама чистящего средства "Комет-гель". Смысл собственного существования, внутренний бунт против вечного "должна-должна-должна", особые счеты с темой "грязи"...

По работам, начинавшимся с таких понятных каждой женщине ситуаций, есть что вспомнить: можно было бы составить отдельную антологию с эпиграфом из "Твин Пикс": "Совы не то, чем они кажутся". Может быть, дело здесь в том, что большинство из нас не научены выражать как раз важные чувства. Вместо этого мы научены — нашими же мамами, бабушками — переадресовывать эти чувства какой-нибудь понятной, бытовой, пустяковой теме, событию, предмету. И тогда мы можем вспыхнуть, прицепиться к мелочи и выдать непонятную "свечку", и устыдиться ее. А через какое-то время сказать: "Ну надо же, из-за каких пустяков я переживаю", — и снова забыть, не думать и не обращать внимания, пока что-то очень важное и серьезное в нашей жизни не постучится к нам опять, надев, как волк в "Красной Шапочке", игривый чепчик, какую-то маскировочную, пустячную обертку. Может быть, для того, чтобы мы все-таки остановились, задумались и посмотрели в желтые и страшные глаза волка?

Встречаться с волком безопаснее не в одиночку — я думаю, что Красная Шапочка со мной согласилась бы. Работать с таким материалом легче в группе: естественное смущение от такой "мелочности", "пустячности" предмета, которое мы всегда испытываем, когда нас слишком сильно огорчит облупленный ноготь или куча посуды в мойке, мгновенно тает, когда оказывается, что и у других женщин тоже так. Они готовы бесстрашно отправиться с нами в путешествие, в исследовательскую экспедицию, задача которой велика и серьезна — провести независимое расследование и выяснить, что же все-таки таится за бурной реакцией на пустяк, где же волк? И нельзя ли с этим волком познакомиться, подружиться, приручить?

Когда же мы поддаемся на уговоры своих близких: "Ну что ж ты, глупенькая, из-за такого пустяка расстраиваешься?", "Да что ты, мама, опять об одном и том же, да уберу я, уберу!" — мы позволяем сказать себе: "Да, это пустяк, пустяк, стыдно и мелко из-за этого расстраиваться" — и не слышим того тревожного звона, того сигнала, который подает нам наша собственная сильная реакция. Мы обесцениваем ее и соглашаемся с кем-то. Часто это люди, настолько для нас значимые, что мы не будем разбираться, не будем выяснять, что кроется за нашей реакцией. Мы дружно объявим это пустяком и сойдемся на том, что мама устала и поэтому реагирует так на чепуху, или на том, что она (жена, подруга) ну прямо как девочка, от такой ерунды расстраивается, купим новое. В очень скором времени будет нас ожидать следующая похожая ситуация. Кстати, малень-

кая девочка на нашем месте все-таки спросила бы: “Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие зубки?”

Более того, в нашей готовности объявить поводы своих огорчений пустяками есть готовность неуважительно, пренебрежительно отнестись к собственным же по этому поводу чувствам. А за этим, в свою очередь, стоит довольно грозный призрак обесценивающего, неуважительного отношения к чувствам женщины вообще. Что ее может серьезно беспокоить, чем она может быть серьезно недовольна или, как говорил один хорошо знакомый мне мужчина: “Не так плохо ты живешь, чтобы расстраиваться по таким-то и таким-то поводам”.

Присоединяясь к “конвенции” о том, что наши чувства не заслуживают внимания, повторного обдумывания, анализа, обсуждения, мы тем самым запираем себя в некотором порочном круге — или спирали. Чувства все равно рождаются, они ищут себе повода высказаться, находят его в поверхностной, бытовой жизни или — что, конечно, гораздо печальнее и хуже — в болезни, в ухудшении физического самочувствия, в усталости и равнодушии. Случается, что в какой-то момент мы действительно готовы плюнуть на то, что нас огорчает, нырнуть под глухую пудовую перину, что по-честному называют субдепрессией, и ни на что не реагировать. Когда мы перестаем реагировать на “пустяки”, это обычно означает либо вот такое мрачное и никуда не ведущее решение-анестезию, либо то, что жизнь нас поставила лицом к лицу с такой драматической и грозной проблемой, что наши глубинные, истинные чувства как бы получили законный повод высказаться.

Согласитесь: когда серьезно болеет ребенок или приходит какая-то другая беда, для нас перестает быть важным очень многое из того, что было важно еще вчера. Вся наша энергия устремляется бурным, ничем не сдерживаемым потоком на решение проблемы, на то, чтобы эмоционально выжить и сделать все, что только возможно сделать в этой ситуации. Но неужели нам обязательно ждать таких серьезных поводов? Не слишком ли легко мы соглашаемся с теми, кто — может быть из лучших побуждений, может быть, утешая нас — говорит: “Какие пустяки!” Ведь он говорит не о брошенных поперек стола грязных носках, не о порвавшейся вещи, не о чем-то немом, сломавшемся или потерянном: он объявляет пустяками все то, что для нас стоит за этим сообщением, за этим “письмом”. Всегда ли нужно соглашаться?

Давайте теперь заглянем на светлую, веселенькую сторону той же самой проблемы. Посмотрим на то свойство, приписываемое нам молвой, которое называют легкомыслием, склонностью обращать внимание на поверхностное, на не очень важные вещи, заниматься ерундой, в то время как серьез-

ные проблемы ждут своего разрешения, утешаться ерундой, когда, в сущности, ничего не решено. Посмотрим, что же здесь прячется в тени молвы.

Одна моя клиентка под Новый год (почему-то это всегда случается под праздники) узнала об измене мужа — многолетней, оскорбительной, ставящей ее в одиозную, комическую и обидную роль недалёковидной обманутой жены. Когда она рассказывала мне свою историю, две вещи показались очень важными и очень характерными. Первое — это ее жесткий вывод, связанный с сильной эмоциональной травмой и полемически заостренный, но тем не менее интересный. Чувства самой обманутой жены никого не интересуют — интересуют ее поступки. Окружение, как бы прижав немного уши, ожидает, что она будет скандалить, требовать сатисфакции, развода, выцарапывать глаза змее-разлучнице, звонить знакомым с какими-то гневными разоблачениями. Что же она будет делать? Что она при этом переживает, в тот момент не интересно никому. Народное любопытство, а то и сочувствие (несмотря на моральные запреты), оно все-таки на стороне любящих — тех, кто "во власти страсти". Их отношения — это, по меньшей мере, волнует (в отличие от переживаний той, которая много лет "отработала на этой работе").

Это первое в ее истории, что показалось мне достойным обдумывания. Не знаю, стоит ли соглашаться с таким выводом. Не в том дело: открытие может быть ошибочным или частичным, но если оно переворачивает картину мира, обратить на него внимание все-таки стоит.

Второй вывод явился ей в виде яркого сновидения: словно бы она входит в банкетный зал, где толпа нарядных женщин празднует Новый год. Конфетти, серпантин, шампанское. Почему-то ей ясно, что все эти женщины — те, кому изменили. Ее замечают, приветствуют, дают ей в руки бокал и микрофон. Кто-то говорит: "А теперь расскажи, как ты к нам попала". Главное впечатление от сна — удивление: сколько женщин, и каких великолепных, и почему эти блески, шарики, атмосфера чествования? Была еще одна деталь, в которой сновидица сомневалась: не придумала ли она ее, в самом ли деле приснилось именно так? Деталь такая: в шуме и приветственных восклицаниях смутно помнился женский голос, напевавший с эстрады ахматовское "Я пью за разоренный дом..." — и как ни чудовищно, на мотив "В лесу родилась елочка". Из сновидения, как и из песни, слова не выкинешь. Вспоминается частушка из породы "страданий": "Мене милый изменил — я измененная хожу". Честное слово, это не литературный каламбур — самая настоящая деревенская частушка. И вот Валерия, одна из многих в этом "банкетном зале", ходила измененная. Все мысли, все сны и фантазии самых тяжелых дней, когда свою рассыпавшуюся жизнь — а главное, свое представление о ней и о себе — нужно было как-то собрать и удержать в руках, имели между собой нечто общее, некую "музыкальную тему".

А именно: здесь снова идет речь о чувстве, которое не может быть прямо выражено: незачем, некому. “Ему” уже неважно. Окружению — тоже. Что же она делает? Вот муж отбыл на работу, пряча глаза; пустой дом — все очевидно и наглядно до омерзительности. Вспоминается масса примеров, моментов, когда, казалось бы, все должно было стать ясно, но “защита дурака” работает, ничего до рокового момента ясно не стало.

Что же она делает? Целый день, извозившись по уши, она пересаживает цветы, и из давно лежавших где-то в кладовке приготовленных с осени сухоцветов делает несколько роскошных букетов, которые украсят ее рухнувший дом. Она полностью в это уходит, бормочет что-то себе под нос: горшок маловат и земли бы добавить — что-то обрезает, подстригает, обихаживает свои домашние растения. И в порыве болезненного, как она сама понимает, вдохновения создает три совершенно роскошные композиции из сухих цветов, расставляет их на самые правильные, выигрышные, красивые места, удовлетворенно вздыхает, отмывает руки, замечает землю.

В этот момент она уже готова встретить ребенка из школы, готова заниматься ужином, она не чувствует себя больше раздавленной жабой, человеком, чьи чувства никому не интересны. Старые доктора начала века, наверное, сказали бы: “Правильно, сударыня, нужно отвлекаться, нельзя, знаете ли, сосредоточиваться на своих огорчениях”. Ну, конечно, в этой простенькой точке зрения есть своя правда. Но мне кажется, что здесь есть правда и покрупней. Что такое домашние цветы для тех, кто их любит, для этой женщины в том числе? Это объекты любви и заботы. Это то, что медленно растет. В условиях, которые мы для них создаем, они радуют нас ростом и проявлениями своей тихой растительной тайны. Это кусочек натуральной, естественной жизни, которая — хоть и в баночке, в горшочке — тем не менее остается кусочком природы, чего-то важного и существующего вне суеты и грохота жизни. Они молчаливы, терпеливы, зелены, глаз на них отдыхает. “Она в отсутствие любви и смерти” пересаживает цветы, обихаживает какой-то фикус-кактус. И это ее способствование их жизни и росту, которое в качестве интуитивно схваченной палочки-выручалочки случилось именно в момент боли и отчаяния, — своеобразное символическое возражение случившемуся, *stredo* терпеливой заботы о живом на пепелище своей личной жизни. Оно ее и вытягивало из отчаяния, ибо связано с жизнью более глубокой, чем наши радости и огорчения.

Не могу не сказать еще об одном символическом смысле этого действия — цветы сажают на могилах. Все мы видели женщин, которые в дни религиозных праздников или просто по выходным вдохновенно и без малейших признаков подавленности роются на кладбище со своими совочками, рас-

полагают цветочки как покрасивей, чтобы долго цвели, чтобы им хорошо было. Это тоже некий способ возвысить свою скорбь, если угодно. Придать ей какой-то другой характер. Очень близко к этому погребальному смыслу то, что она сделала в отношении сухих букетов. То, из чего они были сделаны, росло летом, оно было живое, оно должно было украсить ее дом. В своем высушенном, выкрашенном, намертво зафиксированном виде оно исполнило свою задачу — украсило ее дом, как память, как тень того, что в этом доме было раньше, когда-то.

То, что эти два действия в чем-то сходны, а в чем-то контрастны, противоположны, как бы вытянуло из нее тот оттенок униженности, не чистой боли, а стыдной боли, с которой она жила утром. Это некая "скорая помощь" самой себе — из подручных средств, из собственных материалов и умений. Обратите внимание: она занялась не приготовлением еды, которая готовится для кого-то, даже не наведением уюта в доме (а часто женщины затевают грандиозную уборку в такой ситуации); она уцепилась, как утопающий за соломинку, за эту растительную помощь. От живых растений и от мертвых растений, от питомцев и от теней живых растений. В каком-то смысле она внутренне приняла решение похоронить то, что в такой ситуации следует и можно похоронить, — и жить дальше. Не заболеть, не развалиться на части, не расплескивать свою агрессию направо и налево, правому и виноватому, а жить дальше, время от времени бросая взгляд на прочно зафиксированную память об этом дне. Настанет весна, сухие букеты высохнут и будут выброшены, будет какая-то другая жизнь, настанет время свежих веток. Той жизни и той женщины, которая была, уже не будет.

Это история о циклах, об умирании и воскрешении, и каждая из нас, которая пережила сильную эмоциональную травму — измена лишь одна из таких травм, — знает, что рано или поздно мы возрождаемся, воскресаем. Очень часто проводником обратно в жизнь для нас бывают вот эти самые пустяки, когда в совершенно разбитом — убитом — состоянии мы бредем по улице незнамо куда. Нам плохо там, откуда мы идем; может, не будет хорошо и там, куда. И вдруг что-то — книжка, цветок, украшение, камушек, все что угодно — притягивает наше внимание. И как ребенок, который увидел вдруг что-то удивительное, мы останавливаемся, разинув рот, и смотрим: ой, какая тряпочка, какой цвет, что же это такое, а я такое хочу. И может быть, мы иногда заходим в магазин и даже покупаем эту тряпочку. Вот последнее делать стоит далеко не всегда — мы потом можем не любить эту покупку. Просто мы ухватились за ниточку, которая напомнила нам, что у нас все-таки есть желания. То, что в этот момент желания простенькие, не говорит плохо ни о нас, ни о самих желаниях. Утопающему все равно, из чего сделана соломинка. Захотеть жить в такой момент можно с чего угодно — с любой точки, с любой ерунды. Те же старые доктора

писали о тяжело больных — тифом, холерой: признаком грядущего возрождения, выздоровления может быть то, что больному захотелось какой-нибудь еды особенной, какой-нибудь клюквы, какого-нибудь пирожка. Они очень уважительно относились к такого рода симптомам.

И наше вдруг приходящее на помощь легкомыслие заслуживает вовсе не презрения, а низкого поклона за то, что порой оно нас посещало в минуты тяжелые, мучительные, полные страдания. И брало за руку, вытаскивало в какую-то другую реальность, где можно обрадоваться блику на камушке, красивой форме совершенно бесполезной вазочки синего стекла, переливам красок на каком-нибудь шарфике. Ну, и, конечно, книжке или живому растению. Оранжевой утке с белой головкой, кружащей над переулком — так странно, наверное, весна. Само собой, еще и обрывку мелодии из окна. Естественно, вдруг открывшемуся виду из окна вагона метро. Ядреному изобилию фруктового ларька — даже тогда, когда никаких ананасов сама не хочешь. Чужой, но такой потрясающей собаке: как же, как называется эта порода? Вкусу, цвету, звуку жизни.

...Встать пораньше, счастья захотеть,
В Тушино рвануть на барахолку,
Лифчик с кружевами повертеть
И примерить прямо на футболку.

Поглязеть на пестрые шатры,
Заглянуть в кибитки грузовые —
И себе, по случаю жары,
Шляпу прикупить на трудовые.

Чтобы красный цвет и желтый цвет
В синеве печатались контрастно,
Чтоб торговцы, окликаая вслед,
“Женщина!” — выкрикивали страстно.

Чтоб растаял день на языке
И закапал голые колени,
Чтобы смять обертку в кулаке
И в метро сойти — без сожалений.

Марина Бородицкая

Способность порадоваться, восхититься, замереть, захотеть и ожить — великая женская способность, без нее те травмы, обиды, удары, потери, которыми полна жизнь любой женщины, были бы неисцелимы. Поблагодарим же салат и шляпку, — а когда будет не так больно, не забудем еще и подумать...

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

Жечь было наслаждением.

Р. Брэдбери.

451⁰ по Фаренгейту

Утешение "из ничего" — это еще простительно: окружающим так, пожалуй, даже удобнее. Но вот скандал, открытое проявление гнева — это уже криминал. Назвать его истерикой — лучший способ сообщить, что и здесь нет ничего важного и серьезного: ну, завелась, ну, покричала, завтра сама же будет чувствовать себя виноватой. Дикие проявления женской агрессии, домашний бунт, "бессмысленный и беспощадный" — это так некрасиво, так стыдно... что сотни и тысячи женщин об этом только мечтают. И приличные дамы никогда не делают этого в реальности. Возможно, оно и к лучшему: если есть традиционный, одобренный вековой практикой сценарий подавления негативных чувств, значит, нет достойного и не совсем уж убийственного способа их проявлять. Джинн, насидевшийся в кувшине, может натворить дел. Но продолжать его содержать в "местах заключения" тоже небезопасно: кто знает, какой *пустяк* может неожиданно выбить пробку? Одна моя знакомая в трудный период семейной жизни легко, полусуто заметила, что несколько раз ловила себя на попытке "по рассеянности" выбросить в мусоропровод ключи от дома. Другая в приступе яростной хозяйственной активности после неприятного выяснения отношений "по ошибке" добавила отбеливателя куда не надо — и дорогие фирменные мужнины рубашки все стали цвета армейских кальсон. Джинн не дремлет. Выпускать его на волю по-настоящему страшно — кто знает, какую силу он набрал, проверяя на прочность стенки своего узилища? А продолжать его удерживать силой тоже страшно: во-первых, ненадежно, а во-вторых — не по-хозяйски. Его энергией можно было бы распорядиться как-то иначе, а так от нее толку никакого, а язву желудка или какую-нибудь миому запросто можно нажать. Стало быть, джинну следует дать полетать в безопасном месте — пусть уж взметнет песок полигона до небес, покажет свою грозную мощь, расшвыряет столы и стулья.

Должна признаться честно: на женских группах стулья летают нередко. Наш завхоз мне на это неоднократно намекал — в том смысле, что разрушения и урон. Ну что ж, бывало, винтик-другой и вылетит. В соответствии с пунктом нашего группового "контракта" о непричинении физического ущерба мы, конечно, стараемся ничего особенно не поргить и по возможности заменяем предметы обихода на "специальное оборудование". Очень, к примеру, хорош свернутый в трубку ватман — им можно бить-колотить от души, со всей женской силушки, пока не разлетится в клочья. А он

прочный, ватман-то. Иногда и этого не нужно: достаточно возвысить голос, позволить своему гневу зазвучать в полную силу. Боевой клич, лихое уханье, а бывает, что и просто мат.

Фу, какие мы некрасивые, когда злимся, — так нас учили. Учили-то так, а какая-нибудь Марья Петровна, красная и пучеглазая, орала на весь школьный этаж, да еще ножкой стула лупила по столешнице; никого при этом не смущало, что она тоже не больно-то хороша. Ей можно, она учительница — ее власть над тремя десятками детей абсолютна, то есть, по известному определению, “развращает абсолютно”. Право на выражение отрицательных эмоций, таким образом, связано не столько с полом, сколько со статусом: начальник сердится — гневается, подчиненный злится — обижается. Одиозная сварливая жена такова потому, что ей можно. И выглядит она, как и Марья Петровна, кривым зеркалом законной мужской манеры выражать недовольство. Девушка же должна быть доброй и веселой — не с другими женщинами, это как раз ни к чему, а для потенциальных женихов и их родителей. Это — “хороший прогноз” по части будущего послушания и эмоциональной выносливости. Правда, прогноз сплошь и рядом ошибочный, иначе откуда берутся многочисленные сварливые жены в фольклоре? Да и то сказать: что они еще могли, кроме как пилить, зудеть, ворчать, вопить и грохотать сковородками в бессильной злобе? Вот уж невестка появится, тогда и покажет “большуха”, кто здесь главный. И все по новой...

Можно было бы сыграть “ту же пьесу” не в посконно-домотканной стилистике, а на какой-нибудь иной манер или все рассказать в суховатой научной манере — сюжета и героев это не меняет. Агрессивные импульсы есть у любого человека: старого и молодого, мужчины и женщины. Импульсы-то есть, но важнее не они сами, а их последующая “судьба”. Право на прямое выражение гнева — это право сильного и даже традиционная мужская обязанность. Слабые и зависимые должны быть “милыми” — тогда, может быть, их наградят... когда-нибудь, если будет настроение. В их распоряжении, если они не святые, остаются зависть, обман, обиды, интриги, лесть, притворные обмороки, эмоциональный шантаж и прочие недостойные орудия женских “боев без правил”. И, разумеется, месть: “Я мстю и мстя моя страшна”. Когда милая, серьезная дама покупает сорок пузырьков зеленки, сливает в баночку и опрокидывает на голову предполагаемой (!) любовницы мужа — разумеется, яркой блондинке. Когда девушка после ссоры с бойфрендом садится за руль его машины и прямо во дворе бьет одно крыло, потом другое, потом задним ходом сминает в гармошку багажник. “Случай Медеи” рассматривать не будем — уж очень страшно*.

* Кстати, о Медее. Совершенно вне темы мести и агрессии рекомендую роман Кристи Вольф, интерпретирующий известный миф совсем, совсем иначе: очень печальная история и очень приличная проза.

Как-то раз на группе речь зашла о мстительных фантазиях — эти "нехорошие мысли" оказались знакомы всем. Они на свой лад сладостны — "стекло с сахаром" — и удивительно похожи. А вот уйду, тогда-то все запрыгают, тогда-то и пожалеют, что плохо со мной обращались. А вот случится и с тобой то же самое, узнаешь! Озвученные и разыгранные фантазии мести вызывают обычно смешанное чувство: с одной стороны, в этом качестве довольно трудно себе нравиться — "нехорошо". С другой — кайф-то какой! А с третьей — ощущение принятия со стороны группы, которое само по себе может оказаться важнее воображаемой "мсти" и позволяет иначе посмотреть на ситуацию.

Чем страшней и уродливей какая-то наша сторона, тем больше она нуждается в пристальном рассмотрении: в темноте все предстает пугающе огромным, к тому же легко споткнуться и упасть. Прямо в пасть чудовища, а-а-а! Свою агрессивность — в частности, мстительные чувства — нужно знать. А для этого их приходится рассмотреть подробно, хотя иногда очень не хочется. Вот один из монологов героини, рискнувшей работать с очень недобрыми чувствами — конечно, это возможно только при доверии к группе, которой можно показать *такую* себя.

- Ты меня подставил и использовал, вывел из бизнеса, настоял на ребенке. А когда ребенок родился и я уже от тебя полностью зависела, ты дал мне почувствовать, как мало я из себя представляю сама по себе. Каждый раз, когда ты даешь мне деньги, ты устраиваешь из этого представление. Ты, видите ли, забываешь о таком пустяке: оказывается, нам тоже нужно на что-то жить! Ты прекрасно знаешь, дрянь, что мне некуда деться и я рано или поздно попрошу. Все выглядит вполне пристойно, а на самом деле фарс! На день рождения ты передаешь мне дорожущий букет с шофером — это не издевательство? Ты приезжаешь ко мне смотреть телевизор и иногда лениво потрахаться, у тебя все в порядке, тебе просто нужно немножко развлечься и отдохнуть. И я! Тебя! Ненавижу! (*Каждое слово отбивается кулаком по подушке.*)

Я хочу, чтобы ты не просто сдох, а сперва разорился. Чтобы тебя предали все, кому ты доверяешь. Чтобы ты пересчитывал копейки, продавал вещи, чтобы у тебя замолчал телефон. Я хочу увидеть тебя в вонючей районной больнице, в палате на двадцать коек, в застиранной майке, чтобы ты мычал и харкал, чтобы на тебя матом орала санитарки, чтобы ты валялся на засранной клеенке. И может быть, я принесу тебе фруктов и заплачу за новое судно. Если, увидев тебя там, смогу перестать ненавидеть. Если.

(Это еще не конец, продолжение следует. Привожу этот текст, чтобы вы могли представить, до какой степени мы на группе “смываем макияж”.)

В фантазиях о мести обидчик и жертва как бы меняются местами — ну а как же, само слово состоит в прямом родстве с невинными “вместо” и “возместить”. И если не навсегда, то хотя бы на миг “они” — чаще “он” — узнают, каково быть зависимой, испуганной, жалкой. Или пусть даже не узнают, достаточно вообразить. “Сладость мести” действует как обезболивающее, временно снимая нестерпимое чувство бессилия и подменяя его иллюзорным и кратким, но противоположным чувством безграничной власти, всеислия. Что, поняли теперь? То-то! Реальный ущерб — в том числе и себе — не в счет. Удовлетворение самой главной сейчас потребности — в контроле, абсолютной власти — вот что важно. Особенно ярко эта странная нерациональность мстительниц проявляется в тех случаях, когда орудием мести становится причинение ущерба самой себе. Скажете, это удел неуравновешенных людей? А не случалось ли вам распевать в разошедшейся дамской компании “Окрасился месяц багрянцем”: “Нельзя? Почему ж, дорогой мой? А в горькой минувшей судьбе ты помнишь, изменщик коварный, как я доверялась тебе!” — в общем, а утром качались на волнах лишь щепки того челнока. К слову сказать, такое бесшабашное, “отвязанное” пение — своего рода “психодрама мести”, даже с обменом ролями: ведь и за “изменщика”, и за “красотку” поем. Я бы не рискнула утверждать, что тема мщения уж совсем нам чужда. Возможно, большинство из нас просто умеют вовремя остановиться и не нуждаются в буквальном следовании этому р-роковому сюжету.

И разве хоть одной из нас совсем уж незнакомо желание попрекнуть семью или коллег своим бледным, изнуренным видом: смотрите, что вы со мной делаете, до чего вы меня довели! Что ж поделать, пассивная агрессия — тоже агрессия, но обладает к тому же преимуществами: за нее не наказывают, она позволяет остаться “хорошей” и при этом сделать так, чтобы “им” было нехорошо, от нее не остается чувства вины... Что-то такое вспоминается из Пушкина относительно “хитрых низостей рабства”, но это, конечно, о крепостном праве. Которое, конечно же, не имеет к нам ну ни-ка-ко-го отношения.

Вернемся в группу. Героиня, Арина, закончила свой монолог.

— Что ты чувствуешь?

— Мне легче. Но я чувствую, что действительно этого хочу. Пусть я буду плохая, но я действительно хочу увидеть его на этой койке. Я даже не уверена, что мне не захочется его пнуть. Каблуком под ребра! (*Группе.*) Мне очень трудно это говорить, я кажусь себе

чудовищем. Но я так чувствую сейчас, понимаете, девочки? Здесь единственное место, где не нужно это скрывать.

— Ты чувствуешь то, что чувствуешь. Мы с тобой договаривались исследовать твои фантазии о мести и попытаться понять, куда они развиваются. Быть белыми и пушистыми мы не договаривались. Что для тебя важно сейчас?

— Больница.

И мы сделали типичную — “нормальную” — палату со всем присущим этому аду колоритом. Святая Тереза Авильская определяла ад как “место, где дурно пахнет и никто никого не любит” — что ж, это все проходили. Была и горластая санитарка, и все, что там обычно бывает. Арина вошла в палату — разумеется, прекрасная, благоухающая и на каблуках — и увидела то, что мечтала увидеть. Однако не только увидела, но и поменялась с “ним” ролями. И раз, и другой. Была в этой сцене одна тонкость, которую легко не заметить, но которая мне кажется очень важной: роль Горластой Санитарки Арине никак не удавалась, группе пришлось ее учить. Что это означает, мы обсудили чуть позже. А с полупарализованным “злодеем” она как раз поменялась ролями легко — и... ничего не произошло. Торжество не состоялось. В “его” роли ее совершенно не интересовало, кто из прежней жизни стоит в дверях — другое стояло у него в изголовье; как сказано в одном рассказе Петрушевской, “мне открылись перспективы, не скажу какие”. И Арина тихо-тихо положила кулек “злонамеренных” фруктов на ободранную больничную тумбочку. (Понятно, что никаких тумбочек на самом деле не было, как не было и железной больничной койки — просто наш опыт, связанный с больницами, заставлял нас представлять примерно одно и то же. Чем только не бывают многофункциональные психодраматические стулья.)

В тот раз работа закончилась — собственно, таков был и контракт — на размышлениях героини о том, зачем нужны эти мстительные фантазии, какую функцию они выполняют в ее жизни и откуда взялось такое страстное, нетерпимое отношение к собственной роли “босой, беременной и на кухне”: “Я поверила, что он будет обо мне заботиться... видимо, так, как обо мне недостаточно заботились раньше. Я могла не попадать в это положение. Мне хотелось на кого-то положиться, расслабиться. Но полагаться и доверять я, видимо, не умею”. Все указывало на довольно старые корни этой истории про силу, бессилие и унижение: по ходу дела героиня вспомнила, например, что ей всегда было безумно трудно просить что-то у родителей, что мстительные фантазии знакомы тоже с детства и — это очень важно, обмен ролями с Санитаркой потому и не задался! — что проявлять агрессию вовремя и тем более первой вообще очень трудно. Конечно, это

же так некрасиво! А вот если немного побыть обманутой, появляется “уважительная причина”: он сам первый начал! Более того, подчиненные в свое время считали Арину слишком “неконкретной” начальницей: она долго не высказывала им своих претензий, тем временем претензии, конечно, накапливались, а в результате “ком” становился уже запутанным, тяжелым, взаимное невысказанное раздражение росло. Если бы мы работали дальше (то есть если бы героиня была готова к углублению в тему), то, скорее всего, речь пошла бы о колоссальном запасе агрессии по отношению к людям, от которых приходилось зависеть. Первый опыт такого рода у нас почти универсален — это родители или заменяющие их фигуры: “Если вы никогда не знали ненависть собственного ребенка, значит, вы никогда не были матерью”. С отцами все тоже не так уж безоблачно. Разумеется, любой ребенок — и любой родитель — имеет среди своих сложных и разных чувств немного черной краски, а как же без нее? Что должно с нами произойти, чтобы она начала накапливаться и образовывать “пороховые погреба” и “свалки токсических отходов” — вот в чем вопрос.

Строго говоря, запрет на своевременное и конструктивное проявление агрессии, на ее здоровые разновидности — честную борьбу, горячий спор, юмор, азартную спортивную возню, прямое сообщение о своих негативных чувствах — это сплошь и рядом тоже “наследие”, притом далеко не только семейное. В воздухе, земле и воде нашего “места действия” накоплено слишком много страдания одних и беспредельной жестокости других — и мужчин, и женщин. Где-то я читала — за достоверность не поручусь, — что и у нацистов, и в НКВД лучшими специалистами по изощренным пыткам были немногочисленные, но особо одаренные в этом жанре женщины. Конечно, надо бы проверить, откуда и каким образом такой вывод взялся, но любопытно — и в том случае, если это правда, и том, если женоненавистническая “деза”. Не знаю, как с изощренными пытками, а с неконтролируемыми вспышками женской агрессии отработана мрачная модель преступлений на бытовой почве: годы помыкания, часто прямого насилия — и подвернувшийся под руку жертвы топор на пятнадцатом этак году сожительства. Накопление подавленной агрессии действительно опасно: за топор, положим, хватаются единицы, а вот болеют от всего, что не высказано и грызет изнутри, очень многие. Может, болеют, чтобы не схватиться за топор?

Да, но бесконтрольные выплески агрессии направо и налево — это краснотелая Марья Петровна, походить на которую тоже очень не хочется. Страшно стать ею или Горластой Санитаркой. Страшно быть и униженной, раздавленной. В модели отношений, основанной на зависимости и принуждении, вроде бы третьего и не дано. Это “третье” приходится выращивать искусственно, как жемчуг: подглядывать примеры уверенного, даже

резкого, но прямого и великодушного поведения, растить самооценку, не зависящую от сиюминутного каприза партнеров, учиться “вовремя рычать” — обозначать свои границы. И очень часто движение к восстановлению или выращиванию своего достоинства начинается все-таки с “ассенизационных работ” — с прямого выражения подавленной агрессии, гнева.

Некрасиво? Как посмотреть. Бабу-ягу этот вопрос не волновал. Между прочим, он не волновал и Жанну д’Арк. Говорят, когда на Руанском процессе ей в очередной раз зачитали искаженный протокол ее показаний, национальная героиня Франции сказала святым отцам: “Если вы позволите себе еще раз так ошибиться, я надеру вам уши”. Меня не удивляет, что эта девушка *не любила убивать* — даже в бою; жестокость была ей не то чтобы не свойственна, а просто не нужна.

Наша работа — благодаря тому, что происходит она в символическом, игровом пространстве, где настоящие только чувства, — позволяет рассмотреть черное пламя гнева в безопасном “сосуде”. Когда он проявлен, можно подумать и о более благородной форме, и о многом другом. Пока он отрицается, подавляется, направляется на себя саму или проявляется в виде пассивно-агрессивных провокаций, с ним невозможно сделать ничего. Вспоминаю еще одну работу, в которой все началось с довольно простого запроса: “Не могу разговаривать с мужем, подавляет его властность и надменность, постоянная готовность к критике. Открываю рот — и несу какую-то ахинею”, — говорила Елена, элегантная женщина и к тому же доцент кафедры. Мы мучились и бились, пытались разными способами “расколдовать” это косноязычие: и отодвигали Мужа на безопасное расстояние (нет-нет, не думайте ничего такого, этот Муж никогда не дрался, он проявлял свою агрессию исключительно словами или глухим молчанием, “неразговором”), и вспоминали душевное состояние на работе, где героиню считают хорошим лектором... Но никак не получалось “перетащить” его на собственную кухню. Все было без толку, пока один из “внутренних голосов” — тех, кто выдвигают версии и помогают осознать чувства, не сказал из-за спины героини:

- Мои руки сжимаются в кулаки. Что же я хочу тебе сказать на самом деле?*
- Мои руки не просто сжимаются в кулаки, они сжимают оружие: я убить тебя готова, вот что я тебе хочу сказать на самом деле! Огнем мне нужен, а не воспоминания о том, как я хорошо чувствую себя на работе!

* “Внутренний голос” всегда говорит от первого лица — он по своему разумению озвучивает мысль или чувство героини, которая может повторить эти слова, если согласна с ними, — и изменить любым образом, если чувствует и думает по-другому.

И от Мужа остались одни угольки, как от мачехи с дочками в известной вам ситуации из “Василисы”. Заодно героиня спалила свои хорошенькие занавесочки и многое другое на этой кухне. Огнем была, разумеется, тоже она сама: при обмене ролями набрасывалась на высоченного Мужа (в каждой группе найдется крупная женщина на такие роли) и заваливала его на пол, скакала по воображаемой кухне, вскидывая руки: “Тори, прошлая жизнь; гори, страдание”. И в роли убийственного Огня говорила без умолку: “Ты, монумент без пьедестала, давай вались! Хватит изображать тут прыщ на ровном месте — по-человечески тебя в этом доме нету, нету, нету! Пусть и не будет, не будет, не будет! А это тряпье — память о том, как она тебя все порадовать хотела, все гнездышко вила!”. Много чего было сказано Огнем, пламя бушевало, прямо скажем, нешуточное. Елена посмотрела на буйство стихии из своей роли — я предложила ей слегка управлять Огнем, как бы дирижировать: руки выше — и пламя выше, и голос громче, и движения быстрее; и наоборот. Минуты три это происходило, а потом героиня опустила руки совсем — словно бросила оружие, — горько заплакала и сказала Кучке пепла — Мужу таковы слова:

— Володька, куда ты подевался, во что превратился! Ну где же ты, зачем ты стал этим истуканом, мне так тебя не хватает! Ты же меня просто убиваешь каждый вечер на этой самой кухне! Я как мертвая становлюсь, а я жива... Что мы делаем, нельзя же так!

“...Даже в наступавших грозowych сумерках видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие, и жестокость, и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом”*. Она села на пол, баюкая поверженного Мужа; слезы текли рекой, и большая и решительная Ира, исполнительница роли Мужа, сделала то, что профессионал назвал бы “спонтанной терапевтической интервенцией”, а профессионал другого профиля сказал бы, что это сказочный мотив живой воды, животворной силы слез, как в “Финисте — Ясном Соколе”. Ира стала медленно-медленно подниматься, “оживать”: ее лицо было закапано чужими слезами, а в глазах стояли собственные; две женщины сидели в одинаковых позах, положив друг другу головы на плечи, как лошади стоят, и Елена говорила: о тоске, о страхе отвержения, о любви. О том, что проявление любых чувств для нее трудно, о потребности в родной душе, о том, какой на самом деле у нее замечательный муж и как он стал “монументом” не без ее помощи. О том, что она больше не позволит себя замораживать властным взглядом, а будет вспоминать эту сцену и делать что-нибудь неожиданное: пощечочет своего “властелина и повелителя” или запустит в него подушкой, а то и книжкой даст по голове, как в школе. И опять о любви.

*Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Ижевск: Удмуртия, 1987. С. 349.

Все мы понимали, что "зверская расправа" с благоверным — это не только буквальное желание причинить боль или уничтожить реального человека, а еще что-то совсем другое: истребление ложного, бесчувственного "истукана" было истреблением маски, образа, а не живого существа. Более того, Муж смог предстать живым существом только после символической смерти — и не только своей, но и образа немой бессловесной жены, которая "умирала каждый вечер на этой кухне". Между прочим, когда говорят, что чей-то брак нуждается в обновлении, "освежении", как-то не задумываются, куда девать старый. Между тем, изжившие себя отношения именно умирают — и не всегда своей смертью, не всегда безболезненно.

И многое еще мы понимали: например, что работали не с отношениями реальных людей, а с символическим "раскладом фигур" у героини в голове. Конечно, ее агрессия была направлена на вполне реального человека, но... Еленино собственное поведение, ее восприятие этого "реального человека" связано с ее личным опытом и особой формой реагирования на критику, холодность, молчание в ответ на вопросы. Если вы сейчас воскликнете: "Как, опять папа с мамой?" — я отвечу: "Да, опять". Только и они здесь присутствуют в фоне не как реальные люди со своими биографиями, размерами обуви и паспортным возрастом, а как прообразы того типа взаимного "вымораживания", который можно было видеть в начале сцены. Со своим фактическим прошлым мы, конечно, ничего поделать не можем. А вот с теми моделями, которые оно оставило у нас внутри, к счастью, все-таки что-то сделать можно. И эта работа могла повернуть в другое русло — возможно, с выражением агрессии не по адресу мужа, а непосредственно родителям. Но они — в реальности — уже пожилые люди, их всемогущество давно закончилось, и извлечь "огненную" ноту было бы куда трудней, реальность бы мешала. Разве что удалось бы попасть в какую-нибудь детскую сцену, где соотношение власти, обиды, подавленной злости и несоразмерность фигур привели бы нас практически в ту же тему. Фантазия же о всемогущем и недоступном для человеческих чувств Муже — и, разумеется, сознательный запрос героини на работу именно в этом направлении — позволили "разрядить" немалую часть обширных "пороховых погребов". И не надо быть психоаналитиком, чтобы понимать, что существенная часть претензий к спутникам жизни — это переадресованные, перенесенные на другого человека чувства к самым важным людям начала нашей жизни, мамам-папам, бабушкам-дедушкам, сестрам и братьям. И разумеется, мы не отвечаем за само полученное нами наследство. Но за то, как мы этим наследством распоряжаемся и управляем, отвечаем именно мы. "Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности без вашего согласия" — так говаривала незаурядная женщина Элеонора Рузвельт.

Для того чтобы искренне сказать “Да”, иногда нужно сначала рявкнуть, прорычать, выплюнуть “Нет” — или, по крайней мере, иметь такую возможность. В женских группах тема агрессии вылезает из каждого темного угла: постоянно нарушаемые границы, чувства бессилия и страха способствуют образованию “пороховых погребов”. Многие интуитивно ищут возможности разрядить опасные “завалы” мирными и даже творческими способами: одна пляшет фламенко, другая с наслаждением стреляет в арбалетном тире, третья в выходные яростно воюет с пылью и грязью, четвертая занимается боевыми искусствами, пятая вместе с мужем орет на стадионе, болея за любимую команду, шестая орет ничуть не тише, только на рок-концертах. Есть еще споры и книги, есть вызов, который бросает нам всем трудная работа, есть возможность смешно рассказать о неприятных нам людях или ситуациях, есть автомобили и совсем незатейливые дела вроде игры “дартс”.

Разрядить некоторое количество своей “убойной силы” хорошо... но мало. Настает момент, когда с ней нужно познакомиться — осторожно и почти-тельно, не давая при этом себя зажарить, — в точности как с Бабой-ягой. “Ведьма” и “ведать” — слова однокоренные, и не только в русском языке.

ГОРЕ УМУ, ИЛИ НЕВИДИМ У БАБ УМ — И ДИВЕН*

Не верьте ей, что кружева и челка!
Под челкой — лоб. Под кружевами — хвост.
Белла Ахмадулина

Один мой знакомый — между прочим, профессор психологии — любит повторять, что воистину умные женщины — это те, кто успешно скрывает свой ум, дабы он не раздражал окружающих неуместным блеском. Другой, полагая себя человеком без предрассудков, с восхищением отозвался об общей приятельнице: “Такая умная — любого мужика за пояс заткнет!”. Он искренне считает, что выставил наивысший балл. Аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.

Оба эти высказывания принадлежат вполне милым и цивилизованным людям, отнюдь не женоненавистникам. Не сознательным женоненавистникам — пожалуй, так будет точнее. Поговорок типа “Курица не птица, баба не человек”, — они не употребляют: вульгарно. Вот изящную шутку про морскую свинку (“Женщина-ученый — это как морская свинка: и не морская, и не свинка”) — это да, это пожалуй. В сущности, оба господина представляют весьма почтенную традицию — уютно расположились в хорошей компании воспитанных джентльменов разных времен и народов. Хотите послушать? Легко! “Пишущая женщина совершает два преступления: увеличивает количество книг и уменьшает количество женщин”. Еще? “На ученую женщину мы смотрим как на драгоценную шпагу: она тщательно отделана, искусно отполирована, покрыта тонкой гравировкой. Это стенное украшение показывают знатокам, но его не берут с собой ни на войну, ни на охоту, ибо оно так же не годится в дело, как манежная ло-

* Вторая часть заголовка — палиндром, то есть “перевертыш”, фраза, которая одинаково читается и слева направо, и справа налево.

шадь, даже отлично выезженная”. Что, еще? “Думающие женщины — это те, о которых не думают”. Между прочим, очень приличные авторы: Шоу, Юлиан Тувим, Лабрюйер. Который где, не скажу. Представляете, идет телевикторина “Наши умницы”, восемь специально отобранных эрудиток отгадывают авторство вот таких или еще похлеще афоризмов, победительница получает “Британскую энциклопедию” в компьютерной версии. Не самый зловещий вариант телевизионного театра абсурда, между нами говоря.

Все это довольно занятно хотя бы тем, что проливает скудный свет на дремучие мифы, касающиеся так называемого женского ума. Один из них гласит, что наличие интеллекта делает женщину непривлекательной и ведет ко всяческим огорчениям: ее не любят, она остается одинокой и несчастной, а там и характер портится от зависти — в общем, все плохо. Все знают, что это далеко не всегда так, но миф предполагает грандиозные обобщения и игнорирует всякие там причинно-следственные тонкости. Но если вдуматься в эту своеобразную кривую логику, которую принято приписывать именно женским рассуждениям, то получится, что так называемая “умная женщина” как раз тем и неприятна (или неудобна), что будет использовать это свое свойство для вышеупомянутого “затыкания за пояс”. Кого? Да уж наверное не соперниц на телевикторине.

Получается, что в дискуссии о том, хорошо ли женщине быть умной, затронуты щепетильные моменты борьбы за лидерство, конкуренции и власти. А там, где затронуты интересы, трудно ожидать непредвзятых суждений. Заметим, что оба моих знакомых, высказавшихся по данному вопросу, возможность этого самого ума не отрицают, просто один находит его наличие довольно неудобным — как если бы речь шла о каком-нибудь физическом излишестве, которое лучше скрыть, а другой в качестве эталона подразумевает интеллект среднестатистического мужчины. За обоими высказываниями внятно просматривается личная позиция: умная женщина, как нынче говорят, напрягает. Но может быть, это вовсе не ее проблема?

Дамы, чей ум признавался всеми, в истории немногочисленны. Это, разумеется, говорит лишь об условиях, в которых оное качество возможно было проявить. “Несчастенькими” их никак не назовешь. Властные, склонные к авантюрам, порой неразборчивые в средствах и связях, эти женщины даже как-то заставляют забыть о том, были ли они счастливы: политика, творчество или науки для них важнее. Может быть, дело в том, что высокое происхождение плюс чисто мужские ценности и амбиции просто позволили их уму развиваться? Были ли несчастливы Елизавета Английская или княгиня Дашкова, мадам де Сталь или Голда Меир? Да не более, чем их современники — монархи, писатели или политики.

Похоже, что расцвет или увядание женского ума очень зависят от окружающей социальной среды, ее возможностей и предрассудков. Если окружаю-

щие смотрят на интеллектуальное развитие девочки косо и неодобрительно, с готовностью указать ей “ее место” (“Ты бы лучше за походкой последила, чем неизвестно зачем глаза портить!”), девочке оставляют не так уж много возможностей. Недаром многие замечательно умные дамы писали в мемуарах об одиноком детстве: недоглядели, не наставили на путь истинный, то есть — недотюкали. Чтение, размышления и наблюдения той окружающей жизни, какую Бог послал, — вот вам и источник последующей независимости суждений. А отсутствие практики отношений со сверстницами, умения щебетать, легко ссориться-мириться и прочее — залог трудных и часто чересчур серьезных отношений с миром вообще. И эти трудные отношения могут в свой час принести невиданные плоды: зоркий взгляд, чуткое сердце, силу духа.

Много можно было бы привести свидетельств, но, поскольку свободный жанр позволяет мне иметь дело только с любимыми авторами, их и призову. Туве Янссон, создавшая мир муми-троллей, а позже — пронзительную взрослую прозу, пишет в автобиографической повести “Дочь скульптора”:

“Если проплыть на лодке сотню миль по морю и пройти сотню миль по лесу, все равно не найдешь ни одной маленькой девочки. Их там нет, я слышала об этом. Можно ждать тысячу лет, а их все нет и нет. [...]

Я всегда прыгаю правильно, я уверена и сильна, а теперь я приближаюсь, подпрыгивая, к последнему морскому заливу, который мал и красив и при этом — мой собственный. Здесь есть дерево, на которое можно взбираться, дерево с ветвями до самой верхушки. Ветви похожи на лестницу Иакова, а на верхушке сосна сильно раскачивается, потому что теперь дует с юго-запада. Солнце успело взойти до утреннего кофе.

Если даже тысяча маленьких девочек пройдут под этим деревом, ни одна из них не сможет даже заподозрить, что я сижу наверху. Шишки — зеленые и очень твердые. Мои ноги — загорелые. И ветер раздувает мои волосы”.

Это — начало и конец новеллы “Морские заливы”*. Героине лет пять, у нее чудесные родители, они учат ее править лодкой, собирать грибы, “правильно прыгать” и уверенно чувствовать себя в лесу и на море; они к тому же творческие люди и любящие папа и мама. Но маленьких девочек в этом мире нет, и какими же идиотками эти самые маленькие девочки могут показаться ребенку, способному встать до света и отправиться на одинокую прогулку на “свой залив”!

* Янссон Т. Дочь скульптора. — СПб: Амфора, 2001.

Путь нелегкий, достаточно известный и давший миру не одну незаурядную женщину. Обратите внимание, кроме уединения и надежных, прочных отношений в семье здесь есть возможность и желание самостоятельно исследовать мир, физическая свобода и удовольствие от движения. Есть — правда-правда, подумайте об этом минуту, и Вы придете к тем же выводам — любопытные экспериментальные исследования все на ту же тему гендерных различий, как они формируются непосредственным окружением ребенка. Так вот, по всему выходит, что маленьким девочкам предоставляется меньше свободы в самостоятельном исследовании окружающего мира — имеется в виду тот возраст, когда самостоятельное исследование — это выкидывание вещей из стенового шкафа, тщательные пробы “на зуб” всего, до чего удастся дотянуться, и выливание на себя стакана киселя, предназначенного для сбалансированного питания. Похоже, что девочек слишком рано (и вполне неосознанно) обучают не рисковать, не пачкаться, не стучаться лбом о ножки стульев. В историях, разыгранных на женских группах, столь ранний опыт встречается редко, но более поздние фрагменты родительских невольных “сообщений” — сплошь и рядом.

Я могу вспомнить десятки занозой застрявших в памяти женщин скандалов из-за помятого платица, потерянного банта или попытки рисовать не тем и не там — и практически ни одного сюжета, в котором мама похвалила бы дочку за то, что та самостоятельно догадалась, как открывается замок. Пусть это был бы замок пудреницы — какая разница, все равно такая самостоятельность у девочек, похоже, не приветствуется. Зато когда возникают затруднения, взрослые приходят девочкам на помощь быстрее и чаще: ну как же тут узнаешь, на что ты способна?

Так что не удивительно, что другая история тоже связана с одинокими прогулками, только эта история — не о маленькой девочке, а о женщине-философе, женщине-писателе. Симона де Бовуар рассказывает о чрезвычайно трудном периоде своей жизни, когда “счастливая любовь”, в которой сплелось интеллектуальное партнерство и длящийся уже около года роман с Сартром, начала как бы растворять ее личность. Восхищение идеями партнера — это хорошо, но почему собственных идей стало приходиться в голову все меньше? Ей всего двадцать с небольшим, у нее, как говорится, “все хорошо”: Париж, любовь, профессиональная перспектива. Откуда же это ощущение, что она теряет какую-то существенную часть себя, становится пассивной и внутренне несамостоятельной? Она принимает серьезное решение: на год уехать из Парижа, преподавать в Марселе, побыть одной. И существенной частью ее паломничества к себе становятся большие пешие прогулки — настоящие походы по восемь-десять часов, в старом платье, веревочных сандалиях.

Все это происходит в те времена, когда молодая женщина, гуляющая по горам в одиночестве, кажется еще более странной, чем сейчас. Она попадает

в непредсказуемые и порой рискованные ситуации, связанные с людьми, животными и стихиями. Она рискует подвернуть ногу или быть укушенной змеей — и ни души вокруг. Она учится отвечать за себя сама, рассчитывать свои силы и полагаться исключительно на них:

“В одиночестве я бродила в туманах, лежавших на перевале Сен-Виктуар, и шла по краю Пилон де Руа, рассекая всем телом сильный встречный ветер, — он срывал с головы берет, который, крутясь, улетал вниз, в долину. И я была одна, когда заблудилась в отрогах Люберон. И все эти моменты, полные тепла, жизни и ярости, принадлежат только мне и никому более”.

Она вернулась в Париж другим человеком — та, которую мы знаем как обладательницу пытливого и независимого ума, спустилась с этих гор в веревочных сандалиях: “Я знала, что теперь я могу во всем полагаться на себя самую”^{*}.

Почти невозможно понять, что в интеллектуальных способностях мальчиков и девочек действительно врожденное, природное, а что связано с социальными ожиданиями и различиями в воспитании. Родители относятся к мальчикам и девочкам по-разному, они их даже в младенчестве по-разному держат на руках. Более того, они по-разному ведут себя при детях разного пола. В классической работе “Психология половых различий” исследователи Стэнфордского университета проанализировали наиболее распространенные предрассудки, не подтверждающиеся экспериментально. Итак, заведомой неправдой является следующее:

- девочки более общительны и более внушаемы, чем мальчики;
- у девочек более низкая самооценка;
- девочки лучше обучаемы в отношении монотонных, исполнительских операций, а мальчики более “аналитичны”;
- на девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков — среда;
- у девочек лучше развито слуховое, а у мальчиков — зрительное восприятие;
- у девочек меньше выражена мотивация достижения, желание преуспеть.

Четыре достаточно распространенных утверждения более или менее выдерживают жесткое непредвзятое рассмотрение в свете научных данных. Ничего сногшибательного в них нет, это всем известные мнения, которые порой кажутся настолько само собой разумеющимися, что их даже экспертизе подвергать незачем. Но в том-то и дело — и, кстати, одна из серьез-

^{*}De Beauvoir, Simone. *The Prime of Life*. New York, Harper and Row, 1976.

ных заслуг авторов исследования, — что в представлениях о гендерных различиях экспертизе следует подвергать буквально все. Что они и сделали. И так, более или менее верно следующее:

- у девочек лучше выражены речевые и языковые способности;
- у мальчиков лучше выражены математические способности;
- у мальчиков лучше выражена способность к зрительно-пространственной ориентации;
- мальчики более агрессивны — и словесно, и физически*.

Данные эти получены не вчера. И почему же они не перевернули житейских представлений о мальчиках и девочках, будущих тетеньках и дяденьках?

При всем уважении к научной традиции, все это более чем условно, потому что очень трудно (если вообще возможно) отделить собственно способности, “данные” — от их судьбы в мире. Мир же встречает мальчика и девочку разными ожиданиями, причем с самого начала, с первого крика новорожденного. А ожидания — это не просто мысли, они материализуются во вполне конкретных действиях тех людей, которые круглосуточно формируют маленького ребенка. И, разумеется, они во многом сформированы “мифом пола”, который тем самым превращается в реально действующую силу, непосредственно участвующую в воспитании и обучении. До тех пор, пока он “носится в воздухе”, мы им дышим — и те, кто растят мальчиков и девочек, и случайный прохожий на улице с каким-нибудь дурацким замечанием, и школьная медсестра или как там у них в Стэнфорде эта должность называется. То, что объявлено неправдой “по науке”, может прекрасно “жить и побеждать” еще десятилетиями, путая и сбивая результаты более поздних исследований. А жизнь подсказывает, что гендерные стереотипы ох как живучи, и никакой фундаментальный труд им не указ.

Например, в достаточно недавнем исследовании более двух тысяч американских детей в возрасте от семи до пятнадцати лет спрашивали: “Если бы ты встал(а) утром и обнаружил(а), что твой пол изменился на противоположный, что изменилось бы в твоей жизни?”. И вот — после нескольких десятилетий женского движения, феминистской публицистики и прочего — ответы (как мальчиков, так и девочек) поражают убийственным, прерзительным отношением к женским способностям: “Если бы я стал девочкой, мне пришлось бы стать глупым и слабым”. “Если бы я стала мальчиком, я бы считала и решала задачи лучше, чем сейчас”. “Я могла бы когда-нибудь стать Президентом”. “Если бы я стала мальчиком, может быть, папа стал бы меня любить”. Вот так-то.

* Maccoby E., Jacklin C. The Psychology of Sex Differences. — Stanford University Press, 1974.

И это — значительно более горькая правда, чем “объективная” истина экспериментальных исследований. Самое же поразительное вот что: первые свои представления о том, хорошо или плохо быть девочкой, что можно и нужно знать и уметь, а что — “лишнее” и не понадобится в жизни, мы усваиваем от тех, кто больше возится с нами в детстве, чьи голоса и прикосновения первыми встречают нас в мире. И в девяти случаях из десяти это женщины. Мужские голоса и образы присоединяются к “хору” позже. Они невероятно важны, но... скажите, кто проверял ваши домашние задания в младших классах? Кто заглядывал через плечо, пока вы, высунув от напряжения язык, сражались с четырьмя арифметическими действиями? И на что эти “кто-то” обращали больше внимания — на аккуратное, “красивенькое” ведение тетради или на то, что пример можно решить еще несколькими способами? На то, как обернуты учебники, — или на ваши вопросы, на “сто тысяч почему”? Например, Вера Кирилловна, любимая детьми и уважаемая в школе учительница младших классов, прямо говорит, что ей больше нравится учить мальчишек. Почему? “Без родительской поддержки все мои труды ничего не стоят. Матери девочек больше хотят, чтобы все было благополучно, чтобы ребенок старался. И все. К третьему классу девочки уже какие-то нелюбопытные, лишний раз мозги не нагружают. С этим не поспоришь, это среда”. И глубокоуважаемая Вера Кирилловна — тоже часть этой среды, заметим мы не без печали...

У каждого сына когда-то имелась мать,
 Чьим любимым сыном он был.
 И у каждой женщины имелась мать,
 Чьим любимым сыном она не была.

Джудит Вюрст

Что разовьется, а что завянет без поддержки, какие способности доживут, трансформируясь, до признания миром, а какие съедатся и превратятся в комнатных, декоративных “уродцев”, в очень большой степени зависит от ролевых ожиданий этого самого мира. И в первую очередь — от самых важных для маленькой девочки людей — мамы с папой (если есть), бабушки с дедушкой (опять же, если есть), воспитательницы в детском саду, учительницы в начальной школе. При этом мама (мамины подруги и другие значимые “тети”) часто говорят одно, а демонстрируют совсем, совсем другое. Например, говорят “учиться важно, ты должна получить хорошее образование, тогда у тебя будет хорошая работа”, — а сами приходят со своей “хорошей работы” еле живые, между собой клянут ее на чем свет и вообще изображают рабыню Изауру на плантациях. Из общих знакомых “хорошо устроившимися” называют обычно не тех, кто живет интересной и осмысленной жизнью и развивает свой потенциал, а совсем других — тех, кому не надо рано вставать. А “умной бабой” обычно — ту, которая преус-

пела в тайных семейных манипуляциях, в “мужеводстве”. И что прикажете из всего этого понимать девочке?

Мужская же часть семьи тоже бывает поразительно “логична” в своих программных высказываниях: дочке зачем-то следует стараться, “думать головой” — но при этом оценки, раздаваемые направо и налево способностям и уму других женщин, ясно говорят другое. Отец, гордый академическими успехами дочери, может обронить: “Ну, с головой-то у нас все в порядке, в меня пошла”. Это — комплимент, а уж что говорить о критике! Много ли вы знаете пап и дедушек, всерьез обсуждающих с “девчонками” устройство компаса, простые ремонтные работы, автомобильные дела, не говоря уж о политике, финансах или философии? Единицы. Исключения. Их дочерям и внучкам повезло. Я знаю одного папу, который заглянул в школьный учебник истории для пятого класса, пришел в ужас и завел дома обыкновение два вечера в неделю рассказывать своей Лельке мировую историю “для больших”, сложно и по-умному. Ему нравится так проводить свое свободное время и быть отцом. Неизвестно, что будет с Лелькиными мозгами дальше, но шанс у них есть.

СУДЬБА ОТЛИЧНИЦЫ

Блестит в руках иголочка,
Стоит в окне зима...
Стареющая Золушка
Шьет туфельку сама.

Давид Самойлов

“Инструкции”, получаемые девочками относительно интеллектуальных достижений, часто противоречивы: с одной стороны, надо учиться хорошо — с другой стороны, тебе это все равно не поможет, это не главное, это понарошку. Имея такой спутанный, противоречивый набор “предписаний”, девочка оказывается в ситуации внутреннего конфликта: за что ее хвалят, что может вызвать недовольство? Часто бывает, что интересы и амбиции поддерживаются в “папиной дочке”, пока она ребенок и подросток, а неизбежное превращение в молодую женщину ситуацию резко меняет: ее достижения перестают интересовать отца, могут вызывать иронические комментарии, как будто ее взросление явилось тем разочарованием, простить которое отец не в силах. Как сказал мне на консультации один такой папа о своей способной девятнадцатилетней дочке: “Училась-училась, а все равно баба выросла”.

Воспитание в традиционной женской роли с малых лет готовит к тому, что девочке следует соответствовать ожиданиям, “ладить”. И если в окружающей среде принято считать, что женщины не способны к абстрактному мышлению, вождению автомобиля, руководству людьми или зарабатыванию денег, то хорошо приспособленные к жизни в этой среде девочки действительно будут демонстрировать отсутствие таких способностей. “Быть хорошо приспособленной” к окружению означает “подтверждать его взгляд на мир”, “не высовываться”: тогда будет тебе и одобрение, и покровительство, и кукла Барби. Некоторая беспомощность, неумение принимать решения, склонность к зависимости содержат в себе “вторичную выгоду” — что-то вроде индульгенции, позволяющей не взрослеть, не развивать в полную меру свои способности. А поскольку ум нуждается в пище и упражнении, хорошие интеллектуальные данные законсервировать нельзя: они останавливаются в росте, растрачиваются на кроссворды, интриги, да мало ли на что...

Одна из возможностей, избранная миллионами женщин как меньшее зло, — утратить веру в себя, принять миф женской неполноценности и даже украсить его всяческими “бантиками”. Вот маленький фрагмент одной тяжелой, “кровавой” работы, сделанной как-то в субботу в высшей степени благополучной дамой Никой. И запрос-то у нее был такой очаровательно-пустяковый. О, эта покровительственная окраска, эта способность покрываться пятнышками-полосочками “под цвет обоев”: раз ничего особенного, серьезного я из себя не представляю, то и не происходит со мной ничего такого, о чем следовало бы задумываться. “Я вообще сюда пришла отвлечься, послушать, больше из любопытства. С чем работать? Ой, ну я не знаю, у меня никаких проблем нет. Ну вот разве что английский. Четвертый год занимаюсь с разными преподавателями, и на курсах, и частным образом — и все никак не заговорю. Муж считает, что я лингвистическая дебилка. Я только во сне вижу, как разговариваю”.

Вот с этого мы и начали. Решили заглянуть в сон и попробовать выяснить, что он означает. Условными средствами — пара стульев вместо двери, наш “многофункциональный” коврик в роли великолепной итальянской кровати — обозначили пространство дома. Заодно вспомнилось, что сны с иностранными языками почему-то появляются, когда мужа вечером нет дома, — а это бывает довольно часто. Итак, вечер, и Ника собирается укладываться — перед тем, как увидеть сон.

— Давайте, Ника, пройдемся по Вашему дому — где-то свет надо выключить, где-то вещи сложить — и услышим Ваши ленивые, сонные мысли перед тем, как лечь.

- У меня мыслей никаких давно не бывает. Так, бормотание.
- Ну и побормочите.

— Так, в кухне чисто, ужин на столе. Мой муж меня называет “профессором здорового питания”: я все время стараюсь его кормить легкой, полезной едой. Мужчины — они же как дети: скажешь купить зеленые яблоки, купит красные. Все приходится делать самой. Но он, конечно, создал мне все условия, я могу заниматься абсолютно чем угодно. Любые покупки, поездки, все. Так приятно чувствовать себя настоящей женщиной, о которой есть кому позаботиться. А то я бы сейчас даже работать не смогла — все так переменялось, я уже ничего не понимаю. Он мне говорит, что я персидская кошечка (хихикает) — они уютные такие, но глуповатые. Вот сейчас надену пижамку — и баиньки.

(Ника укладывается на импровизированное ложе, принимает позу, в которой обычно спит, и начинает вспоминать свой сон.)

- Я вижу себя со стороны и одета не так, как сейчас. Она моложе, она говорит на каком-то иностранном языке и будто что-то объяснить хочет. Я не хочу ее слушать и не понимаю этого языка, но слушаю. Она говорит что-то неприятное, не хочу вдумываться, не хочу понимать!

Сон продолжается в действии, его главное действующее лицо оказывается Никой-студенткой, которая действительно учила немецкий, и не без успехов, хотя иностранный язык и не был основной специальностью. В реальности героиня не работает уже двенадцать лет, “посвятила себя семье и дому”. Вялые попытки занять себя то изучением английского, то курсами аранжировки цветов заканчивались одинаково: “ничего не получалось” или возникал сильный страх — “я просто не могу туда идти”. Молодая Ника из сновидения по этому поводу говорит вот что (разумеется, словами Ники-большой, при обмене ролями):

- Ты подавала надежды, у тебя неплохо шли даже сложные предметы. Где это все? Во что ты превратилась?
- Я просто забыла все то, что мне в жизни не понадобилось!
- Ты врешь. Я — это ты, мне-то хоть не ври. Ты испугалась. Ты позволила себя задолбать сначала матери, а потом мужу. Они тебе внушали, что ты ни на что не способна, что ты без них шагу ступить не можешь, квитанцию за свет заполнить или выучить, в каком порядке замки дверные открываются. Что на работе тебя ис-

пользуют, и зачем тебе это надо, лучше уж они сами будут тебя использовать. Ты поверила, потому что так было удобнее. Потому что ты боишься любых экзаменов, любых оценок. Если что-то не получается — значит, ты полная идиотка, "а что тебе говорили". Послушай, разве можно чему-то учиться и чтобы сразу все получалось? Я-то была! Ты меня убиваешь каждый день, но я все равно была! Мне так нравилось знать, уметь, разбираться... Ты променяла меня на возможность ни за что не отвечать, оставаться глупенькой девочкой, о которой позаботятся другие.

Не будем сейчас следовать за всеми сложными поворотами этой работы: она продолжалась больше двух часов и включала в себя множество "боковых" тем, не менее важных и болезненных. А вот на что хотелось бы обратить внимание прямо сейчас: "Молодая Ника" совершенно внятно и открыто формулирует идею "вторичной выгоды" ленивого, зависимого существования. И это означает, что пленочка защитной лжи самой себе — "я просто забыла все, что мне не понадобилось" — достаточно тонка и местами трещит, не укрывает с головой. Внутренний конфликт близок к осознанию, иначе бы роль Молодой Ники не зазвучала вообще или осталась "говорящей на непонятном языке". На то, чтобы игнорировать, вытеснить образ себя самой, отличающийся от "персидской кошечки", уходит немало сил — не с этим ли связана прозвучавшая немного раньше жалоба героини на периоды апатии, когда она чувствует себя слабой и ко всему равнодушной, "хоть с кровати не вставай"? Другое ключевое слово — "страх": страх оценки, неуспеха, любого риска.

Честно говоря — хоть и не хотелось бы "каркать", — сразу приходит в голову вот какой сценарий. Очень сильная, прямо-таки непреодолимая потребность в безопасности любой ценой (для меня она выглядит прямым указанием на травму или дефицит безопасности в детстве) заставляет искать "гарантированного", спокойного существования. Понятно, что его в природе не бывает, но выбор сделан и должен оправдываться. Мать героини, советуемая с мужем по каждому поводу — вплоть до того, обувать ли ей зимние сапоги, — это отчетливая ролевая модель: можно "устроить свою жизнь" так, чтобы уже ничего самой не решать. Что-то, однако, беспокоит: была другая Ника, у нее были свои потребности и полностью забыть ее не удастся. "Выпустить" ее наружу нельзя по многим причинам — окружающим следует подыгрывать в роли "персидской кошечки, уютной и глуповатой", потому что иначе можно лишиться покровительственного отношения ("делай-что-хочешь-но-мурлыкай"); для себя самой память о нереализованных способностях звучит укором, а нынешний образ жизни перестает удовлетворять. Следовательно, самообман будет культивироваться,

и во все возрастающих дозах. Почему невинные курсы “стайлинга и макияжа” вызывают такой страх? Ника на самом деле очень способная, у нее каждый раз “ничего не получается” именно потому, что каждый раз начинает получаться! И это — опасный момент, когда можно узнать или вспомнить о себе слишком много, чего никак нельзя допустить. Муж готов — или пока готов — оплачивать любые “придури”, поскольку через некоторое время “опять ничего не получится” и Ника останется все той же трогательно-беспомощной дурочкой, лингвистической дебилкой, но профессором здорового питания. В общем-то достаточно традиционный “танец” в традиционном раскладе “Добытчик и Куколка”.

И не стоило бы влезать в эту устойчивую взаимовыгодную систему, где обо всем уже “договорено” (хоть и не словами), если бы не два обстоятельства. Первое — то, что Ника вызвалась работать, уже зная, что в нашей работе мы сплошь и рядом обнаруживаем неразорвавшиеся мины, а риск о себе “что-нибудь узнать” весьма велик. Второе — сам сон и то, с какой легкостью он начал разворачиваться. Забегу вперед, в финал работы. Все два часа сон оставался в стороне, мы занимались другими вещами, и вот под самый конец Ника захотела еще раз встретиться с Молодой Никой из своего сновидения и задать ей вопрос: “Зачем ты приходила, почему сейчас?”. Ответ прозвучал жестко и без паузы: “Я скоро тебе понадобится. Ты уже чувствуешь, что в твоей жизни нет той надежности, ради которой ты стала овцой в пинетках. Открой глаза, пора”. — “Я поняла. Спасибо. Я поняла”. Без тени кокетства, “жантильничанья”, никаких мурмур-баиньки: взрослая женщина услышала серьезное предупреждение и серьезно его приняла. Вы, конечно, догадались. Я тоже. Главное, что догадалась Ника. И последующее развитие событий — а Ника появлялась на группах время от времени в течение еще двух лет — показало, что своим умом она жить очень даже способна. Она считает, что мы успели — почти в последний момент — ухватиться за руку “ресурсной роли”, в противном случае ожидавшие Нику новости наверняка загнали бы ее в слезливо-беспомощное состояние, а то и в болезни. Не знаю, как было бы, но верю, что для обращения к своему внутреннему миру причины обычно бывают, и вполне веские.

Предписание “хорошо учиться и слушаться” сплошь и рядом оказывается ловушкой — так и хочется по ассоциации со старым детективом Жапризо пошутить: “ловушкой для Золушки”. Эта чудесная сказка, как и многие другие, настойчиво обещает чью-то заботу, любовь и безопасность, которые никакая Злая Мачеха не отнимет, ибо они — заслуженные, выстраданные, по справедливости полученные. Но инструкции Злой Мачехи вьелись глубже, чем кажется, и вероятность того, что Прекрасный Принц окажется немножко Синей Бородой, велика. Что касается ума и способностей —

если родители чего-то недобили, "зачистку" успешно завершает брак. Девушки с повышенной потребностью в безопасности и "сильном плече" с поразительной настойчивостью ищут и находят мужчин, рядом с которыми думать не нужно, неприлично, а то и просто опасно. Ника, между прочим, в свое время очаровалась именно тем, что ее избранник был таким взрослым, таким надежным по сравнению с окружающими мальчишками. Никому из них и в голову бы не пришло называть ее "кошенькой", "котеночком" — как, возможно, и "дебилкой"...

Читательница, простите мне сомнительное толкование мотивов Принца, на гладких щеках которого еле проступает подозрительная синева... Он молод, еще не вошел во вкус; еще и кровь не видна на ключике, а Золушка пока более всего опасается быть узнанной на балу и пропустить роковую полночь. То есть оказаться не вполне хорошей девочкой. Я сама очень люблю эту сказочку во всех ее пересказах — от жутковатого гриммовского до куртуазного шварцевского. Как сказочку — люблю, но вот как жизненный сценарий...

В начале восьмидесятых — то есть тоже уже не вчера — миллионы женщин англоязычного читающего мира содрогнулись перед ужасающе жесткой, честной и потому неприятной "историей болезни", изложенной в книге Колетт Даулинг "Комплекс Золушки"* . Подзаголовок говорит сам за себя: "Тайный страх независимости". Психологическая потребность в избегании независимости, как считает автор, — это одна из ключевых проблем женского существования в современном мире. Желание самореализации, самостоятельности, свободного развития своих способностей пришло в глубокое противоречие с желанием безопасности, безответственности, с вечным ожиданием "принца на белом коне", который возьмет на себя все тяготы отношений с опасным и непредсказуемым внешним миром. И если сорок лет назад неприлично было вести себя слишком независимо, то в постфеминистском мире столь же неприлично заявлять о своей приверженности передничку Золушки и готовности жить "замужем, как за каменной стеной". И в той жизни, и в этой половина правды игнорируется, и именно эта половина причиняет душевную боль и порождает многие симптомы, на которые жалуются женщины на приеме у психотерапевта (страхи, депрессию, немотивированные поступки). Скрытая потребность в зависимости лежит в глубине проблем и у старомодной американской жены, которой приходится просить у мужа денег на колготки, и у суперсовременной бизнес-леди, чей годовой доход обозначается шестизначным числом, но которая не может заснуть без снотворного, если любовник уехал в командировку. Внешняя успешность и решительность, компетентность и "дорогие мозги" не отменяют старой как мир установки на подчинение, слу-

* The Cinderella Complex. Women's Hidden Fear of Independence. Summit Books, 1981.

жение и ожидание защиты и гарантий взамен. Это, конечно, “американская трагедия”, и можно сделать вид, что нам с вами до таких проблем — как до Марса (или до лампочки). Но мы этого вида делать не будем — хотя бы потому, что чужой опыт всегда чему-нибудь да научит. Впрочем, такой ли он чужой?

Вот вам еще одна “история отличницы”. Костюм из твида сидел на ней как влитой, а представить ее себе в фартучке было категорически невозможно. И тем не менее... Слушайте:

— Моя жизнь всегда проходила под знаком Дела, Которому Ты Служишь. Всегда везло с начальниками, коллегами, работой. Выкладывалась так, как многие женщины выкладываются в семье: самозабвенно, без выходных и праздников. Могу сказать, что это было неплохо: я даже жалела тех дурочек, у которых нет в жизни серьезных интересов, которые полностью растворились в мужьях и детях. Шли годы, темп нарастал. Одно время у меня были две дорожные сумки: вернулась из деловой поездки — схватила заранее приготовленную вторую, не разбирая первой, рванула в другой аэропорт. Дом — сами понимаете какой. Ни один мужчина такого бы не потерпел, конечно. Ребенка теоретически могла завести, но не бросать же очередной интересный проект? Тянула-тянула, да так и не случилось. Из-за поездок нельзя было даже собаку. Из цветов — кактусы, их поливать не надо. А в один прекрасный день — р-раз! Организация моя развалилась, начальники между собой смертельно переругались, Наше Дело оказалось им не дороже своих интересов. А у меня-то где свое? Меня хвалили, а я и рада была, дурища тщеславная, и носилась с утроенной скоростью. Хвалили, сами понимаете, за ум и компетентность, а где он был, ум-то? Я же как японец какой-нибудь — просто перестала себя мыслить отдельно от компании. Бесконечно доказывала, что могу, могу, могу — и что? А теперь мне говорят, отводя глаза: “Кадрия Рустамовна, мы очень конкретно думаем о Вашем трудоустройстве, не надо так переживать”.

— Кадрия, здесь много молодых женщин в самом начале карьеры. Вы сейчас на перепутье, как тот богатырь у камня. Давайте на этот камень присядем на минутку и оставим записку для тех, кто будет мимо проезжать — глядишь, и пригодится.

— А я бы прямо на камне выбила!

— А надо?

— Да нет, пожалуй, это все моя привычка к работе “на века”. Ну, пишу. Дорогие мои молодые способные девочки! Когда выпрыги-

ваешь из шкуры, чтобы кому-то доказать, что ты можешь, это кончается плохо. Без шкуры холодно, а доказывать придется бесконечно. Когда окружающие создают тебе репутацию умной женщины, прекрасного специалиста, который справится со всеми проблемами лучше всех, они могут преследовать свои цели, и не надо принимать это близко к сердцу. Более неблагодарной семьи, чем работа, не бывает. Ожидать, что за верную и преданную службу тебя прикроют от всех ветров, так же наивно, как ожидать этого в браке. В котле с кипящей водой нет холодного места, говорили древние китаецы. Мне сейчас горько и страшно, хотя я знаю себе цену и постараюсь устроить свою жизнь как можно лучше. Девчонки, гарантий нет. Берегите себя, не теряйте себя, не надейтесь на "проценты". Удачи! Ваша Кадрия.

— Постскриптум будет?

— Будет. Работать можно сколько угодно, но если перестаешь помнить дни рождения друзей и замечать времена года, что-то ты делаешь не так.

Как мудро заметила Кадрия, "в кипящем котле нет холодного места" — ни одно решение не бесспорно, ни одно не обещает безболезненного преодоления проблемы конфликта потребностей, о котором пишет Колетт Даулинг. Что же мы все делаем? Делаем свой выбор, ибо выбор-то есть всегда. Вот и другой путь — вооруженная борьба за самореализацию, и на нем выживают лишь те, кого природа щедро наделила не только умом, но и стойкостью, железным характером и умением пренебречь оценками окружающих. Казалось бы, прекрасный прогноз по части развития своего потенциала. Вырастает умная, жесткая, властная женщина — та самая, "затыкающая за пояс". Пленных не берет. Ее побаиваются, ей завидуют, ее уважают. Спасая свое естественное право развиваться, она воевала слишком много и постоянно конкурировала не на равных, а это характер и отношения сотрудничества с кем бы то ни было не улучшает. "Не баба, а конь с яйцами" — это еще относительно мягкое высказывание о ней. Когда она спотыкается, окружающие тихо злорадствуют, причем мужчины и женщины испытывают это нехорошее чувство по разным причинам, но в равной степени. Когда падает — считают это закономерным итогом. Она поднимается, делая вид, что ничего не случилось, и можно явственно услышать стук костяной ноги...

По одной из версий феминистской литературы Баба-яга — это демонизированный символ женской, матриархальной власти; под пятой угнетателей-мужчин образам допатриархального прошлого придаются страшные и отчасти отталкивающие черты: "На печи, на девятом кирпичи лежит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, сопли через порог, титьки на крюку

замотаны, сама зубы точит!” Про Бабу-ягу хочется писать и думать очень осторожно, почти нежно, а научили меня этому не столько феминистские источники (есть среди них очень любопытные, тонкие и умные*), сколько внимательное чтение сказок и их разыгрывание в женских группах. И знаете, что-то в этой мысли про “демонизированный символ” есть, право: и в писанных, и в самостоятельно сочиненных сказках к Бабе-яге в темный лес идут — зачем? За помощью, решением, а даже если идут спасать братца от превращения в жаркое, по пути происходит нечто важное, получается некий позитивный опыт (“Гуси-лебеди”).

Встреча с ней — испытание. Грубая и ворчливая, страшная и непредсказуемая, она “вытаскивает” из героев, как ни странно, самое лучшее: сообразительность, отвагу, уверенность в себе. В группах к этой некрасивой старухе обращаются все больше за силой, искренностью, правом называть вещи своими именами, разрешением выразить гнев, с просьбой о защите от несправедливости. И видели бы вы, как весело и с каким удовольствием симпатичные и молодые женщины ее играют — что называется, отрываются за всю “игру по чужим правилам”, когда о самом болезненном, оскорбительном или страшном следует говорить с милой улыбкой.

Интересно, что встреча с психодраматической Бабой-ягой — и в роли “гости”, хотя бы той же Василисы Премудрой, и (при обмене ролями) самой бабушки — оставляет в качестве последствия вовсе не “костяную ногу”, а совсем противоположное. Что называется, морщинки разглаживаются и румянец расцветает, молодости и женственности отнюдь не убывает. Оно и понятно: мы же не жить к ней в избушку на курьих ножках перебираемся, не “на стажировку” напрашиваемся. Встреча с источником природной силы, магии важна для того, чтобы впредь — уже выбравшись из темного леса — чувствовать себя более защищенной, чтобы узнать и больше не забывать о себе что-то важное. Помните, Василисе Баба-яга дала череп с горящими глазницами: его пронзительный свет сначала освещал ей дорогу из леса, а потом своими лучами спалил обидчиков. Василиса же череп зарыла в землю — испытание темным лесом закончилось, в жизни героини начинается новый цикл. Свое помело, разумеется, Баба-яга девушке не предлагала.

Выполнить трудные задания старухи Василисе помогала волшебная кукла и материнское благословение — и Баба-яга ее буквально выгоняет: “Не нужно мне благословенных!”. Но — загадочным образом — выгоняет, защитив и наградив. У этого сюжета множество толкований, вдаваться в тонкости которых я не буду, скажу только, что материнское благословение, благополучно пройденное у яги испытание и возвращение из темного леса

* Анна Наталия Малаховская. Апология Бабы-Яги. Преображение // Русский феминистский журнал. 1994. № 2.

с источником света, который для кого-то может быть и опасен, — это связанные, неразделимые звенья. Между прочим, случалось ли вам оказаться “некстати” правдивой или — еще более “некстати” — пронизательной? И не говорили ли вам, к примеру, что вы “злая”, а с вами “страшно”?

Но наша “железная леди” явно получила свою силу не от Бабы-яги. И не нога у нее, похоже, костяная, а полный комплект защитных доспехов. А разговоров про то, какова она — не нога, а леди, — эта дама вообще вести не будет. Пожмет плечами, развернется и двинется своей дорогой. Возможно, перед этим вмазав промеж глаз, чтобы кое-кто не умничал. Высказывания ее безапелляционны, часто содержат жесткую критику в адрес “идиотов”, которые что-то сделали то ли недостаточно быстро, то ли не так. Легко и без извинений перебивает собеседника. Увидев решение, пренебрегает оттенками и тонкостями: результат должен быть достигнут немедленно, иначе можно не успеть. При внимательном рассмотрении в ее высказываниях и поведении легко увидеть черты того стиля, который принято называть “мужским”, но это скорее карикатура, отражение стереотипа мужественности (агрессивность, конкурентность, невнимание к чувствам и отношениям, стремление контролировать). Так ли уж она умна? Похоже, ее интеллекту недостает гибкости, рефлексии, самоиронии — всего того, что превращает общение с умным человеком, будь то мужчина или женщина, в истинное удовольствие (даже тогда, когда мы с ним не согласны).

Здесь есть одна языковая тонкость, без которой “железную воительницу” трудно понять. В мифологизированном представлении о различиях в способе мышления и манере выражения мысли у мужчин и женщин мужской стиль мышления и речи рассматривается как нормальный, а женский — как отклонение от нормы.

Еще раз, поскольку это важно. Представление о том, что “хорошо” и “правильно” в сфере мысли и в способе ее выражения — это представление, скроенное “по мужской мерке”. (Возможно, так было не везде и не всегда, но за европейскую культуру последних ...дцати веков можно поручиться. С другой стороны, Афина Паллада не допускает слишком уж сильных утверждений на сей счет...) К слову вспоминается высказывание Пушкина, уловившего некую очаровательную особенность этой самой “мужской мерки”:

“Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей”.

Трудно даже представить себе, как много в этой истории про “норму” связано не с содержанием, то есть не с мыслью как таковой, а с формой ее предъявления миру. Чтобы быть квалифицированной как умная, мысль должна быть и скроена, и сшита у хорошего мужского портного. Именно

поэтому умной чаще называют женщину с мужским набором черт — и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, многим женщинам тяжело участвовать в так называемых “умных” разговорах вовсе не потому, что они не понимают их предмета: на их взгляд, настоящей пружиной взаимодействия часто бывает вовсе не поиск истины, а неявная силовая борьба между собеседниками. В компании могут недолюбливать “умных” девушек — именно за то, что они усвоили мужскую соревновательную манеру разговора, тем самым производя впечатление задиристых и недоброжелательных. Женщинам же больше свойственно искать и находить общее во взглядах и высказываниях собеседника, больше слушать и подкреплять своим поведением желание другого человека высказаться: говорите, я с вами. А это сплошь и рядом квалифицируется как пассивность, зависимость и отсутствие своего мнения. Похоже, что наша резкая и решительная дама оказалась в плену у одного из кривых зеркал гендерных стереотипов, только выбрала в качестве образца не “глупую жертву”, а “умного агрессора”. Это ли независимость, самостоятельность мышления?

“...Хорошо известно как из непосредственных наблюдений в естественных условиях, так и из эмпирических исследований, что в ситуациях переживания страха или плохого обращения люди пытаются овладеть своим страхом и страданием, перенимая качества мучителей. “Я не беспомощная жертва; я сам наношу удары и я могущественен”, — людей неосознанно влечет к подобной защите”*.

Этот механизм психологической защиты так и называется — “идентификация с агрессором”. Надо сказать, что в женских группах “железная воительница” появляется очень редко — она не любит женщин и не представляет себе, “что эти курицы могут такого интересного сказать”. Ей мучительно трудно обращаться за какой бы то ни было поддержкой или помощью — может быть, как раз потому, что “разоруженное” состояние прочно связано в памяти со страхом и страданием. Да, она вроде бы разрешила тот самый внутренний конфликт, “комплекса Золушки” как будто бы не видно — уж скорее просматриваются Мачехины черты. Но как жмут доспехи, которые и снять-то не отваживаешься! Как велика цена и как драматичен сделанный выбор — возможно, потому, что он сделан слишком рано и неосознанно.

“Маленькие дети вбирают в себя всевозможные позиции, аффекты и формы поведения значимых в их жизни людей. Процесс этот столь тонкий, что кажется таинственным. Однако если его замечаешь, ошибиться невозможно. Задолго до того, как ребенок становится способным принимать субъективное волевое реше-

* Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. — М.: НФ “Класс”, 1998.

ние быть таким, как мама или папа, он уже "проглотил" их в некоем примитивном смысле"*.

Задумывались ли вы, что стало бы с маленькой Золушкой, если бы Феи-крестной вообще не было, а папа-лесничий в один прекрасный день с горя запил и показал бы "всем этим бабам кузькину мать"? Впору было бы не хрустальный башмачок примерять, а бронезилет. И подаваться в разбойницы, начальницы или бизнес-леди. А возможно, в радикальные феминистки...

Что поделаться, все мы "родом из детства". Другое дело, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах начала жизни никогда не поздно их хотя бы попытаться понять, "перебрать" свое семейное наследие, принять новые решения, отказаться от той части своего "сценария", которая когда-то была "проглочена" и связана с проблемами предыдущего поколения, а то и с более далеким прошлым семьи. Иногда эта работа делается вместе с психотерапевтом, иногда — в одиноких размышлениях, самостоятельно. К счастью, мы обладаем огромным потенциалом самоисцеления: жизнь не только наносит, но и залечивает раны, нужно только ей помочь.

Более того, как трудное детство не обязательно предполагает несчастливую судьбу, так и благоприятный расклад в начале еще не гарантирует расцвета всех способностей и успеха в будущем. Хотя, конечно, лучше детству быть счастливым, родителям — любящими друг друга, детей и свою работу, временам — мирными, обществу — терпимым и свободным... Лучше. Но получается так не всегда. Конечно, для становления личности и мышления девочки важно и ее согласие с собственным полом — то есть нужна мама, которой нравится быть женщиной и матерью, — и разрешение не следовать традиционным ограничениям, "отцовское благословение" — то есть поддержка со стороны отца ее любопытства, смелости, физической свободы как нормальных и желательных для маленькой девочки.

У Туве Янссон в той же "Дочери скульптора" есть новелла о том, как во время невиданного, небывалого снегопада она и мама оказываются отрезанными от мира в пустом доме: мама, книжный иллюстратор, работает, девочке понемногу становится все тревожней:

"Утром снег валил так же, как вчера. Мама включилась в работу и радовалась. Ей не надо было топить печь и готовить еду и о ком-то беспокоиться. Я ничего не говорила. Я пошла в ту самую комнату, что была дальше всех, и стала караулить снег. Я ощущала большую ответственность, и мне следовало выяснить, что он делает. [...] Она не понимала, как серьезно все обстоит на самом деле. Когда я рассказала ей, что случилось в действительности, она серьезно задумалась. "Ты права, — через некоторое время

* Мак-Вильямс Н. Психодинамическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. — М.: НФ "Класс", 1998.

произнесла мама, — вот мы и погрузились в зимнюю спячку в берлоге. Никому теперь сюда не войти, и никому отсюда не выйти!” Я пристально посмотрела на нее и поняла, что мы спасены. Наконец-то мы в абсолютной надежности и сохранности, наконец-то защищены. [...] Меня охватило чувство невероятного облегчения, и я закричала маме: “Я люблю тебя!” Я хватала все подушки по очереди и бросала их в маму, я смеялась и кричала, а мама кидала их обратно. В конце концов мы обе лежали уже на ковре и только смеялись”*.

Мама-художница не встревожена снегопадом, но — обратите внимание! — несмотря на свое рабочее настроение, внимательно выслушивает дочку и схватывает главное: девочке кажется, что происходит нечто грозное, опасное. “Спячка в берлоге” — это образ защищенности, отсюда и восторг облегчения. (Тревожная, неуверенная мать повела бы себя не так: она бы бесконечно выглядывала в окно, озабоченно хмурясь, бесконечно выпрашивала дочь, не страшно ли той и нормально ли она себя чувствует, прислушивалась бы к каждому шороху, а в ответ на высказанные опасения девочки наверняка бы ответила ей, что о них уже тревожатся другие люди и скоро-скоро их спасут.) Неудивительно, что дочь этой мамы может встать до света и отправиться на многочасовую прогулку, о которой речь шла раньше: ни темнота, ни отсутствие людей, ни силы природы не воспринимаются как исключительно враждебные; “быть вместе” не означает “цепляться друг за друга”, а любовь и взаимопонимание надежны.

А вот относительно того, как справляться с проблемами, как решать технические задачи, “работает” папина ролевая модель, его отношение к делу:

“Я вспоминаю, как мы с папой шли по лесу со штормовым фонарем в руках, чтобы забрать домой корзины с грибами. Днем вся наша семья собирала грибы. [...] Ночью бывает иначе. Мы с папой несем домой те корзины, которые не смогли унести днем. Тогда должно быть темно. Нам не нужно экономить керосин, мы просто швыряемся деньгами. И папа всегда находит дорогу. Иногда дует ветер и деревья скрипят друг на друга, издавая ужащающие звуки. Папа находит дорогу. Корзины с грибами стоят там, где их оставили, и он говорит: “Черт побери! Смотри, там они и стоят!” Самые красивые грибы лежат сверху. Папа подбирает их по цвету и форме, потому что грибы — это его букеты. Такие же букеты он составляет из рыбы”**.

Много ли проку от маленькой девочки, когда нужно таскать корзины? Так ли уж необходимо вести ребенка ночью в лес? Но в том-то и дело, что для

* Янссон Т. Дочь скульптора. — СПб: Амфора, 2001.

** Там же.

этого папы дочь — не игрушка, а младший партнер, ситуация вполне рабочая, лишь чуть-чуть игровая, но при этом надежная: "папа всегда находит дорогу". В обоих отрывках есть еще одно важное "сообщение", которое выходит за рамки семейных отношений: с трудностями и опасностями мира можно справиться — терпением, умением, знанием. Более того, в суровой прозе жизни можно находить — или создавать — красоту.

Немногим из нас столь важные уроки были даны самыми главными людьми нашего детства. К счастью, кроме родителей — как бы они ни были хороши или плохи — на пути своего взросления мы встречаем множество других людей. Некоторые из них способны научить нас тому, чему самые близкие не могли — чаще всего потому, что сами не умели. Многим из нас повезло вовремя найти "среду обитания", в которой ум и самостоятельность не считались чем-то вредным и неестественным для женщины. И разговаривая с теми, кто состоялся — по-человечески, по-женски, по самому строгому профессиональному счету, — не устаешь удивляться, сколько из них в свой час были буквально спасены каким-нибудь кружком юных натуралистов, школьным литературным семинаром, не уставшей от жизни учительницей, "умными разговорами" компании старшего брата, уроками верховой езды... Никогда не известно заранее, какими путями приходят к нам люди, встречи с которыми по-настоящему освобождают нас, дают "разрешение на взлет". Но очень важно помнить их с благодарностью и знать, что и на более поздних поворотах дороги они существуют, настоящие учителя. Те, которые уважают способности учениц и при этом сами не стремятся самоутвердиться за их счет — потому что в этом виде самоутверждения не нуждаются.

Один мой старинный знакомый, как раз принадлежащий к редкой породе таких учителей, обронил однажды в разговоре: "По-настоящему умная женщина не бывает обычно ни безумно счастлива, ни отчаянно несчастна, разве что моментами. Как и всякий умный человек, она стремится осознавать, понимать то, что происходит — с нею самой, с другими. В печали это утешает, а в радости убавляет радужных красок. Ей, возможно, тяжелее в молодости, но в зрелые годы все складывается, и складывается прекрасно, да... Часто совершенно неожиданным для всех образом". И на мой осторожный вопрос: "А много ли Вы знаете таких женщин?" — удивленное: "Голубчик мой, да их куда больше, чем принято считать, на них же мир держится!"

И я почти не могу припомнить женской группы, где не прозвучало бы слов любви и признательности по адресу вот этих, как сказал бы психоаналитик, "отцовских фигур". Дед, научивший не очень-то интересную собственному папе девочку обращаться со словарями, играть в шахматы, плавать. Учитель биологии, предложивший вроде бы не блиставшей способностями девочке провести небольшой эксперимент и самостоятельно проанализировать его результаты. Отец, рано ушедший из семьи, но приходивший к дочери — под неодобрительное ворчание матери и отчима насчет "заби-

вания ребенку головы всякой чушью” — с теми книгами, которые были интересны ему самому. Инструктор по вождению, терпеливо превращающий ученицу из нервной “дамочки за рулем” в уверенного и умелого водителя. Руководитель спецкурса, услышавший в бесхитростных вопросах студентки способность к оригинальному видению предмета и — вместо иронии с позиции превосходства — подробно и уважительно отвечающий на эти вопросы. Научный руководитель. Духовник. Коллега. Издатель. И снова — дедушка, давно умерший дядя, отец... Их основное “сообщение” иногда совсем просто — и необходимо, как хлеб и вода: “Ты можешь”. В подтексте: пробуй, рискуй, увеличивай нагрузки, я готов порадоваться твоим успехам, мне интересно твое мнение, у тебя есть будущее, ищи свое и учись тому, чему могу научить я... Ты можешь.

Когда получается и когда не получается, когда спутники следующих периодов жизни говорят и делают противоположное, когда от необходимости слишком многое делать хорошо впадаешь в отчаяние, когда разонравится то, что казалось достижением вчера или еще сегодня утром, когда пропадает в тартарары труд и надежда нескольких лет жизни, когда велико искушение больше ничему не учиться и смиренно жить на “проценты”, — эти голоса все равно звучат в нас. Даже если — и особенно в этом случае — нам не было дано таких встреч в реальности. Тогда мы выращиваем, “расколдовываем” свое “ты можешь” из себя самих, из книг, из опыта других участников группы. И продолжаем путь со штормовым фонарем. Потому что даже если у нас не было отца, который “всегда находит дорогу”, жизненно важно знать, что у кого-то он был.

ТЕНЕВАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ “ЖЕНЩИНЫ НОЧИ”

Господи, дай списать,
якоже я давала
всем, даже нахалу
Камоше!.. “Десятова, пять!” —
скажет Марьпетра, журнал
захлопывая со злобой,
прекрасно зная (еще бы!),
кто у кого списал.

Вера Павлова

А вот и еще один распространенный выбор: одолжить свой интеллект, стать “серой кардинальшей” брата, мужа, друга. Мне известно несколько подлинных историй сестер, годами делавших уроки за братьев, потому что

так было удобнее всем. И немало вокруг умнейших жен-советчиц, "боевых подруг", остающихся в тени и годами "делающих уроки" за дорогих им людей. В чем-то лестно. Дает немалые возможности знать, понимать, разбираться — и не надо ни с кем бороться, ничего никому доказывать. "Вторичная выгода" такого "нелегального положения" совершенно очевидна: можно не получать оценок во внешнем мире — то есть не быть отвергнутой. Можно наслаждаться тайной зависимостью от тебя того, за кого "делаешь уроки" — и при этом оставаться хорошей, помощницей, в чем-то немного чеховской "душечкой". Можно время от времени ненавязчиво намекать понимающим наблюдателям, что, мол, и от тебя кое-что зависит. А уж что точно можно — это под настроение чувствовать и считать себя несправедливо обиженной, недооцененной, тихонечко "вести счет". Но заслужить одобрение и благодарность все равно не удастся. И более того, неприятные проблемы в отношениях гарантированы.

Как-то раз в пестрой куче любовных романчиков попалась мне на лотке книжка, явно изданная в серии "Купидон" по ошибке. Называлась она "Женщина ночи" — вероятно, на названии "Купидон" и прокололся. Как попалась, так и канула: ни имени автора, ни года издания, ничего. По правде сказать, и в "Купидоне"-то я не уверена — может, это была "Страсть". А то и вовсе "Соблазн". Один черт, к этой книжке они все отношения не имели. Рассказываю сюжет — как могу, по памяти. Некая дама, мать довольно больших уже детей и жена совершенно сумасшедшего мужа — не в романтическом, а в клиническом смысле слова — пишет под его именем романы. Для заработка и просто потому, что у нее это хорошо получается. Пишет, разумеется, ночью — днем надо заниматься детьми, навещать мужа в очередной психушке и все такое прочее. Романы начинают пользоваться успехом, а сумасшествие мужа тем временем прогрессирует, он уже, как пишут в историях болезни, "неопрятен мочой и калом", полностью дезориентирован и практически не покидает клинику. А вскоре и совсем умирает.

У героини сложные чувства: это был когда-то близкий человек со своими надеждами и амбициями, все ли она сделала, что могла, чтобы помочь? С другой стороны — больше не надо скрывать его болезнь, жить в постоянном страхе обострения, видеть все увыстряющий распад. Облегчение, что уж там...

А потом возникают трудности: одна-две вещи еще как-то могли завалиться в столе писателя и быть поэтому изданы женой, но что дальше? Героиня в полной растерянности: писать-то она может, но все остальное — все, что между письменным столом и практическим результатом этого труда, — для нее полнейшая загадка. Ее начинает дергать издатель, чующий здесь кое-какие возможности и готовый придумать ей новую "легенду", за ней хвос-

том ходят литературоведы, пишущие о ее “гениальном муже” и желающие поживиться воспоминаниями его скромной подруги жизни — за одного из них она даже ненадолго выходит сдуру замуж. Вранья становится не меньше, а больше. Если раньше она работала в полной изоляции, ни на что не надеясь для себя, то теперь испытывает колоссальное искушение признаться. Да что признаться — заорать: я, все это писала я, все ваши комплименты и критика — это мне!

Она “зависает” между острым желанием так и поступить и сильнейшим страхом. Вокруг нее полно людей, для которых эта правда губительна. В общем, за миллиметр от серьезных неприятностей она все-таки делает на какой-то литературной конференции соответствующее сообщение. Кажется, и на конференции-то она оказывается просто как жена своего мужа-исследователя, своего рода его “вещдок”. Ну вот, признание становится литературной сенсацией, героиня уже совершенно не понимает, кто она такая, и от нервного срыва ее спасает только то, что ее взрослые дети говорят ей: “Да ладно, мам, мы давно все знали: ты — это ты”. Она уезжает в длительное путешествие. Все. Хэппи-энд ли это? Соберет ли она себя по кусочкам? А самое главное — сможет ли дальше писать и как?

На мой взгляд, этот незатейливый сюжет интересен не сам по себе — сюжеты, безусловно, бывают и более увлекательные, — а как метафора того компромиссного пути, о котором речь. Если вынести за скобки некоторые чрезмерно яркие детали вроде душевной болезни мужа или коммерческого успеха “его” романов, картинка получается вполне знакомая: все та же “теневая состоятельность”, которую так высоко оценил мой знакомый профессор психологии.

Не он один, впрочем. Его похвала “успешно скрывающим свой ум” женщинам — тоже не самостоятельный сюжет, а часть социальных ожиданий. Базальная, возможно, но весьма действенная. Колетт Даулинг, например, пишет о том, что у женщин потребность в привязанности и одобрении со стороны окружающих выражена сильнее, чем у мужчин. Не ново, но смотрите, что получается в контексте нашей темы: эта потребность плюс рано возникающие у девочек сомнения в собственной компетентности дают в результате скрытую уверенность в том, что для выживания необходимо спрятаться, пригнуться, “погасить свет”. Вот как это бывает в Америке:

“Мы, которых преподаватели так хвалили за серьезность, исполнительность и ответственный подход, продолжаем полагаться на эти добродетели. И обнаруживаем, что в профессиональном мире с нами обращаются как с детьми. Милыми и ответственными, возможно. Но — детьми. Нас не обязательно принимать всерьез. Мы сами готовы слегка обесценить любое свое достижение и не при-

нимать его всерьез. Мы сами не используем свои возможности — не “разгоняемся”, ползем на второй передаче, даже не узнав возможностей двигателя... Большинство женщин занимает положение, не соответствующее их способностям и подготовке, в силу внутренних ограничений”^{*}.

О том, как это бывает у нас, мы знаем немало. Вот две истории на эту тему. Возможно, они прольют некоторый свет на механизмы компромиссного пути “реализации потихоньку”.

Наталья — элегантная, обаятельная, шумная. В своем деле прекрасно разбирается, не раз получала лестные предложения возглавить проект, реализовать свои идеи — и как-то всякий раз то ли долго думала, то ли вполне серьезно заболела, то ли никак не могла принять предложение “по семейным обстоятельствам”. Она по-прежнему работает “вторым лицом” в своем отделе, немало делая и за “первое лицо”: “Как же я могу допустить, чтобы документация ушла в том виде, в котором он ее подготовил? Это просто несерьезно, может пострадать дело. Ну, я беру и тихонечко перерабатываю, довожу до ума. Главное, чтобы он не заметил, что я в бумагах как следует похозяйничала, чтобы поправки выглядели незначительными”.

— Наталья, Вас эта ситуация по-прежнему устраивает?

— Что-то мне в последнее время стало беспокожно. Понимаете, когда я заметила, что сама торможу свое продвижение, я задумалась: может, мне и правда не надо этого, тогда все нормально. Но что-то здесь другое, какой-то самообман. И потом, с моим ненаглядным раздолбаем Толечкой все тоже не так безоблачно. Похоже, он начинает раздражаться, даже ненавидеть вот эту свою зависимость от меня. *(Пауза.)* Вообще-то это все в моей жизни уже было, вы не поверите, совсем в детстве! Я же за брата уроки делала всю среднюю школу...

— У кого и как возникла эта идея?

— Это мама, конечно: “Туся, помоги, ты что, не видишь, что Толик не успевает?”

— Ну, давайте выберем из группы Маму и услышим об этом побольше. *(Наталья выбирает исполнительницу роли Мамы, меняется с ней ролями и говорит “Тусе”.)*

— Туся, помоги Толику. Ты же сестра, ты уже свои уроки сделала, книжку читаешь, а он не успевает. У него опять будут неприят-

^{*} Colette Dowling. The Cinderella Complex. Women’s Hidden Fear of Independence. Fontana Paperbacks, 1987.

ности. Нам с отцом на родительском собрании краснеть, в прошлый раз я просто сгорала со стыда. Ты должна понимать, что я не могу им заниматься, я работаю, устаю. Ты, здоровенная умная девица, могла бы войти в положение матери и взять это на себя! Тебе что, нас с отцом ни капельки не жаль? *(Обмен ролями.)*

— Мама, но я не могу ему объяснять, он меня не слушает!

— Да ради бога, не надо ему ничего объяснять! Не строй из себя учительницу — ты девчонка, ты для него не авторитет. Просто сделай так, чтобы все было в порядке.

В сущности, уже все сказано и комментарии почти излишни: искушение “просто делать так, чтобы все было в порядке” сопровождает Наталью всю ее взрослую жизнь. Первый брак ее едва не прикончил, во втором она оказалась более зрелой, они с мужем по-взрослому делят ответственность и “зоны влияния”, это настоящее партнерство — не безоблачное, но здоровое. А Натальины отношения с “уроками” так и остались непроработанными, но такого рода “токсические отходы” могут десятилетиями лежать и тихо отравлять всякую деятельность, где есть за кого “взять на себя”. Особенно если этого кого-то тоже зовут Толик.

В этой истории есть еще одна важная деталь: в какой-то момент по чисто житейскому поводу отношения с братом испортились. При этом Наталья по прошествии многих лет готова к примирению, — а брат не отвечает даже на поздравительные открытки. И можно с уверенностью сказать, что если “раздолбай Толик” пойдет на решительные меры, то избавится от нашей Натальи “с концами” и спасибо не скажет. Скорее всего, возьмет на ее место другую “женщину ночи”, чье скрытое влияние на конечный результат еще не стало притчей во языцах. Вопрос здесь не в учрежденческих интригах — где их нет. Вопрос в том, что заставляет взрослую талантливую женщину искать ложной безопасности в тени очередного “раздолбая”, чьи долги она таким способом раздает.

Кроме очевидной попытки компромисса и избегания авторства, — а оно означает ответственность, — в голову приходит несколько вольная интерпретация: Наталья в своем “успешном” поиске инфантильных, несамостоятельных мужчин ищет возможности “сыграть мамочку” — такую, какую себе представляет по своему семейному сценарию. В ее реальной семье мама отчетливо дала ей понять: за то, чтобы “все было в порядке” для внешнего мира, отвечает женщина. При этом можно врать, из лучших побуждений делать мужчину еще более беспомощным, чем он есть, заниматься его делами в ущерб своим, но ни в коем случае не претендовать на авторитет. Бросаться “на выручку” следует по собственному разумению, как только покажется, что “он не успевает”. Такой и только такой рисунок по-

ведения свидетельствует о преданности семье. Эта модель подкрепляется пусть скупой, но похвалой: дочка все понимает правильно, умница. Что можно противопоставить этой схеме в одиннадцать лет? И удивительно ли, что в первый раз Наталья вышла замуж за пьющего, плохо приспособленного к требованиям реальности и при этом "милого, обаятельного" мужчину, годами изображала для знакомых семейное благополучие? При разводе она удостоилась реплики свекрови: "Не выдержала ответственности, предала — настоящие женщины так не поступают".

Грань, за которой помощь превращается во что-то совсем другое, тонка. Всегда ли мы, например, действительно помогаем детям с уроками, а не делаем за них их работу? А как насчет подчиненных, если они у нас есть? И если нам случается — а это бывает довольно часто — стать для кого-то "тайной помощницей", то что же мы чувствуем на самом деле, когда слышим от важных для нас людей: "Без тебя он этого не добился бы"? Не скромную ли гордость? Если нам действительно "ничего не надо для себя", то откуда это чувство? Не на благодарность ли рассчитываем? Ну, не на лавры — лавры должны достаться ему, — но, возможно, на несколько листочков? Их можно высушить и нюхать себе в утешение, когда вместо ожидаемого признания мы получим что-то совсем другое. А можно бросить в суп, который мы варим в третьем часу ночи, отредактировав чью-то рукопись, написав с ребенком словарный диктант и составив план на завтра...

Вот еще одна коротенькая история о том же. Речь шла об обидах, которые помнятся долго — так долго, что логично предположить за ними нечто большее. Скажу по секрету: когда событие или просто чьи-то слова вызывают явно чрезмерную, слишком сильную или длительную для них реакцию, обычно это означает: зри в корень, "собака" зарыта не в этой ситуации — и, скорее всего, не с этим человеком. Так вот, что касается обид и тайной помощи...

- Мы с ним работали в клинике в одном отделении и уже были вместе год или больше. Он уехал на недельку отдохнуть — как-то договорился. А тут комиссия, проверка... И я две ночи подряд задним числом записывала его истории болезни — он всегда с бумажками был не в ладу, запускал эти дела до безобразия. Причем записывала, вы представляете, его почерком! Все обошлось, я ожидала хоть какого-то "спасибо" или что он хотя бы скажет, что теперь постарается вести дневники аккуратнее... Вы знаете, что я получила?!
- Света, давайте это услышим в точности, как было сказано — его словами. Поменяйтесь с ним ролями.

- Мать, ты меня извини, конечно, но ты поставила меня в неловкое положение. Ежу понятно, что писал не я. Ты что, нарочно изобразила меня полным идиотом? Который не только черкнуть пару строк не в состоянии, а еще и за юбку своей бабы прячется? (*Обмен ролями.*)
- Света, что вы чувствуете, слыша это сейчас? Какой ответ рождается внутри?
- Юра, мне по-прежнему больно это слышать. Может быть, в этом есть какая-то правда — потому и больно. Да, я с юности стремилась спастись. Да, я ждала похвалы своей надежности, своей готовности подставить плечо, не считаясь со временем и собственными интересами. Да, мне хотелось доказать, до какой степени мы с тобой одно. У меня в семье было так — главным моим достоинством считалось, что я могу все уладить, все взять на себя. Сейчас ты часто говоришь, что я недостаточно живу твоими интересами. Но видишь ли, я давно научилась крепко думать, прежде чем вторгаться в твоё пространство. И сегодня я бы не смогла ни строчки написать твоим почерком. К счастью, нам это и не нужно — у тебя свой почерк, у меня свой. Эту давнюю обиду я отпускаю — и отпускаю с благодарностью: если бы ты меня за мой героизм хвалил, я бы так и осталась дочерью своих беспомощных родителей. И еще: я очень трепетно относилась тогда ко всяким “надо”, а ты на них плевал. Я была в третьем классе, а ты в седьмом. А сейчас мы оба взрослые и знаем, когда и что надо, а когда нет.

У “женщин ночи” действительно часто бывает развито преувеличенное, обостренное ощущение необходимости “соблюдать лицо”, следовать норме. Им неловко. Им небезразлично, “что люди скажут”. Они стыдятся — не за себя, за кого-то. Довольно часто за этим стоит история дочери родителей (прежде всего матери), которые не справлялись со своими ролями и еле-еле справлялись с жизнью вообще. Из-за житейских ли трудностей, собственного ли семейного сценария, но кто-то в семье словно дает этим девочкам инструкцию: прикроешь мою неуспешность в родительской роли — будешь хорошей дочерью; внешний мир обманом вместе, мы же единое целое, мы же семья, правда? Боже мой, разве можно отказать самым важным в мире людям, чье одобрение для любого ребенка — хлеб и вода, свет и воздух? Они стараются. Они гордятся тем, что помогли семье. И очень легко оказываются в ловушке: “единожды солгав...”. При этом сама по себе некоторая нечестность многолетнего “делания уроков” за других беспокоит гораздо меньше, чем чувства вины и стыда, если не удастся прикрыть собой очередную амбразуру.

Настоящие испытания для них начинаются тогда, когда выпадает реальный шанс проявиться самостоятельно, взять что-то на себя не тайно, а при свете дня и без затей. На них, таких способных и компетентных "в тени", как будто столбняк нападает: они опаздывают подать документы на конкурс, подворачивают ноги по дороге на ответственное собеседование, неожиданно беременеют, хотя не собирались, — короче, бегут от самой возможности проявиться и быть оцененными по достоинству. Колетт Даулинг в анализе десятков подобных историй, включая свою собственную, предельно жестка: страх успеха, избегание самостоятельности основаны прежде всего на "вторичной выгоде" бесправного, но зато и безответственного положения.

Стало быть, выход один: научиться отвечать за себя, стоять за себя, принимать прямые оценки. Определить приоритеты, поставить цель, методично продвигаться, искать партнеров, не нуждающихся в том, чтобы на тебе "повиснуть". Вроде бы и верно, психологически грамотно, но все же этот суровый рецепт что-то не кажется истиной в последней инстанции. Чего-то в нем недостает, что-то уж очень проста эта суровость... "Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я?", — сказано давно, и сказано вовсе не женщиной. Нет, не снимается противоречие, не расколдовывается только с точки зрения "ответственности сторон".

"Потому что, — слышим мы голос Джудит Виорст, — так называемая женская склонность к зависимости может означать не столько потребность в защите, сколько потребность в том, чтобы являться частью человеческого сообщества, быть "в связке", "в отношениях". Нам нужно не только чтобы заботились о нас, нам нужно еще и заботиться о ком-то самим. Да, мы нуждаемся в других — в тех, которые утешат и помогут, в тех, кто будет на нашей стороне в любой ситуации, в тех, кто скажет: "Я с тобой, я все понимаю". Но точно так же мы нуждаемся в обратном — в том, чтобы самим быть нужными. Взаимозависимость и потребность в ней — это все же не только инфантильное желание "на ручки". И лишь потому, что мы живем в мире, где зрелость отождествляется с отсутствием значимых отношений, свободой от привязанностей, — то есть с мужской моделью самостоятельности, — женская склонность ставить взаимоотношения на первое место выглядит как слабость, а не как сила. Возможно, она и то, и другое"*.

Возможно. И этого, как и многого другого в нашей единственной жизни, за нас никто не решит.

* Judith Viorst. Necessary Losses. The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow. Fawcett Gold Medal, New York, 1990. Pp. 12 — 172.

У Урсулы Ле Гуин, “матриарха” современной фантастики, есть очаровательный рассказ под весьма неоднозначным названием “SUK”. (Пока я печатаю эти строки, мой компьютер подчеркивает красным слово “матриарх” — не знает он его, видите ли). Итак... Рассказ — об антарктической экспедиции, предпринятой в 1909 году десяткой отважных женщин из нескольких латиноамериканских стран. “Мы хотели всего лишь пройти немного дальше и увидеть немного больше, а если не удастся дальше и больше, то просто пройти и увидеть. Не такие уж грандиозные планы. Скромные, я бы сказала”. И они прошли и увидели. Их приключения описаны с блеском и юмором — очень милым дамским юмором:

“Всю следующую неделю метель преследовала нас, как стая бешеных собак. Я даже не могу описать свои ощущения. Мне начало казаться, что нам не следовало ходить к полюсу. Порой мне и сейчас так кажется. Но уже тогда я думала, что мы правильно поступили, не оставив на полюсе никаких следов нашего пребывания, потому что позже туда мог прийти какой-нибудь мужчина, страстно желавший быть первым, и обнаружив, что его опередили, он, возможно, почувствовал бы, что оказался в глупом положении. Это разбило бы его сердце”.

В общем, они поклялись хранить тайну. И, по-моему, совершенно излишне объяснять, почему.

“Мы теперь старые женщины со старыми мужьями, взрослыми детьми и даже внуками, которые когда-нибудь, возможно, захотят прочесть о нашей экспедиции. Даже если они устыдятся своих взбалмошных бабушек, прикосновение к тайне доставит им, наверное, немалое удовольствие. Но они ни в коем случае не должны сообщать о ней мистеру Амундсену! Он будет крайне смущен и очень разочарован. Ему или кому-то за пределами семьи вовсе не обязательно знать о нашей экспедиции. Ведь мы даже не оставили на полюсе следов”.

Тысячи и тысячи не прошли дальше и не увидели больше, хотя и они не оставили следов. Смотрите, вот вспыхивает то одно окно, то другое, чтобы долго не погаснуть. Встают ли они к ребенку, проверяют ли тетради, варят ли обед на завтра — днем уже никто не вспомнит. Ребенок вырастет, тетрадки кончатся, обед съедят. Хорошо хоть ночь не полярная...

ТЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

— Простите, Вы замужем?

— Нет, просто я так выгляжу.

Из Интернет-коллекции

Как считает народная мудрость, все женщины хотят замуж. Вообще. Не то чтобы за определенного человека, а “взамуж” по определению. И точка. Народная мудрость — это серьезно, ибо даже если в какой-то период жизни — молодой ли, зрелой ли — реальная женщина совершенно не помышляет о браке (например, прямо сейчас ей эта проблема ни к чему, других хватает), она никак не может игнорировать Народную Мудрость, которая ждет от нее “правильной” установки. Чтоб как надо, то есть. Кому надо, за чем надо — это все пустое. Надо — значит надо, и нечего умничать. Ну что поделывать, стереотипы так и устроены: согласны мы или нет, они на нас влияют. Итак, замуж следует хотеть, стремиться и рваться. Как бы наша личная точка зрения ни отличалась от общепринятой, эту общепринятую имеет смысл рассмотреть внимательно, “без гнева и пристрастия”. Предупрежден — значит, вооружен.

С первого взгляда ясно, что состав этого императива довольно сложен. Безусловно, в нем перепутались “послания” разной природы: биологические, исторические, культурные, социальные. Начнем, пожалуй, с историко-культурных. Наследие веков — это серьезно: мы же понимаем, что для женщины замужество так долго было единственным способом устроить свою жизнь, что установка на это единственно приемлемое решение глубока, как Марианская впадина. Реальность не в счет. Ну и что, если она может обеспечить и себя, и возможных детей, и даже родителей? Ну и что, если так называемая личная жизнь вполне устроена и устраивает? Древняя пропись все равно сигналист: не то, опасно, рискуешь, нарушаешь.

Подумайте о бесчисленных поколениях женщин, в том числе и наших с вами прауродительниц. Так ли уж трепетно и сладко им было идти к венцу?

Да не всегда, наверное. А каковы же были реальные альтернативы? В приживалки, в незамужние стареющие тетушки при братьях или сестрах? В монастырь? Остаться при родителях упреком, укором, а то и позором? Нам слишком трудно представить во всей неприглядной наготе тот скудный выбор, который открывался перед молодой женщиной — и от которого “для бедной Тани все были жребии равны”. И хотя в сегодняшней жизни возможностей значительно больше и они иные, древняя пропись свое берет. И если мы в своей единственной и неразменной жизни ее нарушаем, это серьезное решение. Бывали — уже в двадцатом веке, не так давно — периоды, когда казалось, что древняя пропись мертва. Что “гнилой институт буржуазного брака” повержен — эмансипированные и отважные подруги, казалось, стали обычным явлением. Об этом можно прочесть во многих мемуарах незаурядных женщин. Мне это утверждение помнится из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, где оно далеко не главное и высказано “к слову”, но о том же думали и писали многие. Ан нет, жив курилка. Декорации меняются, реальные обстоятельства могут быть самыми разными, но “устроенной” в большинстве культур считается замужняя женщина — какой бы иллюзорной и даже отрицающей здравый смысл ни была эта “устроенность” при ближайшем рассмотрении.

Впрочем, есть прописи и постарше, есть наследие биологическое. Человеческий детеныш остается беспомощным очень долго, нуждается в безопасности, тепле, материнском молоке, а нынче — еще и в памперсах. И что самое главное — в безраздельном внимании двадцать четыре часа в сутки. Спина кормящей матери, возможность полностью сосредоточиться на заботе о дитячке должны быть кем-то прикрыты, подстрахованы. Биологическому сценарию все равно, кем и чем: сообществом ли индейских скво, законным ли мужем традиционного европейского брака, подругами, сестрами, бабушками, мамками-няньками.

От тропических островов до гренландских торосов жизнь женщин обычно организовывалась так, чтобы более или менее обеспечивать выращивание здорового потомства. Как ни грустно, но не будем забывать, что в эти механизмы регуляции воспроизведения почти всегда входила и та или иная практика инфантицида (детоубийства) — от закапывания в аравийский песок новорожденных девочек до ужасной и такой немудреной практики отказа от кормления младенца в нищей русской деревне: покричит-покричит да и затихнет, отойдет, невинная душенька, как бы даже и своей смертью... Почему, за что? Да все просто: чтобы прокормить тех, чьи шансы на выживание выше. И с точки зрения матушки-природы эта ужасная практика так же рациональна и оправдана, как воспетое и освященное бережное отношение к матери. Зачем я об этом? А затем, что не стоит покупать на рассуждения о том, что женщина “биологически” предназначена для жизни в браке, путать интересы рода, сообщества — и интересы самой женщины.

Родовой, биологический сценарий — явление особого порядка, очень серьезное и полностью свободное от человеческих чувств, желаний или угрызений совести. Возможно, все как раз наоборот: чувства и желания ему служат, если им позволить.

Ну так вот, возвращаясь к теме "хотения замуж". Традиция — раз, биологическая целесообразность — два. С ними не то чтобы не поспоришь, просто определяться в таком споре тяжело: оппонент везде, вокруг, на сколько хватает взгляда и памяти, да еще и внутри, в виде жизненных "сценариев" и едва ли не инстинктивных побуждений (вроде гнездостроительной активности животных в брачный период). Как "разговаривают" с нами древние прописи? О, разумеется, не напрямую: они слишком огромны. Косвенно, языком все тех же желаний и чувств — как будто наших. Языком семейных "сценариев" и норм: не знаю, откуда я это знаю, но так должно быть. Языком преобладающих в окружающей действительности установок и мифов.

Например, в российской практике довольно серьезную роль играет мотив отделения молодой женщины от родителей с их согласия и, если повезет, благословения. Дочь, рвущаяся к самостоятельной жизни — поселиться отдельно, самой устанавливать правила своего дома, — это вроде бы и нормально... Но не совсем: "Тебе что, с нами плохо?" — "Да нет, не плохо, но пора, хочется своего, я уже взрослая". — "Вот выйдешь замуж, тогда и будет тебе свое. Еще вспомнишь, как не ценила родителей". Или что-нибудь в этом роде. Как у Киплинга в одном стихотворении — что-то насчет послушной дочери своей матери в родительском доме, но госпожи — в своем. То есть, тьфу, не в своем, а в мужнином: викторианские же времена, какой там "свой дом"! О, сколько поспешных и нелепых браков было заключено не потому, что уж очень хотелось "к" — или "с", — а потому, что отчаянно тянуло "от"! И даже возможность решить квартирный вопрос тут не так много изменила: "взрослые девочки", вполне способные написать диссертацию или возглавить отдел продаж, живут в своих симпатичных, снятых по случаю квартирках часто с непонятным чувством вины перед родителями, особенно перед мамой: отделение состоялось, что называется, без уважительной причины.

Еще одна составляющая пресловутого "хотения замуж" — самооценка. Когда потихоньку начинают выходить замуж подруги, когда на работе и вообще где угодно поглядывают искоса: мол, что с ней не так? — велико искушение при случае всем доказать: со мной все в порядке! Многих взрослых и не состоящих в браке женщин так и спрашивают: "Почему не замужем?". Между прочим, я не встречала ни одной, кого бы спросили с той же специфической интонацией: "Почему замужем?". Хотя, в сущности, причины мо-

гут быть очень разные. Например, очень надоело выслушивать этот вопрос. Достали, что называется.

Вот сколько веских и серьезных оснований для того, чтобы стремиться к узам Гименея в соответствии с распространенным убеждением, что женщины “заманивают” мужчин в брачные сети. Охо-хо, ведь и правда порой легче этой легенде подыграть, чем заявлять о своих принципиальных расхождениях с ней. Недешево обходилось в любые времена нарушение негласных правил. Вот и сказки сплошь и рядом заканчиваются свадьбой. И наша Василиса вышла замуж, да еще как удачно-то, аж за царя — и с тех пор никто больше ничего не слышал о ее премудрости...

Брак как общественно-полезное устройство — это понятно; откровенный цинизм института приданого или калыма просто фиксируют отнюдь не романтическую правду традиционного замужества: у вас товар, у нас купец. И все было бы тихо, прилично и совсем уж беспросветно, и никакие Тристаны с Изольдами и Ромео с Джульеттами не беспокоили бы воображение подрастающего поколения, если бы...

Если бы в этом общественно-полезном раскладе не было еще одной фигуры, о которой пока речь не заходила. Еще одной могучей силы, которая вмешивается от века и по сей день в дела и помышления как мужчин, так и женщин, позволяя им все-таки пережить несовершенство человеческих отношений — как в браке, так и вне его. Ну да, речь о ней. О любви. О дивной способности на какое-то время забывать обо всем на свете, включая собственную персону, и считать существование другого человека более важным, чем существование озоновой дыры, идиота-начальника и неоплаченного телефонного счета.

В сущности, эволюционное излишество, но какое! Не это ли имеют в виду, называя ее “чудом” — то есть тем, чего быть не может? Подумайте сами: ни с того ни с сего думать о совершенно постороннем человеке день и ночь, более всего на свете желать его увидеть, услышать, а если очень повезет, то и потрогать — такое возможно? Теоретически — не должно бы... Однако почти каждая из нас по личному и близких подруг опыту знает, что не только возможно, но и почти обязательно. Душа, не пережившая этой счастливой тоски, этого нормального умопомешательства — обыкновенного чуда, чего-то очень существенного о себе и о мире не знает.

Позвольте, так мы все-таки о любви или о браке?

Вот тут-то и парадокс, тут-то и источник множества недоразумений. Если, к примеру, считать брак исключительно “организацией”, чья задача — экономический союз с целью выживания, выращивания детей, заботы о стариках, то все выглядит довольно уныло, но по меньшей мере понятно. В этом

случае функция чувств — сугубо служебная, как в поговорке "стерпится — слюбится".

Наши далекие предки понимали под счастьем вообще не состояние души, а везение, случай: "двери, по счастью, не были заперты" или "не было бы счастья, да несчастье помогло". И только. И все. И когда сказка или иной сюжет заканчивается тем, что такая-то пара стала жить-поживать и добра наживать, это и есть "старинное" понятие счастья в браке: достаток, здоровье и, самое главное, отсутствие бед. Не овдоветь, не похоронить одного за другим детей, не покинуть этот мир в родильной горячке, оставив детей сиротами, — ну не счастье ли? Дожить до старости в нашем понимании этого слова выпадало немногим.

Кстати, вас никогда не удивляло обилие мачех в сказках? Одна сторона этого феномена — символическая: черная тень матери, ненавистная часть самой важной в жизни ребенка фигуры. Но другая-то упирается в практику, быт: надо же кому-то вести хозяйство и присматривать за оставшимися после покойницы детьми! Жена хороша здоровая и смиренного нрава, не сварливая, а если хороша собой — еще лучше. Само собой, небезразлично приданое и статус семьи, с которой породнился. "Повезло с женой, — скажут тогда соседи, — посчастливилось". Женское счастье — "устроить свою судьбу". Конечно, лучше с милым, чем с немилым, но выбирать могли далеко не все и не всегда.

Вопрос о счастье в современном смысле как бы и не возникает, если только муж не полное хозяйственное ничтожество (в благородном варианте — мот и игрок) или не патологически жесток, властен, скуп. В первом случае грозили голод и лишения для себя и детей, во втором — побои и притеснения, то есть *несчастья*. Если бы мы спросили у Василисы Премудрой или ее европейских сказочных сестер что-нибудь про счастье в браке, имея в виду определенные переживания и чувства, нас бы, боюсь, просто не поняли...

Любая сваха в уездном городишке позапрошлого века знала, что при всех практических соображениях все-таки лучше, если "товар" и "купец" друг другу приглянутся. Мороки меньше, перспективы лучше, станут жить-поживать и добра наживать, веселым пирком да за свадебку. Но даже во хмелю никакая Авдотьюшка не полагала, что в ее ремесле подбора "парочек — баранов да ярочек" любовь — основное. Авдотьюшка бывала обычно теткой практичной, природу брака как организации понимала как никто, ну, а уж если для особо разборчивой купеческой дочери надо было галантерейности подпустить, давала соответствующие инструкции. Между прочим, ритуалы ухаживания — дело вполне функциональное, обратите внимание на само слово: за кем еще, кроме женщин, "ухаживают"? Правильно, за

детьми, болящими, цветочками — за теми, кто сам о себе позаботиться не может. В ритуалах этого рода фиксируется важнейшее сообщение: “он” может — и, кажется, непрочь — обо мне заботиться, может быть внимателен к моим потребностям. Для полностью зависимой в рамках традиционного брака женщины это, согласитесь, крайне важно. Пока еще можно хоть что-то выбирать, это ее последний шанс заподозрить неладное: а ну как жаден, а ну как груб? Упустишь момент, только и останется, что полагаться на “стерпится-слубится”...

Идея или мечта о том, что брак может быть “счастливым” не только обстоятельствами, возникла довольно поздно, когда сами браки стали больше заключаться по свободному выбору или, как стало принято говорить, по любви. Тут-то и начинается путаница. Все больше людей разделяют мысль о том, что счастье — это способность к определенному видению жизни, а не сами ее обстоятельства: возникает психологическое, “душевное” измерение. А это означает, что начиная с тех пор и по нынешнее время счастье в браке прочно связывается со способностью видеть нечто бесконечно привлекательное в привычном, ежедневном. Да и живут теперь люди все дольше и дольше...

С другой стороны, романтическая любовь-влюбленность, имеющая ограниченный “срок годности” с легкой руки литературы объявляется единственной разновидностью этого чувства, если оно претендует на “интересность”. В давние суровые времена за типичным браком стояли принуждение, житейская необходимость, долг — никто и слыхом не слыхивал о браке как удовольствии, таких требований к нему и не предъявляли... А ведь весь довольно невеселый опыт прошлого — прошу прощения, уже позапрошлого — века с его скучающими у семейного очага героями и страдающими у него же героинями — это длительная и тяжкая попытка совместить уклад и чувства, социальный институт и чувства, совместное ведение хозяйства — и опять же чувства... С тех пор человечество перепробовало все: “свободную любовь” и возврат к традиционным ценностям, полную честность в отношениях и полное ханжество, материальную зависимость и таковую же независимость от спутников жизни... Рецепта счастливого совместного существования, который бы позволил без боли и потерь пережить первую — по определению краткую — фазу “мечтаний и желаний”, не нашлось. Между прочим, в свое время алхимики искали рецепт философского камня еще дольше — несколько столетий. Тоже не нашли, зато сильно продвинулись в том, что потом стало химией и медициной.

Современное сознание категорически не желает видеть в браке его сермяжную неласковую подкладку, требует одновременно все и сразу: романтической любви, хозяйственных совершенств, родства душ, сексуальной гармонии и товарищеской “командности”, розочек и сердечек Дня святого

Валентина прямо в наваристом борще. Как говорится в той же интернетовской коллекции, "Настоящая жена — это женщина, которая умеет закатывать три вещи: банки, глаза и истерику". Даже монархи, которым вообще "не положено по должности" потакать своим чувствам, желают жениться исключительно по любви. А романтическая традиция к тому же предписывает считать Любовью только первую ее фазу — так сказать, "острую". Протекающую в накале чувств, в угаре страсти, с высокой температурой и нарушениями ориентации в пространстве и времени. Вот и получается престранный набор марьяжных ожиданий: чтоб все как в первый день — гром с молнией, розы-грезы, во власти страсти, — но чтоб навсегда! А иначе — типичное "не то".

И когда еще наживешь опыт разных видов, форм и стадий любви, когда еще сердце научится не тосковать по "утраченному раю" и признавать противоречивую природу глубоких отношений с другим человеческим существом, когда еще... Сколько раз, пока этот опыт накапливается, оказывается под угрозой и душевная близость, и чувства, и сам союз — в частности, брак.

По данным некоторых исследований — правда, западных, но все равно любопытных, — наиболее удовлетворенными своей жизнью назвали себя две категории людей: мужчины, никогда не состоявшие в браке, и женщины, расторгшие его по собственной инициативе. Прогноз, между прочим, и у тех, и у других не так чтобы безоблачный: "по статистике" им положено с течением лет больше болеть, хуже приспосабливаться к изменениям и вообще жить в среднем меньше, чем добровольные заложники семейных уз. Один восьмилетний мальчик, случайно услышав во взрослом разговоре упоминание этих данных, буркнул: "Так им и надо!" — ??? — "Не захотели трудностей, вот и болеют. Все закаляются, а они нет". Возможно, дитя и правда кое-что угадало? Довольство жизнью, да еще "внесенное в декларацию", наводит на размышления об избегании чего-то, чего избежать без расплаты, видимо, почти невозможно...

Чего? Что такое есть в совместной жизни с другим человеком, о чем глухо предупреждают поговорки и анекдоты и чего столь многие в конце концов просто не выдерживают? "Вы знаете, моя жена — ангел". — "Счастливец! А моя еще жива". О чем это? Мы знаем, но ужасно не хотим в это поверить. Мы готовы скорее признать, что брак наших родителей был не вполне идеальным, что наши собственные отношения с партнерами "не сложились", — но не признавать саму идею. Какую? Как написал один социолог (по-моему, лучше и короче об этом не скажешь): "Человек — даже без враждебных намерений, без желания причинить боль, вне какой бы то ни было установки на агрессию, а просто самим выражением факта своего существования — может причинять ущерб другому человеку, пред-

ставлять для него прямую угрозу". Совместная жизнь — уже в силу постоянного пребывания на виду друг у друга, разнообразия возможностей "выражать факт своего существования" — несет в себе взаимную угрозу. Близкие отношения — а не о близости ли все мы мечтаем, когда хотим любить и быть любимыми? — не только греют, но и ранят. Не только светят, но и травят. Увы.

В самой любви есть тени, "драконовы зубы" враждебности. Во всякой любви, по определению. Даже в любви матери к маленькому ребенку.

О, об этом не принято говорить в еще большей степени, чем о мрачных сторонах брака! Ребенок такой беззащитный, он так недавно был ее частью, у него такой смешной хохолок на макушке, такие крошечные пальчики — и двадцать четыре часа, полностью посвященные удовлетворению его потребностей, в какие-то моменты доводят "ангел-маменьку" до такого белого каления, что она сама себя пугается. И есть чего испугаться. "Так бы об стенку и шваркнула!" Девяносто девять из ста никогда не реализуют эти злобные, разрушительные импульсы в прямом действии, — то есть не шваркают. Но описан же детскими невропатологами shaken baby syndrom (затрудняюсь перевести на русский гладко, корявым, но достаточно точным переводом будет "синдром тряханутого младенца"). Трясли, то есть — но слишком резко, со зла, а может и того, об стенку... А если "трясти" очень сильно или очень часто, то уже и травматическая микросимптоматика наблюдается, складывается в устойчивую картину синдрома. Что, звери какие-нибудь, чудовища? Да нет, обычные родители, больше матери. И преимущественно вполне любящие. Но — "не справились с управлением" собственными агрессивными импульсами. С теми самыми тенями, которым якобы не место в ослепительном сиянии любви. Даже той любви, которая считается самой бескорыстной и самоотверженной...

И если "драконовы зубы" есть даже в этой любви, что уж говорить о двух совершенно отдельных взрослых людях, которые рискнули не только "встречаться", но и жить вместе... "Придешь домой — там ты сидишь" — это ведь не только о специфической совковой безнадеге. Вы не задумывались, почему анекдоты на семейные темы вечны, а комедии все чернее? Вот несколько "фишек" из Интернетовской коллекции — остроумие, как мы помним, позволяет совместить запретные импульсы и социальную норму. Что касается запретных импульсов, то "тротильный эквивалент" недоброжелательности в браке можете подсчитать сами. Ну вот, навскидку, без особого разбора: "Брак — это партизанская борьба за личные интересы" — неплохо, особенно учитывая все, что в нашей культуре известно о ведении партизанской войны: эшелоны летят под откос, полыхают деревни, "немцы далеко?" и все такое прочее. "Когда поздравляешь жену с праздником, главное — не сорваться на крик" — тоже славно, только

очень жалко обоих. "Люди, которые женятся по глупости, как правило, начинают очень быстро умнеть"; "Когда он с фразой "У нас есть что-нибудь вкусненькое?" лез в холодильник через пять минут после обеда, мне хотелось дать ему сзади пинка! И захлопнуть дверцу" — ну, эти двое друг друга стоят...

Избежать проявлений агрессии, видимо, нельзя. Можно только обращаться с ней с должным почтением и более или менее грамотно: придавать цивилизованную форму, разряжать вовремя, не накапливать во взрывоопасных количествах. И все равно то и дело застывать в печальном недоумении перед одним из самых мучительных парадоксов обычной человеческой жизни: "Состоять в браке поистине ужасно. Единственное, что еще хуже — в браке не состоять". Это сказал Карл Витакер, один из самых знаменитых и почитаемых специалистов по семейной психологии и семейной терапии. Между прочим, он прожил в браке с единственной и любимой женой Мюриэл очень много лет, а детей у них было шестеро. Что тут добавишь?

ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ...

У любви как у пташки крылья,

Ее нельзя никак поймать.

"Кармен" — считай, народное

Я, конечно, слукавила в начале книжки: не буду, мол, писать о любви и браке, место преступления все истоптано, ни одного отчетливого отпечатка, нашей, мол, лаборатории в таких условиях делать нечего! Хорошо, что тут же честно обещала быть капризной и обещаний не выполнять, а то пришлось бы туго. В общем-то, каждая вторая работа — про любовь, если под ней понимать нечто поболее и посложней, чем гирлянда красненьких шариков в форме сердечка. А поскольку на группы вообще ходят смелые женщины — это вы уже поняли, конечно, — то и на эту тему исследования их бывают довольно решительными.

Кстати, вот еще одно рассуждение на тему опросов "про счастье"... Известно, что в браке или длительном гражданском союзе свою жизнь расценивают как удовлетворительную во всех отношениях и не хотели бы ничего менять около 60% мужчин и чуть больше 30% женщин. Мужчины говорят, что, хотя они и осознают недостатки спутницы жизни... что ж, и они не святые... а в целом "жизнь удалась". И даже получилась лучше, чем ожидалось: совместная жизнь, оказывается, не настолько лишает свободы, как гласит известный мужской миф. В принципе, можно ничего и не менять.

Может, и не райское блаженство, но все о'кей. Женщины тоже не собираются ничего менять, но склонны рассматривать брак как ловушку, форму эксплуатации и настоящий конец личной свободы. Это при известном убеждении, что в браке мужчина "расстается со своей свободой", а дамы наперегонки несутся к венцу, расталкивая друг друга локтями, а весь смысл их жизни — в строительстве гнезда и устилании его выщипанным из себя же пухом! По всей вероятности, сама идея — или, если хотите, образ — совместной жизни в женском восприятии сильно идеализирована. А завышенные ожидания — прямой путь к разочарованию: в глазах — обида, в руках — утюг. Или, ежели желаете возвышенного слога: "Когда жалуются на жизнь, то это почти всегда означает, что от нее потребовали невозможного". Кажется, Ренан.

Мы обсуждали эту маленькую "нестыковочку" на многих группах. Правда ли, что даже внешне вполне современный брак все-таки удобнее для мужчины? "Двойной стандарт", преобладание власти над обязанностями и все такое прочее? Правда ли, что муж и жена, по существу, состоят в двух разных браках — настолько по-разному они видят все происходящее? Правда ли, что от женщины ожидается такая "хамелеонистость", такой ресурс адаптации к чему угодно, что впору надорваться, — а главное, что женщины ожидают этой бесконечной гибкости позвоночника сами от себя? Вот картинка, которую легко опознать, если не полностью, то в каких-то деталях:

"Всякий раз, когда она доверчиво влюблялась, ее охватывал болезненный энтузиазм помогать-служить любимому на всех фронтах — от кулинарии и экзотических пристрастий субъекта страсти до сочинения авантюрных схем и концепций в его работе, причем исключительно в рамках "чистых технологий".

И каждый раз блюда потребляли, привыкали к ним и ожидали новых кулинарных открытий; мысли использовали, цитаты присваивали, плагиат становился нормой, а саму Иринку оставляли за бортом. Если бы она знала, что ее всего-навсего "бортанули", то выкрутилась бы и смирилась. Но она чувствовала, что из-за своего проклятого служения превращается для любимого в "мусорное ведро", куда можно сплавлять любой негатив — агрессию, лень, скупость и прочие виды распушенности личности.

Не предъявляя претензий, она принимала решение тихо "отползти" — затаивалась, замыкалась, не приставала и старалась неприемно жить своими делами. Такое решение проблемы казалось ей благородным, но именно оно провоцировало почему-то чудовищные, дикие реакции. Отношения переходили в стадию "наездов",

ее цепляли, щипали, мелкие поступки комментировали, извращая суть, а также заставляли постоянно защищаться"*.

Знакомо? Конечно, ну и что? Что толку сокрушаться о несправедливости устройства этого лучшего из миров — так недолго и захлебнуться в жалости к себе и действительно скатиться к бытовому жанру: "Я ему, паразиту, отдала лучшие годы". И чего ждала, когда отдавала? Неконструктивно. И, что существеннее: "чтобы станцевать танго, нужны двое". Нам важнее было понять, что стоит за женскими разочарованиями, а в нашем случае "понять" означает попытаться осознать свои собственные тени, омрачающие союзы удачные и не очень, длительные и не очень, всякие. Вот что думали по этому поводу одиннадцать "присяжных заседательниц" в одну из суббот.

- Мне кажется, мы — то есть, я говорю о себе — слишком многого ждала от брака. Как будто это решение всех проблем, как будто он сам по себе меня ставит на какие-то рельсы, а дальше надо только ехать. А он сам по себе гораздо больше проблем создает, чем решает. Иллюзия, что потом все как-то само устроится, — а все наоборот. Я ждала не этого! Обманули!
- Да-да, причем эти самые ожидания еще и противоречивы: я хочу, чтоб "как за каменной стеной", — но чтоб считали равноправным партнером; чтоб меня понимали, выслушивали, душевно со мной разговаривали, — но чтоб при этом он был "настоящим мужчиной", решительным и все такое. Как же это совместить — и кто такое может совместить?
- И чтоб ухаживали, как в кино, — а ответственности чтоб было, как у зрелого мужа, серьезного и без придури.
- И чтоб детей воспитывал вместе со мной, был хорошим отцом, — но только так, как я считаю нужным!
- Пусть уступает, — но чтоб не был тряпкой!
- Хочу независимости, — но содержи семью!
- Будь и мамочкой, и отцом, и любовником, и сыном — и тогда, когда мне не хватает мамочки, отца, любовника или еще одного ребенка!
- Возьми на себя серьезные решения, — но почему ты со мной не советуешься?
- Принимай меня такой, какая я есть: мой возраст, мои интересы, внешность, характер, все... Но чтоб при этом оставался тем

* Нечаева М. Записки дрянной жены. М.: Голден Би, 2000.

влюбленным мальчиком, который ничего не соображал и видел во мне одно хорошее!

- Не нарушай моих границ — почему ты совсем не интересуешься моими делами?
- Делись со мной, рассказывай мне все, — но только то, что я хочу слышать!

Ох, как же мы смеялись! Не над нашими спутниками жизни, даже не над собой — над детской верой в брак как “хороший конец”, в брак как смысл жизни, в брак как “наше все” — не путать с Пушкиным, он тут ни при чем. Вспомнили, конечно, и присказку “хорошее дело браком не назовут”, и множество жестких, “теневых” формулировок фольклора. Здесь “хитом дня” оказалась поговорка “Мужу-псу не показывай жопу всю”, слышанная одной из наших женщин от своей прабабушки. “Я долго не понимала. А вот недавно получила диплом, второе высшее. Ну и похвасталась дома. И мне тут же рассказали, чего стоит мое второе, а заодно и первое, и вообще где мое место. Сразу вспомнила и поняла”. Вот она, угроза, выражаемая “самим фактом существования”. Вот они, драконовы зубы. Самое интересное, что никакие эксперименты с браком — свободный, пробный, гражданский, европейский — этой стороны явления никак не отменяют.

Более того, тут возникает любопытный парадокс. В традиционной культуре — там, где “узы Гименея” и прочие подобные атрибуты — говорят о брачных обетах, клятвах: “Клянешься ли ты любить и почитать, в болезни и здравии, бедности и богатстве...”, — ну и все такое прочее. Клятвы эти, разумеется, нарушались, притом не только изменами: согласитесь, что даже в достаточно благополучном браке двадцать четыре часа в сутки “почитать” как-то не получается. Традиция вольного, только на чувствах основанного союза отказалась от ритуальной стороны брака — мол, сплошное лицемерие, никто никому ничего не должен. Счастья, по свидетельству миллионов очевидцев, почему-то не прибавилось. В самом деле, если эти двое друг другу *ничего не обещали*, то и все их ожидания, вся система представлений исключительно субъективна: что такое, например, измена? Есть ли вообще какие-то обязательства и как они распределяются? Как узнать, “достаточно” или “недостаточно” чувства — у кого эта мерка? Получилось, что в свободной, размытой и многоукладной традиции — а такая современная практика в большинстве развитых стран — мужья и жены в гораздо большей степени становятся заложниками собственных представлений о том, что правильно и неправильно в браке. А представления эти сплошь и рядом транслированы от собственной семьи, от раннего окружения — и по большей части воспринимаются как единственно возможные. То, на чем вырос и чем пропитался насквозь, воспринимается как нормальное, само собой разумеющееся. Даже в таком достаточно распро-

страненном случае, когда человек — будь то мужчина или женщина — решительно настроен в своем браке сделать все “не так, как у родителей”. Боже мой, сколько раз я это слышала и от мужчин, и от женщин на консультациях и на группах: “Мне казалось, что свою семью я построю совсем по-другому. Как же вышло, что все повторяется?”

Можно сказать “да”, можно сказать “нет”, но говорим мы все равно на том же самом “языке” — языке своей родительской семьи. Наш избранник — представитель другой цивилизации, хотя бы ему и казалось временами, что его “никто так еще не понимал”. А наши дети унаследуют оба “кода”, которые за время семейной жизни причудливо переплетутся, где-то сплавятся, а где-то так и останутся “непереводимой игрой слов”. Удивительно ли, что в ожиданиях, касающихся партнерства в браке, так много противоречий? Ведь и мы от кого-то унаследовали свои фантазии и претензии, свою шкалу оценок, свои опасения и мечты.

Надо заметить, что участницы женских групп поразительно чувствуют ту грань, где вот-вот прекратится “работа над собой” и начнется просто перемывание косточек близких людей, “посиделки”. Если есть взрывоопасный запас непроявленной агрессии, обиды, то ему лучше быть разряженным именно на группе — так безопаснее. Но мы никогда на этом не останавливаемся. И после “детоксикации” все-таки стараемся общими усилиями понять одну простую вещь: что я могу сделать для себя, чтобы все-таки не принимать в отношениях роль, которая меня не устраивает? Потому что если “я у себя одна”, это обязывает: другой человек, тем более мужчина, “инопланетянин” — таков, каков он есть; и он унаследовал противоречивые модели, несовместимые ожидания, “комплекс мадонны и проститутки” et cetera. И еще: он с детства дышал воздухом родимой патриархальной культуры, к тому же в ее социалистическом, то есть особенно лицемерном, издании. Он, скорее всего, не станет разбираться со своими стереотипами — во всяком случае, до появления “жареного петуха” с однозначно нехорошими намерениями. Более того, весь его опыт подсказывает, что анализировать свои мотивы, копаться в семейном прошлом и “разводить антимонии” — не мужское занятие. Может быть, когда-нибудь это войдет в моду: когда его начальник начнет вслух упоминать о своем психоаналитике, например. Но не исключено, что для меня лично это уже ничего не изменит: “до стольких не живут”.

Моя единственная жизнь — слишком важное дело, чтобы позволить себе бездумно попадаться в уже известные мне ловушки. И дело совсем не в том, что “я тоже виновата”: дело как раз в том, чтобы перестать играть в “поиск виноватого”. А вместо этого попытаться изменить то, что я могу изменить, и принять то, чего я изменить не могу. А для этого, как известно, придется научиться отличать одно от другого. И даже если я ничего не

могу сделать с законами этого мира, я всегда могу лучше понять свой личный вклад в собственные разочарования и, как минимум, рассмотреть любые свои решения при ярком свете подарка Бабы-яги...

Так что мы не ограничились констатацией путаницы в собственных чувствах и мозгах: не успели отсмеяться, как кто-то предложил пройтись еще раз по всем противоречиям в ожиданиях и потребностях, которые так резко высветились: нам показалось, что просто признать их наличие недостаточно. Ибо в каждом таком противоречивом требовании к мужчине, который рядом, таится точка выбора для себя. Может быть, не пожизненного, но выбора: все-таки девочкой я хочу быть или взрослой, на равных или нет, искренней или не очень? И за многими “вилками” обнаружилось вполне узнаваемые конструкции.

Например, все то же противоречие “имени Золушки”: безопасность — свобода.

Например, боязнь отвержения, сравнений: скажи мне, что я самая лучшая, что я единственная, *be my Valentine* и черт с ней, с реальностью. Здесь часто зарыта отравленная приманка: каких только подвигов многие из нас не готовы совершить, чтобы заслужить этот “высший балл”! Что бывает — сами знаете. Куда заводит “болезненный энтузиазм помогать-служить на всех фронтах”, для многих тоже не секрет.

Например, вечная и ненасытная потребность в безусловном принятии — любви “без экзаменов”. Это очень серьезная сила, а ее корни уходят глубоко в детство. Чаще всего оказывается, что мужчина, который нам этого не в состоянии дать (а мы ему — в состоянии?) — только “представитель” или, говоря более научным языком, “фигура переноса”. Разбираться же следует совсем с другими важными персонажами нашей жизни — с теми, чьим “наследником” он помимо воли стал.

Из сюжетов попроще — желание остановить (а то и повернуть вспять) время, вернуть “острый период” любви и остаться в нем, как муха в янтаре. Конечно, большинство из нас знают, чем чревато восклицание: “Остановись, мгновенье, ты прекрасно!” — и кто предлагает соответствующие сделки. Но искушение так велико, но иллюзия так сладка...

Вот на эту тему — не самую глубокую в той истории о разочарованиях, куда мы влезли, — и работала прелестная женщина Роза. И это было так красиво, так печально и настолько шире любой “бытовухи” про несложившийся брак, что заслуживает рассказа.

— Я уже дважды была замужем, и все происходило по одной и той же схеме: бурный роман, самые радужные ожидания, красивая свадьба — разочарование. В какой-то момент такая трезвая,

- страшенькая мысль: боже мой, что тут делает этот? Я бы не хотела еще раз в это вдряматься. Я обожаю это приподнятое состояние, но нельзя же всю жизнь за ним гоняться! Что же это за сила такая, которая сначала возносит, а потом — хряп!
- Роза, я правильно понимаю: ты хотела бы узнать что-то о происхождении своей влюбленности и о том, куда и почему она девается потом?
- Ну да, и зачем обязательно хряпаться.
- Важны ли тебе для работы твои мужья?
- Да нет, пожалуй. Могли быть, наверное, и какие-нибудь другие.
- Тогда давай прикинем, кто или что ответит тебе на твои вопросы.
- Она и ответит, Сила.
- Имя у нее есть?
- Пусть будет как у Пастернака — Высокая Болезнь.
- Выбери, кто ее для тебя сыграет. Выбрала? Поменяйтесь ролями. Высокая Болезнь, расскажи Розе, что ты для нее такое.
- О, я прихожу и меняю все! У тебя все получается, ты летаешь, ты горы можешь свернуть. Как будто у тебя роман не с человеком, а со всем миром, вселенная радуется и переливается всеми цветами радуги! Как будто у меня в руках волшебная палочка: я дотрагиваюсь, и все расцветает. *(Капризно)* Но сейчас я для тебя никаких чудес совершать не буду, сейчас я отдельно, а ты отдельно. *(Обмен ролями.)*
- Почему ты уходишь от меня, почему меня хряпаешь? *(Обмен ролями.)*
- Я могу дать ощущение полета — о, да. Я могу заставить сверкать каждый камушек и цвести — каждый венчик. Но даже птицы летают не всегда. Ты не умеешь приземляться. Вот и хряпаешься. *(Обмен ролями.)*
- Ты что, с самого начала знаешь, что покинешь меня? Тогда ты просто дрянь, обманщица. Ты же должна быть вечной! *(Обмен ролями.)*
- Это кто тебе сказал? Я вообще не понимаю этого вашего "вечно". У меня каждое мгновение — навсегда. Ты что, собираешься их считать? Не смей!

- Но мне надо знать, что будет дальше!
- Извини, прогнозы — это не моя работа. Я и так перегружена: украшаю, утешаю, обнадеживаю. Когда моя работа сделана, я ухожу. *(Обмен ролями.)*
- Тогда зачем ты вообще приходишь? Расстройство одно!
- Зачем цветы? Зачем праздники? Это вы, мои дорогие, хотите, чтобы цветы никогда не осыпались, а понедельник не наступал. Я вам этого не обещала. Я просто даю вам шанс увидеть друг в друге лучшее и, может быть, ради этого лучшего смириться со всем остальным. Шанс, понимаешь? Не итог, а возможность. Начало, а не конец. Без меня людям было бы гораздо труднее быть вместе: я толкаю вас друг к другу, и все, что вы чувствуете, — правда. И когда вы уже готовы увидеть больше, я ухожу. Если цветы не осыпаются, значит, они искусственные. Ты любишь искусственные цветы, Роза?
- Ненавижу. Им место только на кладбище. Скажи, когда ты уходишь, дальше еще что-то хорошее бывает?
- У кого бывает, у кого нет. Те, кто любит искусственные цветы и вечные праздники, гоняются за мной, так ничему и не научившись. Те, кто готов узнать больше, могут познакомиться с моими сестрами. Переживи понедельник, научись приземляться, разгляди завязь в облетевшем цветке, и ты сможешь с ними встретиться.
- Спасибо. Ты очень великодушна.
- Не за что. Приятно было поболтать — обычно мне не задают вопросов, только призывают, воспевают или клянут. Ты смелая женщина, ты посмотрела мне в лицо. За это я открою тебе еще один секрет. Я могу дотрагиваться своей волшебной палочкой не только до женщин и мужчин. Могу сделать неповторимым закат, город, стихотворение — что угодно. Но только для тех, кто научился меня отпускать. Тогда я больше не Болезнь, пусть даже и Высокая. Я становлюсь подарком, нечаянной радостью. Много одержимых мною, много таких, кто меня боится; много разочарованных. А меня нужно пережить. Запомни: пережить.
- Спасибо. Я, кажется, поняла. Все это очень грустно, но похоже. Прощай.
- Я предпочитаю говорить “до свидания”. Кто знает? Никогда не говори “никогда”. И помни о моих сестрах!

— Да. До свидания. Спасибо, что ты была. И спасибо за науку.

И в тот же день на той же группе мы, конечно, встретились и с сестрами Высокой Болезни, но это были уже другие работы и другие темы. Роза же в своей истории удивительно тонко и точно показала, как опасно пытаться "консервировать" то, что по самой своей природе должно быть живым. А это означает — развивающимся, изменчивым... и *смертным*. Раз живое.

И куда бы мы ни шли, время от времени наш путь будет пролегать через то место в темном лесу, где придется перебороть страх и задуматься о костях, охраняющих страшное, но необходимое место, — и, возможно, о смене дня и ночи, о циклах.

"Вдруг скачет мимо нее всадник: сам белый, одет в белое, конь под ним белый и сбруя на коне белая, — на дворе стало рассветать.

Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красное и на красном коне, — стало всходить солнце.

Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы-яги. Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо верей у ворот — ноги человецьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам черный, одет во всем черное и на черном коне. Подскакал к воротам Бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня".

Потом Баба-яга скажет Василисе на ее вопрос о трех всадниках: это день мой ясный, это мое солнышко красное, это ночь моя темная — все слуги мои верные... Позвольте, но кто же она такая, эта несносная старуха в ступе, если ей подчиняются природные явления, если сменой дня и ночи ведают ее слуги? Да, а как там говорила Высокая Болезнь в Розиной работе... Если цветы не осыпаются, значит, они искусственные... Переживи понедельник... Ты смелая женщина, ты посмотрела мне в лицо... И мы знаем — не только из литературы, — что у персонажа Розиной работы тоже есть жертвы, что погубленных ею не счесть. Только их костями она распоряжается иначе: на Востоке есть поверье, что камень бирюза — это косточки умерших от любви...

Поистине в разных обличьях являются перед нами древние грозные богини...

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО...

Это наше священное право —
остро, вечно нуждаться в любви,
чтобы ангел светился и плавал
над тобой, как над всеми людьми.

Юнна Мориц

Все, кому не лень, призывают нас к реалистическому взгляду на себя и наших мужчин, иронизируют по поводу идеализации “неопознанного летающего объекта” вначале и горьких разочарований потом. И я туда же. Прямо какое-то “люди, будьте бдительны” получается. А помечтать? Нет, серьезно, если бы встреча с Мужчиной Мечты не трогала каких-то специфически настроенных струн в женском сердце, кто бы читал дамские романы, кто бы обклеивал стены в общежитии постерами с душкой Ди Каприо, кто бы бесконечно пересказывал “Золушку” в десятках версий? По твердой и реалистической логике бедняжка должна была бы не по балам бегать с помощью магических уловок, а конвертировать благосклонность Крестной во что-нибудь надежное, со временем гарантирующее свободу от мачехи и сестер и устройство дел. Бал — в честь окончания кулинарной школы, танцы — с курсантами местного пожарного училища, платъице тоже можно было надеть попроще. По средствам, так сказать. Такого пресного назидательного чтива в защиту умеренности и предприимчивости, между прочим, тоже написано немало. Не читается как-то. И коли уж так сложилось, что женщины, в том числе и семейные, и немолодые, мечтают о Нем, поглядим на механизм этого универсального феномена.

Мечта — это всегда энергия неудовлетворенной потребности. Мужчины, “о которых можно только мечтать”, при всех своих различиях имеют одну общую черту: с ними в фантазиях возможно то, что с живыми, реальными людьми для этой конкретной женщины невозможно, не получается — будь то секс “без тормозов” или разговор по душам, столкновение сильных характеров или, наоборот, подчинение воле властного “хозяина”.

...В пору неприкаянной студенческой юности мой старый друг брел как-то раз зимней Москвой. Смеркалось, холодало, хотелось есть и спать одновременно. Краем глаза увиделась вывеска: “Шашлычно-пельменные товары”. Миновав ее, любознательный юноша впал в недоумение: уж коли пельменная, так не шашлычная, что-то здесь не так. Не поленившись вернуться, он опознал привычные каждому “школьно-письменные...” — и навсегда запомнил, какие шутки может играть с восприятием голод.

А уж шутки, которые играет с нами тоска по любви, по эмоциональной и чувственной “пище”, случаются сплошь и рядом и порой они далеко не так

невинны. И разобраться в источнике ошибки не так просто, и цена ее может быть высокой, а что самое главное — в эту историю обычно вовлечен еще и другой человек... Если бы речь шла только о сексуальной потребности, все было бы относительно просто: "люди, будьте бдительны", не позволяйте случайной прихоти испортить вам жизнь. Наши естественные потребности прекрасны, но нуждаются в присмотре разума, а наши нормы и запреты тоже хороши и правильны, но время от времени нуждаются в пересмотре с помощью все того же разума... Ну, и так далее.

Кто-то из мудрых сказал, что каждому человеку нужно, чтобы его любили, каждый хочет именно этого. Если же это невозможно — пусть уважают; если и это невозможно — пусть вожделяют; если и этого нет — пусть боятся; невозможно — пусть хоть презирают или ненавидят... Но в самом начале все равно стояла потребность в любви, хотя после всех замен ее порой и узнать-то нелегко. А вот что всем нам известный Стендаль, автор любопытнейшего трактата о разновидностях и механизмах любви, писал о "кристаллизации": если в сверхнасыщенный раствор соли копеек Зальцбурга опустить голую веточку, прутик, да что угодно — это "что угодно" покрывается кристалликами, превращаясь в блестящий, загадочный предмет... Суть того, чем этот предмет был раньше, более не важна — было бы достаточно соли в растворе. Потребность любить и быть любимой и есть та соль, которая может сделать блестящим и привлекательным "что угодно". Как говорил один мой знакомый психоаналитик, "энергия либидо катектирует на объект". Мудрено? Тогда обратимся к другому источнику. Как говорил мальчик из некогда знаменитого ("культового" по-нынешнему) фильма "Доживем до понедельника": "Ухаживать я мог бы и за Огарышевой, была бы эта самая пружинка внутри". На что барышня, естественно, фыркает: "Вот и ухаживай за Огарышевой!". И никому не надо объяснять, что ей в этом рассуждении не понравилось. Рассуждение, между тем, болезненно верное. Умненький мальчик разделил "соль" и "прутик" — очарование кончилось. Привычная к нерассуждающему обожанию барышня не может с этим смириться, это бьет по ее самооценке, поэтому — сам дурак, и держись от меня подальше.

Наши потребности могут быть опасны и для нас самих, и для других — особенно когда мы не даем себе труда их понимать. В пустыне путникам мерещится не что-либо, а зелень и вода. Мы воображаем себе героев, "чуткого и интеллигентного", сексуального террориста или "таких, каких сейчас уже не бывает". И тоже не просто так. Но все-таки школьно-письменные товары не едят. И потому особенно важно сохранять ясность зрения и мысли именно тогда, когда мы голодны. Особенно в неверном лунном свете...

Всякая сильная потребность ведет к сужению восприятия, его сугубой избирательности: "Голодной куме одно на уме". То, чего не хватает, заполня-

ет мысли, фантазии, сны, так и видится в поведении окружающих... Если потребности отказано в прямом, непосредственном удовлетворении, она найдет способ проявиться косвенно, в крайнем случае “уйдет в подполье”, на подсознательный уровень.

Такая вот с этим “любовным голодом” незадача: налево пойдешь — себя потеряешь, прямо пойдешь — совсем пропадешь, направо — требуется, видите ли, умение видеть в темноте...

Другими словами, в самых ярких “Его” свойствах отражается какая-то область нашей неуверенности или даже несостоятельности. Этому персонажу как бы приписывается то, что для нас является проблемой: молодая женщина, упорно не желающая взрослеть и принимать решения, мечтает о “завоевателе” или “надежной опоре”, а девушка, которой трудно и неловко выражать свои чувства, — о том, “кто поймет без слов”. Когда мы говорим, что “таких на свете нет”, мы одновременно выражаем сожаление и, как ни странно, ставим довольно точный диагноз своей жизненной ситуации: ведь другой человек вообще-то существует не для того, чтобы решать наши проблемы, а сам по себе. Мечты же “о Нем” — это всегда некоторое “если я тебя придумала, стань таким, как я хочу”, как пелось в старом советском шлягере.

Потому-то встреча с “Мужчиной Мечты” — почти наверняка травма или разочарование: только не “он оказался как все”, а реальность близких отношений заставила увидеть живого человека вместо компенсаторной фантастической фигуры. Мы это не заказывали! Нас обманули! И — заряд неприкрытой агрессии по адресу мира, который почему-то не желает удовлетворять наши потребности: не осталось, мол, настоящих мужчин, нет ли у вас другого глобуса? А уж ему-то, родимому, и вовсе каюк: “Я в него вцепилась из того, что было. А потом, что стало, то и закопала”. Вот как нас выдрессировала романтическая традиция.

В защиту женских фантазий “о Нем”, которые есть и будут и, следовательно, тоже зачем-то нужны и полезны, можно сказать следующее. Если к ним относиться со здоровым любопытством, как к проявлению *своих* потребностей, если отчетливо отделять мир грез от реальности и не гостить там слишком подолгу и, наконец, если смотреть на собственные мечты дружелюбно, но с долей иронии, — все в порядке. Всех потребностей в жизни все равно не удовлетворить, и именно с этой точки зрения “мечтать не вредно”.

Хочется дословно привести один рассказ — на самом деле это тоже фрагмент групповой работы, той ее части, когда после действия мы говорим о чувствах и о том, как они связаны с нашим личным опытом. Героиня той работы как раз задавала себе вопрос: почему, ну почему непременно нуж-

но “Его” идеализировать — а самое главное, что потом с этим делать. Ответы, конечно, получались не совсем приятные: от намерения примазаться к совершенствам партнера (раз он так прекрасен, то и я достаточно хороша) до крайне любопытной идеи “предоплаты”: все любовные восторги под этим углом зрения оказывались не более чем приманкой, гуманно подслащенной пилюлей последующей реальности. Понятно, что в этой, как и во всех остальных работах, искался не единственно “верный” ответ-рецепт, а предпринималась смелая попытка исследования собственных мотивов. Потом, как водится, делились своими чувствами, возникшими по ходу “исследования”. Чувств этих было немало — и разных: от зависти до глубокой печали, от умиления до тревоги по поводу собственной “динамики влюбленности”. Опыт восхищения, обожания, идеализации — важный опыт; чем он заканчивается и к чему приходит, еще важнее. Вот что рассказала нам в тот день одна из участниц (ее собственная работа о трудном процессе отпускания взрослых детей была еще впереди).

“Когда ты работала, я все время ловила себя на том, что задерживаю дыхание. Очень уж мне хотелось, чтобы для тебя все не закончилось только горечью, чтобы ты пробилась через все сожаления к своему “моменту истины”. Только в конце я выдохнула, и так хотелось тебя поддержать, почти поздравить. А к моей жизни это, конечно, имеет самое прямое отношение. Есть у меня воспоминания, которыми поделиться очень хочется именно с тобой.

В молодости я точно знала, что компромиссы не для меня, и знала, каков должен быть мужчина моей мечты. Идеал — вы будете смеяться — мой научный руководитель. Ни о каком флирте не было и речи, просто он был “платиновым эталоном”. Умен — не то слово. Джентльмен. В стороне от кафедральных интриг. Настоящему смел — настолько, чтобы не участвовать в постыдной травле верующей лаборантки. Настоящий ученый. Спортсмен. Несколько языков. Внешность, на которую немедленно “делали стойку” женщины любого возраста. И море разлитое мужского шарма. Вы понимаете, о чем я, да?

Я его не просто знала, а имела счастье общаться и быть любимой ученицей. И благодарна своей тогдашней застенчивости за то, что ни разу не сделала ни единой попытки увлечь, привлечь и завлечь. А мой герой был женат трижды, и всегда на очень глупых и красивых куклах. Видимо, это было *для него* идеальным вариантом. И уже вырастив своих детей и прожив жизнь с далеко не идеальным мужем, я понимаю, как мне повезло: ведь это нам, ученикам, досталось самое лучшее, что было в этом человеке. И на той энергетике влюбленности на самом деле воспитывали и растили себя. А все три жены рассказали бы о нем немало

такого, что лично мне слушать совершенно не хочется. Есть такое присловье, что влюбленность — она как ртуть: сжимать в руке нельзя, сквозь пальцы укатится, и нет ее. А сейчас я подумаю, что при постоянном контакте ртуть же еще и токсичная...”

Поведи меня в консерваторию:
Там дают сегодня ораторию,
Знаюки уткнулись в партитуры, —
Много там искусства и культуры.

Поведи в джаз-клуб меня сегодня:
Шумно, дымно там, как в преисподней,
И струится в мареве бессонном
Черный ангел с лунным саксофоном.

Или поведи меня в пивную,
Чтоб потом тащить домой хмельную.
Улыбнись мне над граненой кружкой —
Я в ответ соленой хрустну сушкой.

Дотемна, до детского невроза
Жду тебя, как дедушку Мороза!
Но душа уже подозревает,
Что тебя на свете не бывает.

*Марина Бородицкая.
Зимний вечер*

Как оказывается трудно и как бывает важно не предъявлять, не выставлять своим реальным мужчинам неоплатных счетов за то, что иногда видишь во сне “Его”. Они в наших чрезмерных фантастических ожиданиях неповинны, делают что могут. А сравнения с идеалом не выдержать никому — на то он и идеал. Вы мне, конечно, не поверите, но для большинства из нас просто счастье, что мы никогда Его не встречали. Правда-правда. А если встречали, то он был или несвободен, или категорически недоступен. И слава Богу, все к лучшему в этом лучшем из миров.

Потому что Мужчине Моей Мечты — сокращенно МММ, если вы еще помните эту аббревиатуру, — лучше всего там, в царстве грез и оставаться. Мечтать о Нем — это ведь не то же самое, что просто и без затей увлечься, влюбиться или тем более любить. Тут другое. Превосходные степени и заглавные буквы! Он должен излучать что-то этакое, по сравнению с чем меркнет и становится неинтересным все остальное (остальные). Мы, в свою очередь, должны быть готовы ради него бросить все и следовать за ним на край света. Его внешность, характер, занятия и понятия выше всяческих похвал. Таких просто не бывает! (Иногда еще говорят “сейчас не

бывает”, напоминая тем самым, что человечество вырождается, а Этот как-то чудом сохранился.)

И в самом деле, главное свойство Мужчины Моей Мечты — быть редкостью почти невероятной и недоступной. Во всяком случае, на общем фоне. Все, кто рядом, — не то, типичное не то! Он ли так хорош или фон так плох — неважно, было бы отличное. Он ни-ког-да не бывает всего лишь “улучшенным и дополненным” изданием реально известных мужчин: тогда неинтересно. Отличие должно быть радикальным и заметным невооруженным глазом. И тогда — гром, молния! — “вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот Он”.

“ФОТОРОБОТ” МУЖЧИНЫ МОЕЙ МЕЧТЫ (МММ)

Список этих черт, разумеется, глубоко индивидуален и зависит от личности мечтательницы. Тем не менее, нам на одной субботней группе удалось выделить некоторые общие закономерности. Итак, ОН:

- Не похож на обычных мужчин, с которыми мы учились, работали, ходили на свидания. Обязан от них отличаться, быть “не таким, как они”.
- Не вполне понятен. О Нем известно мало или почти ничего — какой простор для фантазии!
- Не отягощен парочкой родителей, маячащих за каждым обычным мужчиной. Его невозможно представить в роли вечного сына-подростка, говорящего в трубку что-то вроде: “Ну ладно, мам, ну я же сказал...” Он не то чтобы сирота (это уж совсем индийское кино), а скорее супервзрослый. Его можно приручать, но никак не воспитывать.
- Обычно высок. Плечист, худощав; ноги длинные. Имеет право на какую-нибудь милую “особую примету”, но только не смешную. Никаких намеков на животик, никаких кривоватых ног и редящих волос на макушке!
- Окружен аурой сильной и, возможно, опасной энергии (подробно см. дамские романы).
- Что-то умеет делать очень хорошо, желательно — первоклассно (кроме того, понятное дело, чтобы быть первоклассным любовником: необходимо, но не достаточно).
- Любит детей — это если у Вас серьезные намерения.

- Обладает противоречивой личностью, каких в природе не бывает: добр, но тверд; щедр, но деловит; супермен, но с душой институтки и проч.
- В состоянии наконец-то оценить по достоинству — то есть в превосходной степени — Вас (меня, ее), иначе не стоило бы и город городить.
- Не существует в природе.

Главное условие Его появления в мечтах — томление, серия любовных неудач, на самый крайний случай — просто скука. Опытные дамы во все времена снисходительно и даже не без умиления смотрели на грезоподобное состояние дочерей и воспитанниц, зная, что мечтательный туман — необходимая фаза: повздыхает-повздыхает, а там и жизнь свое возьмет.

За исключением одной маловероятной, но все же иногда приключаящейся ситуации: открывается дверь, и Он появляется из своего Зазеркалья во плоти. Что и произошло с одной милой чудачкой, о которой все мы писали сочинения ...дцать лет тому назад. Для женщины это — испытание. Если не катастрофа. Мужчина Мечты соткан, фигурально выражаясь, из материала заказчика, и с реальным человеком имеет совсем немного общего. И не будем утешаться рассуждениями о наивности провинциальной барышни, начитавшейся романов: куда более взрослые, тертые и житейски опытные современницы неуклонно повторяют этот нехитрый маршрут. Пример? Извольте. Голосом Аллы Борисовны: “Ах, какой был мужчина! Ну, настоящий полковник!...” Мягко говоря, отличается все — *кроме* самого механизма идеализации. А уж видеть полковником урку или демоном капризного мальчишку... так ведь и буфетчица из любимой народом песенки — не Татьяна Ларина...

Все симптомы характерного умопомешательства хорошо известны, на них останавливаться не будем. Лечат время и реальность. Если повезет, обходится без хирургии — тогда это только разочарование. Если нет... Шрамы и горечь, часто на всю жизнь. Подозрительность. Пессимизм. Иногда депрессия. Иногда — озлобленность. Иногда — попытки повторить опыт очарованности. (Есть женщины, которые вне состояния слепой влюбленности в очередного Мужчину Своей Мечты как бы и не живут вовсе — так алкоголик влачит какое-нибудь существование от рюмки до рюмки. Помните работу Розы?) Короче, Татьяна Ларина еще хорошо отделалась.

Интересно, что все без исключения помнят сюжет “Евгения Онегина”, но упорно пропускают как несущественную деталь один важнейший поворот в истории “выздоровления” героини. Знаете, о чем я? Нет? Преодолейте привычную тоску при упоминании произведения из школьной программы, дело того стоит. Вспомните: после дуэли бедная девочка остается с разби-

тым сердцем и своей невостребованной любовью, плюс глупая и жуткая история убийства Ленского, плюс жизнь, в которой все по-старому, но только хуже. Где же она излечивается? Где к ней возвращается достоинство, и рассудок, и способность понимать саму себя? *В библиотеке Онегина*. Читая Его любимые книги — сначала, надо полагать, от тоски, а после уже не только. Отслеживая ход его мыслей там, где на полях "отметки резкие ногтей". Тут и только тут она начинает что-то понимать в этом человеке, его вкусах, ценностях, слабостях и прочая. А заодно — понимать, на что она сама полетела, как мотылек на огонь. И у нее возникает критический, взрослый взгляд: "Уж не пародия ли он?" — а с ним уходят и все заглавные буквы и восклицательные знаки. Bravo, Татьяна Дмитриевна! Умница! Поразительно, как много людей, и мужчин, и женщин, именно этого фрагмента романа просто не помнят. Интересно, почему?

Ну да ладно. Оставим в покое пыльную полку с книгами, тем более, что они — вкупе с кино, разумеется, — во многом ответственны за нашу склонность к мечтам о Нем. На прощание расскажу еще одну историю, на сей раз подлинную. История эта о том, как встретила Его бабушка моей бабушки Ольга Ивановна, но на романтический лад лучше не настраиваться.

Итак середина того (уже позапрошлого) века. Глухая российская провинция. Семнадцатилетняя красавица, купеческая дочь Оленька. Жизнь сонная, ленивая, перемен не предполагающая, вот разве что замуж пора...

И вдруг! Городок потрясен новостью! Туда, в муромскую глушь, проводят железную дорогу! (Нам, наверное, представить трудно масштаб этой новости на фоне полного отсутствия каких бы то ни было новостей: это даже с первым полетом человека в космос не сравнить.)

...Первый поезд. На перроне — "весь цвет". Героиня под кружевным зонтиком, сдержанное волнение толпы, предвкушающей небывалое зрелище. Медленно приближается паровоз, которого никто прежде не видел...

...и с подножки лихо спрыгивает та-кой "молодой-интересный", в та-акой красивой форме, с та-ким сверкающим свистком, что — ах! Ясно, он здесь главный! Зван немедленно в лучшие дома, обхождение столичное, что и говорить... Куда до него местным молодым людям! Медведи-с!

Короче, голубоглазая дурочка увидела Мужчину Своей Мечты и очень быстро оказалась обручена — ах, какой пассаж! — со скромным, хотя и подающим надежды служащим Московской железной дороги. (Впоследствии он дослужился аж до диспетчера, явив талант к составлению сложных и продуманных расписаний. Но мечты Оленьки были разбиты навсегда, и карьерой толкового, способного и не лишённого оригинальности мужа она так и не заинтересовалась.) А пока: папенька, в ярости, лишил приданого. Ма-

менька поплакала, да и простила, отправила в Москву тайком от мужа воз-
другой (!) с “самым необходимым”. А красавица всю последующую жизнь
горько обижалась на мужа за обман. Знал ли он, что в глухом городке сроду
не видывали ни железнодорожной формы, ни живого кондуктора? Очарован
голубоглазой дурочкой — да, был, а заподозрил ли недоразумение — кто знает...
Никого из этих людей уже давно нет на свете. Вот так, мои дорогие...
Между тем, если бы не эта “комедия положений”, вашей покорной слуги бы
и на свете не было. Но это я так, к слову.

Мечты, как говорили древние, имеют одно опасное свойство — иногда они
сбываются.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Смысл жизни младше жизни
лет на тридцать — тридцать пять.
Полагается полжизни
ничего не понимать.
А потом понять так много
за каких-нибудь полдня,
что понадобится Богу
вечность — выслушать меня.

Вера Павлова

Что можно добавить ко всему, что уже сказано, сыграно, снято и написано про великое чувство — то самое, которое рифмуется с “кровь, морковь”? Разве что относительно свежую, хотя тоже не вчера придуманную мысль... А именно: то, как мы любим других людей, а они нас, напрямую связано с нашим самоотношением, самооценкой — короче, с тем, насколько мы способны любить и уважать себя самих. Конечно, связано. Любой уважающий себя “душевед” — психолог, психотерапевт — вам скажет, что женщина, которая по-настоящему не любит себя, не может и других любить как следует. И уж само собой, вызывать к себе любовь ей тоже бывает трудно; в поведении, в манере общаться как будто написано, что недостойна, а окружающие склонны верить такого рода “надписям”. И что же?

Разве задавая психологам вопросы “про любовь”, люди хотят узнать — понять — что-то о себе самих? Или о своих любимых, будь то мужчины, женщины или дети? Да нет, пожалуй. Скорее, подтвердить “по науке” какое-нибудь уже сложившееся убеждение. Или утешиться тем, что доводящая до бешенства привязанность мужа к его мамочке не уникальная, а очень даже классическая, эдипов комплекс. Или просто в какой-то очередной раз поверить, что все “кончится хорошо” и любви хватит всем. Или вызнать какие-нибудь “приемчики”, якобы гарантирующие успех в любовной лотерее. А вот уж чего эти люди — между прочим, сплошь женщины — совер-

шенно не хотят, так это задуматься о своей самооценке, понять, какие ожидания в отношениях реалистичны, а какие нет, или тем более посмотреть на ситуацию его глазами, или увидеть собственные ошибки и разобраться в их причинах. Что-то в разговорах о том, как вместо любви можно получить внятное представление о причинах ее отсутствия, не вдохновляет. Воля ваша, есть в этом что-то похожее на “сама дура”.

Возможно, дело еще и в море разлитом популярной психологической литературы: обложки и заголовки так и призывают “простить себя”, “полюбить себя”, “изменить себя” — наряду с предложениями “очистить организм чесноком”. Серьезная — до страшного — мысль на наших глазах становится банальностью из разряда “просто добавь воды”. То, что может быть только добыто своими руками в ходе долгого и порой мучительного путешествия в собственный внутренний мир, стало походить на готовый продукт быстрого приготовления. Достаточно встать перед зеркалом, улыбнуться и сказать десять раз: “Я люблю и принимаю себя”, — как демоны рассеются, покой снизойдет и все будут жить долго и счастливо. Как говорил Станиславский на репетициях: “Не верю!”.

Нет, разумеется, это гораздо лучше, чем стоять перед зеркалом и крыть себя на чем свет стоит. Но, похоже, быстрозамороженное волшебство часто не срабатывает, а универсальная рекомендация уплывает в те же туманные дали, куда ушли некогда столь же популярные советы “взять себя в руки” или “дышать носом”. Более того, на групповых занятиях или во время индивидуальных консультаций все чаще можно услышать примерно следующее: “Я знаю, что себя надо любить. Но что же делать, если не получается? Почему у меня не получается, ведь это должно быть просто? Со мной что-то не так?”. И мудрый совет становится всего лишь еще одной ловушкой, очередным “надо”. А согласитесь, что всяких “надо” и “должна” в жизни большинства женщин и так предостаточно, от неисполненных же обязательств можно ждать чего угодно, но не помощи. Как ни обидно, собственного опыта со всеми вытекающими отсюда трудами и набиванием шишек все равно не избежать. И когда мы присоединяемся к утверждению “Я у себя одна!”, — мы признаем, кроме всего прочего, что разбираться со всеми своими потребностями, чувствами и отношениями придется самой. И учиться себя беречь, защищать, уважать, любить — тоже самой. Возможно, с помощью других — но самой.

А уж раз речь зашла о “других”... Может быть, как раз по сравнению с “просто любовью” — все равно к кому, к мужчине, ребенку, да хоть собаке — можно что-нибудь понять про эту самую загадочную “любовь к себе”, от нехватки которой, говорят, все наши беды. Все существенные признаки упомянуть не берусь, обобщения в этой трепетной сфере дело вообще коварное, но кое-что сомнений не вызывает. Итак, если мы кого-то любим...

Мы не ставим условий и не угрожаем: не сделаешь чего-то — любить не буду. Все учебники дошкольной педагогики полны предупреждений: не угрожайте лишением любви, хуже будет! Будет, будет. Проверено. Возможно, и во взрослых отношениях тезис "любишь — докажи" прямо восходит к детскому опыту вымогания, зарабатывания любви. Место этим торгам — на рекламном щите ювелирной фирмы (там такая дамочка, уперев когтистую ручку в крутое бедро, вторую протягивает за бриллиантовым колье). Вообще-то когда — и если — мы кого-то любим, ему не приходится это зарабатывать. Долгая или короткая, но уж коли она есть — она надежна. И большинство из нас прекрасно чувствует разницу между подарком и взяткой, нормальной критикой и шантажом.

Но не предъявляем ли мы неоплатных счетов *к себе*? Не слишком ли зависит наша самооценка от внешних успехов, от достижений, в конце концов — от сиюминутного отношения других людей? Боюсь, что очень часто наша "любовь к себе" слишком уязвима, съезживается от малейшего неуспеха... Продолжим сравнения: на этот раз речь пойдет как раз о них.

То есть о том, что свое любимое существо мы принимаем целиком — зная, конечно, и о недостатках, и о слабостях. Когда наш "друг человека" в потемках весеннего двора тащит с помойки какую-то тухлятину, вмиг забыв все команды, мы орем строжайшим из свирепых голосов, — но не начинаем же к нему иначе относиться! Когда умный и ироничный муж пятнадцать минут вертится перед зеркалом, рассматривая в профиль намек на животик и принимая мужественные позы, мы вполне можем не сдержаться и съязвить, — но разве эта смехотворная частность (или *две частности*) может изменить суть отношений? Когда ребенок, безумно нас этим раздражая, начинает комментировать обед *голосом свекрови*, желание надеть ему на голову кастрюлю становится все сильнее... но... Они не идеальны, но любимы: этим сказано все. Они могут объективно быть ниже, толще, слабее, ленивее или брехливее кого-то там. Но те — не они. А мы любим — их: "Не по хорошему мил, а по милому хорош". Но почему-то ничто не мешает нам изводить себя, бедную, сравнениями "не в пользу": с подругой, с родной мамой, с любовницей мужа, с каким-нибудь эталоном из головы. Минуты острого недовольства собой бывают очень даже продуктивны, иногда с них начинаются настоящие изменения, но эти изменения имеют смысл тогда и только тогда, когда они свои, не "по сравнению", а по логике и потребностям собственного развития. Кстати, о развитии...

Мы обычно заботимся об истинных потребностях своих любимых — ну, во всяком случае, пытаемся, хотя это не всегда легко. То есть заглядываем в их будущее, заинтересованы в раскрытии их потенциала, а сиюминутным и тем более бесполезным для них капризом можем и пренебречь — даже рискуя вызвать недовольство. Проще говоря, не дадим ребенку тре-

тье по счету пирожное, чтобы только ублажить, но обязательно научим плавать и читать. Будем обсуждать со спутником жизни интересное для него профессиональное предложение, его “зону роста”, но дозу беззастенчивой лести все-таки разумно отмерим или “закавычим” иронической интонацией; старинный дамский рецепт “восхищаться всем, что бы он ни...”, — не образец настоящей заинтересованности и любви, а всего лишь пример незатейливой манипуляции. Это из другой оперы — про тайную борьбу за власть и влияние, про надежду с дальним прицелом “подсадить” на свое якобы обожание.

Вернемся к себе. Как мы поступаем с собой? В лучшем случае — балуем, но как редко по-настоящему растим: плохое настроение — значит, надо что-то купить (а потом жалеть или быстренько забыть про эту связь “обидели — потратилась”). Или вот еще пример, на этот раз из жизни успешной женщины-профессионала: “Я понимаю, что начала тупеть на этой работе, что она меня прессует, выкачивает из меня все соки. Разумно было бы использовать ее, чтобы повысить квалификацию, и быстро уходить. Но каждый раз так жалко упустить контракт — это как наркотик. А уж если коллеги завидуют, то выпустить из рук просто выше моих сил. А ведь по серьезному счету, это в ущерб себе”.

Как правило, мы пытаемся уделять тем, кого любим, внимание и время; вникаем в их проблемы, внимательно выслушиваем — даже немного терпим: “Что-то случилось? Давай поговорим. Мне кажется, что ты чем-то озабочен”. Если с нами не готовы разговаривать, мы отступаем, делаем паузу и внимательно присматриваемся: что происходит, лучше подождать и не дергать или все-таки попробовать еще раз разговорить, не чужой же человек! Даже чудаковатые владелицы многочисленных кошек сразу замечают оттенки настроения и самочувствия какой-нибудь Кусечки: та сегодня совершенно не мурлычет, грустная, и шерстка не блестит! В отношении себя самих мы сплошь и рядом пропускаем те моменты, когда жизненно необходимо задать себе те же самые вопросы: “Что-то случилось?” — и даже предложить себе “поговорить”.

В женских группах не однажды я слышала о своеобразном симптоме невнимания к себе: первые признаки серьезной перемены состояния — от пневмонии до беременности — вообще не отмечаются сознанием: “как-то мне было не до себя”. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, большинство женщин вполне вовремя обращают внимание на то, что “шерстка не блестит” — это наша “встроенная” установка поглядывать на себя глазами внешнего наблюдателя; зрелище должно быть приятно глазу, а уж грустная “Кусечка” или веселая на самом деле, наблюдателю без разницы, на то он и чужой. Получается, что к себе мы относимся хуже, чем к кошке. Ой-ой-ой... А ответственные встречи и “плановые” перегруз-

ки, то и дело попадающие на первый день месячных? На но-шпе и волевым усилием, по возможности не кашляя и не делая резких движений, проклиная собственную "забывчивость" — да ладно, какая там забывчивость, просто себя и свое единственное тело привыкли *не учитывать*, не считать чем-то важным. Одной девочке, когда она жаловалась, что где-то болит, бабушка говорила: "Ниночка, это тебе только кажется. Это все глупости, *на самом деле* у тебя ничего не болит". На мой взгляд, совершенно блестящий пример сценария недоверия к собственным ощущениям: даже больно мне или нет, я сама узнать не могу; это все мне только кажется. А уж остановиться на бегу, сосредоточиться и задать себе вопросы о собственном настроении, чувствах, желаниях, планах на жизнь...

А когда у наших любимых что-то получается, мы радуемся, щедры на похвалу; неизбежные же неудачи и кризисы стараемся для них смягчить: ты обязательно научишься рисовать лошадь (прыгать через скакалку, водить машину, летать на дельтаплане)! Все образуется, давай подумаем, как это можно сделать легче и эффективней; это всего лишь контрольная, ты же можешь, ты очень продвинулся, у тебя получается все лучше и лучше, молодец! Вот хорошо бы так относиться и к собственным победам и поражениям — будь то работа, отношения с людьми или материнство... Большинство из нас в детстве хвалили мало и как-то вообще: мол, "хорошая девочка". Учиться хвалить, поддерживать, подбадривать и мотивировать приходилось уже в собственной взрослой жизни: кое-что прочитали, за чем-то смогли понаблюдать. Подруги, родственники, мужчины, коллеги, дети, собаки — чем больше живых существ нам доводилось искренне любить, тем лучше мы знаем, как это делается.

Вот только до себя у очень многих руки так и не дошли. Хорошо еще, если наши любимые нам отвечали взаимностью — тогда мы получали поддержку, принятие и другие жизненно важные "витамины". Даже не считающаяся самой важной — но зато самая гарантированная! — любовь собак, кошек и попугайчиков содержит в себе главное "сообщение" эмоционального контакта: "Ты есть, ты важна для меня, как хорошо, что ты пришла". Какая-то западная писательница вскользь заметила: "Разве недостаточно знать, что хотя бы одному существу на свете нравится то, что вы делаете и как вы это делаете? И кто же это существо, как не кошка?" Всякий, кто держал и любил зверей, прекрасно понимает, что не только еда и крыша нужна им от нас, а уж нам от них практической пользы почти никакой (если только вы не заводчик и не собачий парикмахер). Но всякий, кто считает эти отношения несущественными, просто их не знал. Заводя "бесполезную" городскую скотинку, мы получаем, хотя и не одновременно, сразу два важных явления: любовь и утрату, и чем больше любви, тем больнее отзываются страдания, немощь и смерть тех, кто первым слышал и узнавал наши шаги на лестнице. Незатейливая, простая радость и такая же ничем не прикрашенная боль —

опыт, который многие из нас в чистом виде получают именно благодаря животным, хоть и “нельзя поместить всю свою привязанность в собаку”.

В человеческих отношениях все раз в двести сложнее, и даже самые искренние и горячие привязанности поворачиваются порой темными, пугающими гранями, порой трансформируются до неузнаваемости, проходят свои фазы развития и кризисы. Если отношение к себе самой слишком зависит от того, изменил или не изменил “он”, нагрубил или не нагрубил дочь, разочаровались или не разочаровались родители, мы оказываемся в положении заложников, теряем почву под ногами и уверенность в себе. Отсюда полшага до того, чтобы начать улаживать, угрожать, подкупать, играть на чем-то чувстве долга, вымогать, упрекать. Во-первых, все равно это обычно бесполезно, а во-вторых, разрушает личность. Рано или поздно мы встаем перед выбором: искать и ждать совершенных отношений, завоуженно, как Девочка со спичками, глядеть на чье-то тепло и свет, куда нас пускают или не пускают, — или отвлечься от соблазнительной картины, ощутить свои затекшие ноги, встать, начать двигаться, согреться самой... И, возможно, даже добыть дровишек и развести огонь, у которого найдется место другим.

Вот три истории — конечно, они не только о любви, хотя и о ней тоже. Их героини хотели что-то понять и изменить как раз в той области своей жизни, которая считается для женщины самой важной. Их отличие от тысяч “читательниц колонки психолога” состояло в том, что они пришли не получить совет, а работать. И в этих работах — как и во многих других — была та степень внутренней честности, интереса и внимания к своим чувствам, которая всегда находит отклик и поддержку в женских группах. Тем более если тема так или иначе связана с любовью. Если вдуматься — а что с ней не связано в этом мире?

ИСТОРИЯ НЕЛЮБИМОЙ ХРЮШКИ

Выживать — значит рождаться снова и снова.

Эрика Джонс

Когда случалось нам на группе подольше задержаться на Василисиной сказке, иногда возникали совершенно неожиданные вопросы: почему куколку, завещанную героине умирающей матерью, нужно было кормить: “На, куколка, покушай, моего горя послушай”? Почему глаза этой куклолки загорались, как две свечки? Не привет ли это от не единожды упомянутого черепа? Уж не в родстве ли они — магические подарочки двух, так сказать,

матерей? Почему Баба-яга такая прожорливая — в сказке это явно подчеркнуто, там "кушанья было настряпано человек на десять"? Кларисса Пинкола Эстес отвечает так:

"Прежде чем стряпать на Ягу, мы должны спросить себя: какой частью души питается столь дикая богиня? [...] Ягу нужно кормить. Если она останется голодной, вам не поздоровится"*.

Красиво сказано, правда? И вспоминается одна работа, в которой вот такое непрямого, поэтического смысла оказалось на целый пир всей группе. И хотя работа была вовсе не об инициации, интуиции, дикой богине и прочих возвышенных предметах, но моя собственная интуиция и, смею предположить, дикая богиня настойчиво подталкивают связать этот пир и ту сказочную "кормежку". И вот как это было.

Героиня, Татьяна, вызвалась поработать со своим перееданием: "Все знаю, все понимаю, и все равно жру. Хочу зарезать свою внутреннюю хрюшку". Уже по этой формулировке легко предположить — и не ошибиться, — что Татьяне хорошо знакома идея частей: говорят же о "внутреннем ребенке", нашей детской части, так что же мешает быть и внутренним "львам, орлам и куропаткам"? Какой образ пришел в голову — там и горячо, там личный язык говорящего. Группы обычно готовы следовать в историю участницы и на символическом, и на буквальном, и на любом другом языке. На тему переедания работы бывают самые разные: в одних оживает Холодильник, в других — Калории, так почему бы и не Хрюшка? Однако же намерение *зарезать* это существо меня, прямо скажем, озадачило: я точно знаю, что расправа с собственными частями, даже просто попытка их игнорировать — например, не "кормить" — ведет не к внутреннему миру и целостности, а к конфликту, а то и к беде. Да, но героиня-то хочет именно этого! Или все-таки не совсем? Пытаюсь это выяснить:

- Хочу зарезать свою внутреннюю Хрюшку...
- И все-таки, где мы с ней встретимся? На ферме, где их для того и держат, чтобы зарезать? Или, скажем, в зоопарке, где зверей рассматривают, изучают и где можно понять, кто она тебе?
- Да, пожалуй, все-таки в зоопарке — надо же хоть познакомиться. Насчет "зарезать" я еще подумую.
- И что же может стать результатом твоей работы?
- Понять, какая она, чего ей надо, почему она действует против моих интересов. Может, какой-то способ контроля найдется и без резни.

* Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. — Киев: София, 2000. С. 102.

Это правда: искушение разделаться, избавиться, “зарезать” какую-нибудь свою нелюбимую часть бывает велико, но поддаваться ему не стоит. Татьяна это чувствует. Или, возможно, понимает. Если бы она не выбрала зоопарк, я предпринимала бы новые попытки оставить Хрюшке шанс: возможно, мы дошли бы и до логического конца: а что бы было, если и впрямь от нее избавиться? Уверяю вас, обязательно бы оказалось, что ничего хорошего. С самыми мрачными, уродливыми, неприемлемыми сторонами себя самой все равно приходится знакомиться, мириться и договариваться. Это, в общем-то, и есть пресловутое “принятие себя”: можно так и не полюбить свою внутреннюю Стерву, Ленивую Лахудру, Плаксу, Снежную Королеву, но знать их, понимать их потребности и слышать голоса для взрослой женщины необходимо.

Между прочим, именно они, наши нелюбимые, тщательно скрываемые даже от себя, часто могут рассказать нам такую острую, жизненно важную правду, какую не скажут более “ручные” части или роли. Неуправляемое поведение — хотя бы то же переедание — это всегда знак какого-то внутреннего разлада. Хрюшка за что-то берет реванш: вечером, когда контроль слабеет, когда усталая и голодная Татьяна добредает до дома. Да и сам запрос был не на тему избыточного веса, а о чем-то другом. За “понятными” темами всегда что-то прячется. О чем же эта история, что скрывалось на этот раз за такой знакомой многим жалобой: “Все знаю, все понимаю, а все равно жру”? Посмотрим.

— Таня, давай увидим, кто еще есть в твоём зоопарке.

И мы познакомились, то есть Татьяна определила место, выбрала на роли людей из группы, поменялась с каждым из персонажей ролями, озвучила монологи Жирафа, Коалы и Слона. (Согласитесь, это был зоопарк с неплохой коллекцией тропических животных.) Жираф гордился тем, что все видит сверху и не очень интересуется тем, что происходит на земле, — будь то посетители, сама “владелица” зоопарка Татьяна или другие звери. Коала вообще не стремился к общению, но предупредил о своих острых когтях и обманчиво плюшевой внешности. Слон, как и положено мифологическому, сказочно-басенному Слону, был мудр и велик и попенял Тане за то, что она недостаточно прислушивается к его мудрости: “Приходится каждый раз трубить тебе прямо в ухо: бу-у!” А вот и Хрюшка, совсем неуместная в этой экзотической компании, слишком обычная, неинтересная. Как и следовало ожидать, характер у Хрюшки оказался не сахар — у большинства нелюбимых частей он нелегкий, а вы как думали? Когда тебя отвергают, не слышат, да еще и зарезать грозят, у кого от такой жизни улучшатся манеры и возникнут теплые чувства к миру? Вот с какой Хрюшкой мы познакомились: она сначала села кулем, враскоряку, а потом и вовсе плюхнулась на пол своей клетки задом ко всему свету:

- Ну, свинья я. Че, не видишь? Живу тут. Ем. Эти все о себе воображают. Люди ходят, пялятся. А я вот им назло задницей повернусь, в дерьме поваляюсь, хрюкну и еще больше жру. Поят, надоест, свалят. И черт с ними. Раздражают они меня, вот что. Чего приперлись? Да, я тупая, упертая и злая. Трескаю все подряд — меня выпусти, я и ребеночка сожрать могу, мне без разницы. Ничего не хочу. Ничего не интересно. Все жиром заплыло.

Душка, правда? И как обычно и бывает, это далеко не вся правда. Мы — и я, и сама Таня, и группа — пока еще не прошли испытание: приближаясь к нелюбимой части, всегда рискуешь получить пинок, шипение разъяренной змеюки или шматок грязи из лужи. Это ее привычный способ реагировать на отвержение, а ничего другого она и не ждет. Терпение — и мы узнаем чуть больше. Татьяна смотрит на свою Хрюшку в исполнении другой участницы и вдруг спохватывается:

- Ой, есть еще один зверь. Это Волчица. Вот здесь, напротив Хрюшки. Ее клетка не заперта, она ходит на охоту в лес и даже, кажется, там живет. Там живет, а здесь бывает. Волчица будет... Инна.
- А что Волчица говорит другим? Поменяйся с ней ролями.
- Жираф для меня высоковат, Коала может меня интересовать только если свалится, Слон — это вообще не мой масштаб. *(К Хрюшке.)* А за тобой я приду. Когда-нибудь, когда время настанет. Я поджарая, деловая Волчица. У меня в лесу в логове волчата, мне их кормить надо. Я рыскаю целыми днями, мне не до тебя. Ты — корм для моих детей на всякий случай, на черный день. *(Обмен ролями, Таня в роли Хрюшки слушает Волчицу и отвечает.)*
- А я все равно ничего не чувствую, даже не боюсь тебя. Корм так корм. Я и есть корм, тупая и покорная. Я даже сопротивляться не буду, подставлю жирную шею — вот так, чтоб уж побыстрей. Жертва я по жизни, тупая и противная. Мне и себя-то не жалко. Так мне и надо. Я знаю, что когда-нибудь ты за мной придешь. Корм так корм. На что я еще гожусь-то?

Таня смотрит на странный, даже несколько зловещий диалог своих частей — неопрятной и не вызывающей сочувствия жертвы и по-деловому равнодушного хищника-агрессора. И вместе с ней мы видим, что эти два зверя явно отличаются от первых трех: и фон их жизни к нам поближе, и речи хоть и непонятны, но заряжены какой-то тоской, полны намеков... Между ними действительно что-то есть: притяжение, подтекст, давнее знакомство. И обе они — *самки*. И явно что-то значат эти зеркальные упоминания: "ребеночка сожрать" — "детей кормить". У этих двух есть история,

в их монологах появляется время. Сейчас что-то “шелкнет”, замкнется и произойдет. Обязательно, раз повеяло не просто навозом и кровящей, а тоской и тайной. Смыслом...

- Слушая Хрюшку, я вдруг вспомнила того веселого, безбашенного поросенка, которым она была. Давно не вспоминала.
- Познакомимся с ним? Стань Поросенком. История Хрюшки, действие второе. Где мы?
- Мы в лесу. Я дикий поросенок. Резвый, жилистый, с большой башкой и тощим задом. Я полосатый, щетинистый, шустрый, веселый. У меня чуткий пяточок, и я всюду сую свой нос.
- Ты любопытный?
- Я не любопытный, я — любознательный!

Во время всего этого диалога мы на четвереньках — буквально, рискуя колготками — довольно быстро обегает “мир Поросенка” в стороне от застывшей сцены Зоопарка. Конечно, дикий лес, где живет дикий Поросенок, — это другое пространство. Там есть опасности — хищники, охотники, но все интересно и разнообразно; это место жизни и развития, а не заточения. Поросенок “носит” покровительственную окраску, этакое дитя в камуфляже; он создан для такого леса и образа жизни. Голова в этом образе жизни явно занимает не последнее место. Обратим внимание: “предок” Хрюшки отличается от нее не только мастью, характером и комплекцией, но и полом. Поросенок, конечно же, мальчик. Шустрый, себе на уме, активный и очень цельный, духом и телом крепкий, ладненький. “Счастливый внутренний ребенок”, как сказали бы некоторые мои коллеги, и я соглашусь.

- Поросенок, что есть в твоём лесу? Куда ты суешь свой любознательный нос?
- Так, здесь лисы. Нора вонючая, на то и лисы. Курицу жрут. Дальше. Медведи опять детей делают. Это я уже видел, дальше. Ну, тут змеи — с ними лучше не связываться. Они мне ничего сделать не могут, но у меня с ними мало общего. Сегодня в моем лесу ничего особенно нового, все занимаются своими делами, и я тоже.
- А “твои дела” — это что?
- Видеть, бегать, приноживаться, узнавать, жить, расти.
- А ты боишься волков или, может, охотников?

- Я осторожный, у меня нюх хороший. Если что — убегу к своим.
- Кем ты станешь, когда вырастешь?
- Кабаном, как папа с мамой.

И Поросенок тут же вырос. Мы распрямылись и еще раз обошли "его поляну".

- Я могучий, литой зверь. Никого не трогаю сам, но и меня никто не трогает. Я все здесь знаю, понимаю свои границы. Хозяин.
- С кем ты встречаешься в этом лесу?
- Да вот с Волчицей. Мы не враги, мы соседи. Привет, серая.
- Привет. Ну, как у тебя дела?
- Да все путем. А твои как?
- Растут помаленьку. Я на твою территорию не посягаю, так, мимо пробегала. Дай, думаю, поздороваюсь с соседом.
- Да и я к тебе не ломлюсь, мне своих полян хватает.
- Ну ладно, побегу. Приятно было повидаться.
- Давай. Пока.

Я предложила Волчице и Кабану (разумеется, весь их диалог задан Татьяной через обмен ролями, это же ее личные "внутренние звери") обменяться каким-нибудь ритуальным жестом, которым они, как правило, здороваются и прощаются. Мы же все понимаем, что это не обычные животные, почему бы им не иметь своих традиций и этикета? На эту мысль меня навело то, как они стоят во время разговора: очень достойно, красиво, несколько официально — так на дипломатическом приеме могут держаться "очень важные персоны" равного статуса. И Секач с Волчицей обмениваются затейливыми мушкетерскими поклонами, неизвестно откуда взявшимися в этом "диком, диком лесу". Волчица удаляется. А я спрашиваю у Секача:

- Что ты скажешь Тане, хозяйке зоопарка? Давай-ка туда заглянем. (В роли Тани все это время оставалась исполнительница роли Хрюшки — Хрюшка-то превратилась в Поросенка, а потом и в Секача уже после обмена ролями. Зоопарк остался таким, каким и был — только Хрюшкина клетка пустая. И вот что сказал Секач.)
- Здесь надо сломать клетки. Особенно вот эту. Не нравится она мне. (Догадываетесь, какая клетка особенно не нравится Секачу? Обмен ролями; Таня, уже как Таня, обращается к Секачу, в которо-

го, естественно, с превеликим удовольствием перевоплощается исполнительница роли Хрюшки):

— Покажи, как это сделать.

— Показать? Легко!

Клетку у нас обозначает, естественно, наш обычный многофункциональный стул — серенький такой, складной. Секач, поигрывая могучими мышцами, — а сама Таня, надо заметить, женщина стройная и крепкая, сложена прекрасно, и не как нынешние фотомодели, а примерно как голливудские звезды пятидесятых, “все при ней” — подходит к клетке. К той самой, где в “первом действии” валялась в луже нелюбимая и беспомощная Хрюшка. Грозно так подходит, но сдержанно; примеривается... и ка-ак швырнет этот ненавистный стул о дальнюю свободную стенку! Кто-то из аудитории аж пискнул — не от страха, а от восторга.

— Вот так, примерно. Еще показать?

И мы повторяем это и второй, и третий раз — да так, что стул пару раз крутанулся в воздухе. Поменялись ролями — понятно, что ломать клетку было сподручнее из роли Секача — и Таня, уже сама от себя, говорит:

— Я бы хотела, чтобы они все вместе, синхронно и слаженно сломали все клетки! И эту — еще разочек, только медленней. И все вместе.

Что звери и сделали. Секач, Волчица, Слон, Жираф и Коала. Уже без грохота и больших усилий, зато вместе, синхронно и красиво. И мы догадываемся, что речь идет о воссоединении изолированных частей, о превращении “зверинца” в какую-то более естественную среду, где у каждого есть свои права и границы.

Когда группа делилась с Татьяной чувствами, возникавшими по ходу ее работы, было сказано много важных вещей, в самой работе оставшихся “в подтексте”. Например, об опыте саморазрушения — скверной едой или идиотскими же диетами, трудовоголическими подвигами или жизнью с ежедневно унижающим партнером. Например, о своих внутренних Жертве и Агрессоре — у кого же их нет? — и о том, откуда они взялись именно такие; что называется, кто научил. О контакте со своей детской или подростковой — особенно подростковой — частью; о нежелании быть женщиной именно в этот период. О том, что некоторых из нас материнство — одобряемая, “санкционированная” обществом роль — примиряет с нелюбимыми, неприемлемыми аспектами женской жизни, словно дает разрешение быть женщиной... Но “почему-то” как раз в этой роли мы порой становимся агрессивны, *поедом едим* себя и других. О непростых отноше-

ниях с менструальным циклом, чувстве брезгливости и страха перед нормальным функционированием своего тела — и вновь о том, откуда такое немилосердное отношение к своей женской природе, где и от кого мы набрались представлений о "грязной" телесной сущности. О депрессии, когда хочется повернуться спиной ко всему миру. О спасительной любознательности. Об отношении к внутренней мужской части — если бывает "внутренний ребенок", то как же без "внутреннего мужчины"? В общем, о важных и разных вещах.

Как и любая другая, эта работа могла повернуть совсем в другом направлении: не появившись яркий образ дикого Поросенка, я все равно спросила бы, давно ли Хрюшка сидит в клетке и как она туда попала; "детская" тематика от нас никуда бы не делась. А может быть, мы вышли бы на прямой разговор пленницы и самой Татьяны — наверняка им нашлось бы, что сказать друг другу. Когда мы разыгрываем наши истории, "ключ" не столько в теориях и интерпретациях, сколько в реакциях, спонтанно возникающих чувствах и ассоциациях героини: холодно... теплее... горячо, вот оно! Могло быть пять других историй, но родилась все-таки эта. Между прочим, неповторимость процесса — часть его ценности: мы же все понимаем, что в другой группе или в другой день Татьяна рассказала бы другую сказку — и в ней тоже была бы своя правда. Но в этот раз все получилось на одном дыхании — с одышливым трудным вдохом и резким взрывным выдохом. Вся работа заняла меньше часа, нас в тот день ждали еще четыре.

Может, мне бы и хотелось сказать, что "с тех пор они жили счастливо", а Таня питается одними полезными продуктами и больше не нуждается в "вечернем жоре", но... не скажу. Во-первых, я этого просто не знаю, поскольку работа из недавних, а жизнь продолжается. А во-вторых... Сама Татьяна в конце дня сказала:

— Для меня это была история не про еду, а про право на жизнь. Вот даже так.

Но разве бывают истории просто про еду? Конечно, нет. Во всяком случае, в нашей работе. Желание *увидеть больше* — вот что приводит в группу самых разных женщин, это наш "общий знаменатель". Те, кто настроен решать проблемы в том виде, в каком они обнаружили, ищут других способов. Есть таблетки для снижения аппетита, есть аналогичные "таблетки" для всего на свете — они гораздо популярнее, их много, о них легче рассказывать знакомым. Обсуждать новую диету или любое другое принятое средство можно без особых усилий и почти с кем угодно. Обсуждать свою работу в группе, несмотря на то, что при ней присутствовали и в ней участвовали другие люди, — почти невозможно. Или незачем. Не все пути ведут в темный лес. Туда обычно отправляются либо те, кто искушен в таких

путешествиях и знаком с их возможностями, либо те, кому именно сейчас туда почему-то очень нужно попасть. *До зарезу...*

ИСТОРИЯ ВАРИНОГО ВЕЕРА

Ни слова о любви!
Но я о ней — ни слова...
Белла Ахмадуллина

Варя — очень красивая молодая женщина. Второй брак, второе высшее образование, неброская грация в каждом движении, светящийся в глазах ум и то, что англичане без обиняков называют “породой”. В группах таких женщин выбирают на роли благородных героинь, волшебниц и загадочных соперниц. Чувствуется некоторый отзвук строгого воспитания на кавказский манер, склонность промолчать, отвести глаза, сдержаться — возможно, себе во вред. Собственно, и тема ее работы — невозможность выразить чувства.

Вредная приставала-ведущая, то есть ваша покорная слуга: Что, любые?

Варя (глядя в сторону): Ну, лирические.

Ведущая: Это какие?

Варя: Ну, любви (*краснеет*). Я встречаюсь с одним человеком, у него семья, у меня семья, я ничего не хочу разрушать, но почему я сказать-то ему не могу? Сразу ком в горле, как будто душит.

Ведущая: Что бы могло быть для тебя результатом твоей работы?

Варя: Понять, что душит. С любовью я, может, и сама разберусь. Есть две меня — одна на публике, где я остроумна, общительна, душа компании. Он, между прочим, тоже. И есть я придушенная, слова сказать не могу...

Ведущая: Давай посмотрим, как это. Где будешь ты — Блестящая, Душа компании?

Варя: Вот здесь. Я свободна, защищена, как будто у меня есть... не знаю, ширма? Маска?.. Большой веер!

Ведущая: Кто мог бы сейчас стать твоим Веером? (*Варя выбирает из группы Веер, меняется ролями.*)

Варя (в роли Веера обращается к воображаемой публике): На мне столько всего нарисовано, я переливаюсь, играю. Смотрите все, какие мы красивые, разные, подвижные!

Ведущая: Веер, скажи своей хозяйке, что у тебя с изнанки.

"Веер" (поворачиваясь к "Варе"): Я защищаю тебя. Без меня ты беспомощна, тебе страшно. Я с тобой много лет.

Ведущая: Давай увидим, что же без него — когда хочется сказать о важных для тебя чувствах, но не получается.

Варя меняется ролями, вновь становясь самой собой. Исполнительница роли Веера остается там, где шумно и "все в порядке", а сама Варя делает шаг в сторону — там в нашей условной реальности предполагается свидание с "человеком, которому не получается сказать...".

Варя: Здесь я как голая. Ужасно. Вот уже и ком в горле.

Ведущая: Выбери кого-нибудь на роль этого ощущения, поменяйся с ним ролями.

Наша героиня в роли Кома в горле заходит за спину "Вари" и резким движением захватывает ее сзади за шею:

"Ком": Молчи, а то хуже будет.

(Кто-то из группы не выдерживает, охает: "Как насильник в подворотне!". Меняются ролями, повтор.)

Ведущая: Варя, это было с тобой раньше?

Варя: Да. Это первый муж. Так просто, оказывается!

Комок в горле превращается в Первого Мужа и получает новые, только что вспомнившиеся тексты, как-то:

Варя (в роли Первого Мужа): Молчи, овца. Молчи, а то хуже будет. Нечего тебе встречаться с подругами, все бабы сволочи и проститутки. Молчать, говорю!

"От себя" она ничего не может ответить, полностью раздавлена, парализована и действительно опускается на колени, зажимая уши руками. По мизансцене похоже на оральное изнасилование, по словесной ассоциации — конечно же, "молчание агнят". Группа в ужасе: женщины очень болезненно переживают момент встречи с "жертвой в себе", а кто из нас никогда не бывал в этом состоянии?

Ведущая: Варя, кто мог бы помочь?

Варя: Никто не поможет. Я должна справиться сама.

Ведущая: Да, но сейчас ты у кого-то можешь взять силы, чтобы противостоять, победить.

Варя: Не знаю. Это должна быть женщина, только сильная, очень. Я не знаю таких. Разве что амазонки какие-нибудь подойдут.

И мы разыгрываем сцену, в которой действует отряд амазонок. Их три: молодая, постарше и предводительница. Едут верхом — что-то вроде дозора. Видят ругающегося “мачо”. Варя, меняясь ролями с каждой из них, совершенно неожиданно для себя сильным, звучным голосом задает им реплики. Вот какие:

— Отойди, мужик, а то как бы конем не зашибить.

— Что он там говорит?

— Все в порядке. Этот — не проблема.

Возникает маленькая рабочая трудность: боевой клич амазонок. Никто не знает, как он должен звучать, но каждая из нас легко может представить этот звук, обращающий врагов в паническое бегство, не правда ли? Варя не кричится, хотя “немота” и “паралич” прошли. Вопим хором, всей группой, помогаем Варя “раздышаться”, добавляем звуковых деталей вроде стука копыт и звона оружия... Наконец, в роли Предводительницы Варя издаст тот самый боевой вопль, от которого кровь стынет в жилах. Подхватываем. (Уж не знаю, что подумали случайные субботние прохожие.) Звук получается одновременно страшный и красивый. С минуту работаем в режиме эха — если сначала Варя голосом пристраивалась к нашему хору, то теперь группа отвечает на ее боевой клич. Кто-то залез на подоконник, кто-то сел на пол; мы все еще и раскачиваемся в ритме конской рыси... Поднятая молодая девушка Люба совершенно непроизвольно сдирает с себя “офисную” заколку и оказывается обладательницей буйных кудрей. В общем, “невидима и свободна”, как выкрикнула в ночное небо героиня любимого многими романа — кстати, и она была при этом нагой. Занимает все это не больше минуты, а тем временем....

Три могучие неторопливые воительницы надвигаются на Первого Мужа, продолжающего повторять, как заезженная пластинка: “Молчи, овца. Молчи, а то хуже будет. Сволочи. Проститутки. Молчи, овца”. Сочетание женоненавистнического текста с явной неспособностью противостоять амазонкам “по делу” порождает неожиданный комический эффект: грозные воительницы, а за ними и вся группа начинают безудержно хохотать. Варя все это время в роли Предводительницы. “Русский мачо” прижат к стенке, где ему и велено оставаться. Боевая задача выполнена. Теперь — освежиться в речке.

Практически каждая женщина может вспомнить какое-нибудь заливчатское купание нагишом — правда, не верхом на боевом коне, но уж это дело воображения, соединенного с реальной памятью физической свободы,

раскованности, острых и радостных ощущений. Вот мы и вспоминаем: визг, смех... Между тем, в этой совершенно не обязательной коротенькой сцене присутствует еще нечто — связанное с потребностью смыть с себя следы унижения, охладить до нужного градуса пламя мстительного гнева и выйти из воды иной, чем в нее входила. Кроме того, оказывается, что быть "голой" — спонтанной, естественной, такой, какая есть, — не только не унижительно, но правильно и легко. Варя прощается с боевым дозором:

Варя: Спасибо. Вы — моя сила. Я теперь знаю, что это тоже во мне есть.

"Амазонки": Если что — только позови.

Наша "сцена" вновь пуста, в углу — забытый Веер, в другом — пара стульев, там предполагалась встреча с возлюбленным. Мы никого не вводим на роль этого человека, поскольку не в нем дело; его стул остается пустым. Вот что говорит наша героиня:

Варя: Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я тебя люблю и хочу, чтобы ты об этом знал. Жизнь слишком коротка, чтобы молчать и ждать. (*Поворачиваясь к Вееру.*) Ты — часть меня, но нужен не всегда. Я могу обращаться к тебе для удовольствия, для игры, а не от страха.

Какая, в сущности, связь между веером, любовью, давним унижением, наготой, немотой и могучей силой амазонок? Веер — принадлежность кокетки, провоцирующей мужчину, но не делающей искренних шагов навстречу, не рискующей эмоционально. "Веер" в широком смысле позволяет не быть откровенной ("голой"), оставаясь привлекательной ("блестящей"). Самое яркое выражение этой двусмысленной позиции — веер стриптизерши. Это, конечно, часть традиционной женской роли, искусства очаровывать и "напускать туману", кружить голову и демонстрировать свою успешность, уверенность, шарм. Об этом самом "веере" написано и сказано немало, причем в основном это наблюдения либо мужчин, либо таких женщин, которые ревнуют к успеху у противоположного пола и не являются обладательницами "веера", не владеют этим искусством. Восхищение и раздражение, азарт преследования и упреки в адрес "коварной", "разбивающей" сердца — чего там только нет. Впрочем, нет одного весьма существенного компонента человеческого общения — сопереживания, понимания. "Веерные" ситуации предполагают отношение к женщине как к красивому объекту, не имеющему собственных чувств. В общем, это вполне соответствует одному из печальных "допущений" традиционной женской роли: "чувствовать" и уж тем более "проявлять чувства" означает "страдать". Не потому ли "владение веером" рассматривается как одно из важнейших женских искусств, порой прямо отождествляемое с женственностью?

В Вариной работе связь блестящего "фасада" с эмоциональной безопасностью названа, так сказать, своими словами, как и ограничения такого игрово-

го, чисто внешнего поведения. В близких отношениях, будь то любовь, дружба или конфликт, “веер” не помощник: он не согреет, а если отношения становятся невыносимыми, им не отобьешься. Варина травма (следы разрушительных, унижающих ее отношений) не изжита, не отработана — “синяки на горле” и “следы оплеух” только лишь прикрыты. Она сама изумляется тому, сколько в ней подавленного гнева и как трудно его выражать. Но без противостояния, без выхода из роли “овцы” ничего не получается — способность откровенно выражать чувства связана, заблокирована — и даже кажется, что намертво. “Амазонки” — это собственная Варина сила, способная защитить без излишней разрушительности, держащая себя не под спудом, но в узде. Интересны в этом смысле образы коней. Известно высказывание Фрейда, описывающее соотношение Эго и бессознательного как соотношение всадника и коня. (Меньше известно другое: создатель психоанализа лошадей недолюбливал и несколько побаивался; параллелей с его отношением к женской силе проводить, так и быть, не будем). Амазонки из Вариной работы абсолютно органичны верхом, они, что называется, родились в седле и даже говорят в ритме конского шага, а купаются, не слезая с коней. Реплика “Отойди, мужик, а то как бы конем не зашибить” может пониматься по-разному, но один из ее смыслов примерно таков: соединение со своим бессознательным дает силу, а силой правят умело. (Кстати, в реальном мире Варя прекрасно водит машину.) Удивительны “биографии” этих персонажей, их связь с общим смыслом работы. Молоденькая — инициация боем (ну, не боем — так, небольшим оперативным мероприятием), и это Варина ситуация. Средняя — не одинока, рядом “боевые подружки”, и это тоже Варина ситуация (в группе, по крайней мере). Предводительница, видящая дальше других и оценивающая обстановку, — это тоже Варина ситуация: ее жизненный опыт оставил “боевые шрамы”, но она готова быть мудрой в роли Предводительницы и знать, что делать. Боевых кличей, по сути, два: грозный и озорной. Не крикнув “первым голосом”, не крикнешь и вторым.

В коротенькой сцене с амазонками (в реальном времени она вся заняла девять минут) Варя входит в контакт, “соединяется” со своей внутренней силой, с ролью Вари-воительницы. Многим женщинам это состояние знакомо лишь по опыту житейских коллизий, связанных с опасностью, грозящей детям (“Когда я защищаю ребенка, я никого не боюсь и ничего не стесняюсь”). “Внутренний ребенок” каждой из нас порой точно так же нуждается в защите; ощутить свой “отряд амазонок”, стоящий на страже личных прав и границ и готовый за них воевать, бывает крайне важно. В других группах с другими сюжетами и героинями мне случалось встречаться с Медведицами, Тигрицами, Валькириями, делавшими примерно то же, что Варинины Амазонки.

Здесь приходит в голову любопытная культурно-историческая подробность. У Вари в роду есть неполный, смутный образ покорной кавказской женщины. Амазонки — как легендарные, мифологические персонажи —

перекрывают этот образ, не отменяя "родовой правды", но изменяя ее: архаические воительницы, заслоненные более поздними "овечками" патриархальной культуры, никуда не делись, их нужно только вспомнить, "позвать". Не берег ли Понта Эвксинского патрулирует маленький отряд?

Когда участницы группы после этой работы говорили о чувствах, о связи этих чувств со своим опытом, было много смеха и много слез — как будто Варина история выпустила на свободу, "разрешила" эти прямые, неотредактированные реакции. Речь шла о любви и о насилии, о красоте "вееров" и о зависти, о немоте и о страхе отвержения, о ничего не забывающем теле и о живущей в нем душе... Кое-что из этого разговора, его ассоциаций вошло в мои комментарии, а кое-что навсегда осталось в той группе и в том субботнем дне и принадлежит только им.

Вы можете спросить, состоялось ли впоследствии объяснение, были ли произнесены слова любви? Сказать по правде, не знаю. Хотя с Варей мы с тех пор и виделись, мне показалось совершенно невозможным спрашивать: ну как, мол, призналась? Оставим это подружкам и соседкам — в группе Варя работала не с отношениями с конкретным человеком, а с проблемой. Все, что было ею сделано, сделано для себя, а уж как она распорядилась своими находками и к каким решениям пришла, это, как говорится, совсем другая история.

Сюжет, между тем, кажется не совсем законченным... Возможно, сейчас самое время рассказать удивительный сон, приснившийся удивительной женщине много лет назад. Намеренно не цитирую по литературному источнику, поскольку такой сон мог бы присниться многим: пусть он останется анонимным, не имеющим "авторства". Перед сновидицей явилась ее Судьба, держа в одной руке Любовь, а в другой Свободу, и сказала: выбирай. Мучаясь, как и полагается при столь серьезном выборе, сновидица все же выбрала Свободу. И Судьба сказала ей: "Да будет так. И поскольку ты сделала правильный выбор, может быть, однажды я вновь приду к тебе — с Любовью и Свободой в одной руке".

ИСТОРИЯ ПРО ТОНИНО ТЕЛО

Бабы дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ:
Как увидят помидоры, так и лезут в огород.
Частушка

Тоня — Тоша, как она просила себя называть — женщина маленькая, "аккуратненькая", с неожиданно мощным, звучным голосом и неожиданной же скованностью в движениях. Она приехала на тренинг аж из другого горо-

да: “У меня, девочки, такая тема, что в наших краях я бы не решилась ни за что. Такая, знаете, неприличная совсем”. Неприличным считается и называется многое: прямой разговор про деньги, про секс, про власть, про месячные — да мало ли! Так что пришлось уточнять, и вот что получилось.

Тоша: Оказалась я, девочки, свободной женщиной тридцати семи лет.

Дети выросли, муж ушел, да оно и к лучшему. Гуляй — не хочу. А гулять мне мешает тело. Пока на меня внимания не обращают, оно помалкивает, вроде как и в порядке. Как только какой мужчина глаз положит — все. Уже ничего не хочу, ничего мне не надо, как в той байке про kota — “еще пятнадцать минут поблядую и пойду домой молоку допивать”. Вот чего сказала, вы уж извините, из песни слова не выкинешь. И ведь я не рыба какая холодная — это нет, а оно мне не то что во все тяжкие пуститься, оно пройтись с интересным мужичком не позволяет. Ну, то есть, пройтись как надо. Шкандыбаю Буратиной, срамота одна, какие там шуры-муры!

Ведущая: Тоша, а что бы могло быть результатом работы?

Тоша: Да как-то надо бы полюбить его, проклятущее, помириться, что ли?

Ведущая: А для этого придется его послушать, слово ему предоставить — готова?

Тоша: Ну куда же деться — уж пусть здесь выговорится. Готова! Вот чего я трепыхаюсь, ведь аж колотит! Женщина взрослая, рожала, любила, вполне еще ничего, а хуже, чем на примерке у портнихи.

Ведущая: Ну, давай с примерки у портнихи и начнем. Что будем шить? Деловое, вечернее, соблазнительное, незаметное — что?

Тоша: Ой, я вспомнила, как выпускное в институте шила — ужас! Ведь тоже уже не девочка была...

Ведущая: Выбирай, Антонина, Портниху.

Последующая сцена знакома многим: “У Вас слишком широкие плечи (круглая спина, узкие бедра, большая грудь, маленькая грудь, короткая шея, длинные руки, полные ноги, худые ноги — вообще все не такое), это Вам носить нельзя”. Назначение одежды — спрятать дефекты. Они препарируются подробно, при неподвижности и полураздетой беспомощности жалкого одеревеневшего тела, с озабоченным выражением “доброй тетеньки”, которая знает, как лучше. Роль дает ей право ничего не смягчать и вонзать свои “булавки” куда захочет. Она-то знает как лучше, да только тело попало совершенно неподходящее — и надо же, еще на что-то претендует, собирается внимание к себе привлекать! Вроде бы и совершенно не на тему: не о мужчинах, не о сексуальности, но что-то в этой примерке “цеп-

ляет" и подсказывает: на тему, еще как на тему. Такая наша Тоша несчастная, так ей хочется сбежать из этой примерочной, так ей уже не нужно никакое платье, что и впрямь она начинает "шкандыбать Буратиной".

Ведущая: Тоша, что говорит тело, что чувствует?

Тоша: Меня здесь нет, мне ничего не нужно, ничего не хочется.

Ведущая: А что на самом деле говорит Портника? (*Обмен ролями, за Портнику говорит сама Тоша.*)

Тоша (в роли Портники): Ты создана не для того, чтобы на тебя смотреть, тебя любить. Не в свои сани не садись, будешь нелепой. Твое дело — работать, быть полезной, тебя за полезность и держат. Вся эта любовь — глупости сплошные, я тебе добра желаю, а мужикам-то, ясно, чего надо. И хорошо, что каракатица: тихонечко, бочком, так и проживешь. А от красоты одни неприятности.

Ведущая: Кто ты на самом деле, Портника?

Тоша (в роли Портники): Дак кто, ясно кто. Кто прошмандовке-то этой шил, пока соплей была? Тетка я ее по матери, Зинаида. Говорила я Райке: пропадешь сама и девку погубишь. Нет, ей все любо-овь подавай. И что она с той любви поимела, кошка драная? Как после абортвов валяться — так Зиночка, раз чуть Богу душу не отдала, коновалы наши чего-то там недоскребли, просила девочку не оставлять, прощения просила за свое беспутство. А Тоньке чего говорить каждый раз? Чем мамочка так болеет, что у тети Зины гостить приходится? И за что Райке девка такая золотая — ума не приложу. Я, конечно, воздействовать старалась, как могла. В смысле воспитания.

Ведущая: Да, тетя Зина, Вы старались, как могли. И не без успехов. Скажите, а Вы счастливы?

Тоша (в роли Портники): Какое! Скажете тоже, женщина! Глупости сплошные!

Ведущая: А есть ли что-то, что Тоне важно услышать от Вас, а Вы ей этого так и не сказали?

Тоша (в роли Портники): Как не быть, есть. Антонина, а ведь и я перед тобой виновата. Я тебя маленечко это... настраивала против матери-то, вот. Ну и говорила тебе лишнего, что уж там. Ты девочкой симпатичная была, а я все каркала, мол, коленки вместе, жопой не верти, куда обтянулась! Ой, смех и грех, я ж тебе шила как на себя — мешок с кружавчиками, фасон "богадельня". А вышло все навыворот: мне в сорок восемь все подчистую вырезали по женской части, а Раиса в тот же год еще и замуж вышла. И ухажи-

вала за мной, словом не попрекнула, она добрая у нас, Райка-то. Дело прошлое, завидовала я ей. Я ведь старшая, я за нее всю жизнь в ответе была, а с поручением таким ответственным не справилась. Я пахала, а она любила: как же не обидно — обидно! Я воспитывала, а она оторвалась. Может, и гуляла так сильно на зло моему воспитанию. Но это дела наши, между сестрами всякое случается, а тебе досталось ни за что. Тонька, племяшка, не слушай меня, дуру старую. Да верти ты чем хочешь, ты у нас еще некоторых молодых поаппегитней будешь!

Ведущая: Разрешаете, значит, тетя Зина?

Тоша (в роли Портнихи): Сама разберется, умная. Ты это, Тонь, если что пошить... ну повеселей там, понарядней — я могу, я еще нитку без очков вдеваю. Мне ведь тоже охота в руках красивое подержать! (*Обмен ролями*).

Тоша: Спасибо, тетя Зина. Я знаю, ты ничего плохого не хотела. Я из твоих наставлений давно должна была вырасти, как из твоих мешков с кружавчиками. (*К ведущей*) Я еще хочу с мамой поговорить.

Ведущая: Выбирай кого захочешь на роль Мамы, поговоришь.

Тоша: Мамуля, я очень рада, что твоя жизнь устроилась. Кто бы что ни говорил, ты для меня всегда была самая лучшая, самая красивая. Ты и сейчас у нас интересная женщина. Вот скажи, у тебя бывало так, что на тебя мужчина внимание обратил, а тебе это не в радость? Это нормально? (*Обмен ролями*).

Тоша (в роли Матери): Все нормально, что для тебя хорошо. Я мужчин выбирала сама: он не охотник, а я не утка. И у тебя глаза есть, интерес-то взаимный! А еще я тебе скажу, дочка, что много лет мне перед тобой как-то неловко было — семью не сохранила, что за пример для девочки, город-то маленький. Не так уж я и гуляла, но молодая же была, жить хотелось, любить. Зинка, конечно, тебя по-своему воспитывала, но я всегда знала, что ты моя девочка и все поймешь. И мужики мои всегда знали: любовь любовью, но дочь у меня на первом месте. Домой не водила, ни-ни. Романы романами, но чтоб тебя ничего не коснулось, ни боже мой. Это как крутиться приходилось, просто семнадцать мгновений весны! Ты ведь ничего такого не думала, а? (*Обмен ролями*).

Тоша: А вот и думала! Мама, ну сама посуди: ты по дому носишься, марфет наводишь, вся незнамо где, глаза горят — “на репетицию новогоднего “огонька””. Видала я эту твою репетицию, еще машина у него была, “жигуль” вишневого цвета. Все тишком, все молч-

ком, у тети Зины не спросишь — она гадость какую-нибудь скажет. Ну что я должна была думать? Я и стеснялась тебя, и гордилась, и любила, и зла моего на тебя не хватало! Я из-за всего этого чуть в девках не осталась, замуж вышла за нудного придурка — пусть, думаю, не хорошо, зато правильно. Ну что молчишь, скажешь, не так?

Тоша (в роли Матери): Тоня, я хотела как лучше! И Зина хотела как лучше! Чем тебе помочь-то теперь?

Тоша: Помириться с тетей Зиной, совсем помириться. Не надо мне этих ваших "дело прошлое", я еще жить собираюсь. Мне этот раздрай внутри ни к чему.

И мы делаем короткую сцену полного и окончательного примирения сестер — со всеми положенными по-родственному "шпильками", с откровенными признаниями в зависти и конкуренции, с припоминанием обид и прощением за них. Зачем? А вот зачем: Тоша полна противоречивых чувств и к матери, и к тетке; по своим — и очень понятным — причинам они нагрузили ее противоречивыми, конфликтующими установками в отношении мужчин, "приличного" и "неприличного" поведения, права на собственную сексуальность. У этих немолодых уже женщин все сложилось и случилось, и разумеется, на эти жизни наша работа никак не распространяется. А вот образы мамы и тетушки внутри самой Тоши — это другое дело. Здесь можно разрешить конфликт, снять мучившее ее с детства противоречие, получить благословение не повторять ни тот, ни другой сценарий.

Разумеется, в сцене примирения в ролях то тетки, то матери работала сама Антонина, иначе и смысла нет. Азартно, между прочим, работала. С куражом, с хулиганством, с очень большой иронией по адресу своих старух — и с любовью. Боже, сколько в этом ворчливом "саммите" было любви, какие мощные темпераменты схлестнулись, как Тоша, становясь то Раисой, то Зинаidou, на глазах наполнялась еще большей энергией, чтобы не сказать страстью! И вовсе это была не "бытовуха" про жизнь в маленьком городе сексуально неудовлетворенных женщин, хотя и эта тема присутствовала, куда ж ее денешь — по правде так по правде. Но правды этой оказалось много больше, чем обещал в начале наш "психодраматический лубок". Бедная возможностями, неласковая жизнь — и не убитое ею желание праздника, красоты, счастья. Неблагополучное во всех отношениях окружение, где годами пьют и тупо смотрят телевизор, а еще время от времени вешаются, бьют смертным боем и насилуют, да и у женщин есть свои способы изводить так называемых близких — и горячее стремление жить иначе, раз уж не самой, то хотя бы детям создать это "иначе". Жесткий диктат житейской нор-

мы, когда и в тридцать пять “уже все” — и живое женское нутро, тоскующее по чувствам и создающее эти самые чувства почти на пустом месте, из ничего. “Особенности национальной практики” физического унижения, чтобы не сказать отрицания женщины любого возраста, в том числе и через полное пренебрежение свойствами и потребностями ее тела. И — немислимая жизнестойкость этого самого тела, которое по всем законам анатомии с физиологией должно было бы уже давно превратиться в землеройную машину, трактор, мортиру или просто бесчувственную тушу, а оно, черт подери, чувствует и надеется чувствовать еще! Много чего там было...

А заканчивали мы так, как придумала сама Тоша в ответ на мой вопрос: “Что тебе нужно, чтобы не только примирить в себе эти два голоса, но и физически принять свое тело, свою чувственность?” Финал получился фантастический. Итак: мать и тетка собирают Тошу на праздник — разумеется, новогодний “огонек”, только настоящий. (В их конторе как раз недавно появился один интересный разведенный господин, бросающий на нашу героиню недвусмысленные взгляды, от которых она до сей поры не знала куда деваться — это в реальности, как и приближающиеся новогодние возможности.) Пока не настал знакомый столбняк — “и хочется, и колется, и мамка не велит”, — старухи дружно заявили: все как сама захочешь, только как сама захочешь, будет настроение — гуляй, это твое прекрасное тело и твоя жизнь. И предложили “на удачу в амурных делах” собрать “девушку” на праздник по старому ритуалу — так собирали невест один раз, а королев — почаще.

Начинается все, понятное дело, с мытья — и Зина с Раей свою “младшенькую” парили в баньке, притом младенческие присловья типа “С гуся вода, с Тонечки худоба” чередовались с присловьями не вполне приличного свойства. Вся группа “на подхвате” подавала то веник, то реплику, нахваливая ее фигурку, волосы, подтянутый животик, даром, что двоих родила, и прочая. Потом было само одевание — и это было красиво! Чтобы в нашей психодраматической купели и перед зеркалом действовать было ловчее, Тоша и в самом деле кое-что с себя скинула — ну, не разделась догола, но осталась в топике и колготках. “В ролях” потрясающего белья и волшебного платья выступали ее собственные, не одну командировку выдавшие вещи: приличные, удобные, немнущиеся. То есть одевали мы ее вполне по-настоящему. И каждая могла, передавая из рук в руки практичную трикотажную юбочку, сказать свою фантазию о том, что бы это могло быть и какие ощущения в теле такая вещица вызывает. Заканчивался ритуальный путь каждой вещи в руках Зинаиды с Раисой, которые вдвоем ее на Тошу одевали — строго вдвоем, симметрично, согласованно. А перед Тошей было еще и Зеркало — конечно же, живое. И по мере того, как наша героиня раздумывалась и оттаивала, Зеркало чутко отслеживало все ее невольные жесты,

позы, движения: вот плечиком повела, вот вздохнула — ах... Причесывала ее Зинаида, но причесывала наоборот: не забирала волосы под повойник, как в свадебном ритуале, а из маловразумительного хвостика с заколкой освобождала, расчесывала, разглаживала, раскладывала по плечам. А мама Рая попудрила ей носик и дала "на удачу" какую-то особенно "счастливую" губную помаду. И все это время Тоша проговаривала все свои ощущения, совершенно реальные в этой нереальной, сказочной ситуации, "возвращала" себе живое, чувствующее тело.

И вот так, на сочетании символической игры в "рождение Венеры", полно-го и безусловного принятия группой и осознания своей женской телесности эта история для Тоши закончилась. Ее последние — по игровой части работы — слова были: "Это я. Смотрят на меня или нет, быть женщиной хорошо. Я что, сама себе нравлюсь, что ли? Да, нравлюсь. Я свободная не потому, что незамужняя, а просто это мое тело, мои ощущения, мои желания и моя, блин, жизнь. (*К группе*) Ох, девочки, вот спасибо! Повезу себя как хрустальную вазу: осторожно, мол, особо ценное тело!" Без этой последней "цыганочки с выходом" была бы не та работа и не та героиня: из песни слова не выкинешь, а уж из частушки — в особенности.

С чем же мы работали в этой истории? В самом начале, когда шутки-прибаутки еще прикрывали Тошино смущение, прозвучало несколько важных намеков. Упоминание маленького города — намек на "неприличие" темы: как-то сразу было понятно, что речь пойдет о секрете, тайне "про это". При этом самая интимная часть рассказывалась громко, бойко, с матерком, а в сильное переживание героиня "влетает" при упоминании примерки у портнихи. Ее и правда колотит. И все время она уговаривает себя, что взрослая. Сколько ей лет в этой сцене? Сначала двадцать с небольшим, потом сразу, вдруг — двенадцать-тринадцать: деревянные ручки-ножки Буратино, дочка-отличница легкомысленной мамы. Беспомощность и стойкость, хоть пытайте — не скажу; полное отчуждение женского в собственном теле. И как резко она разворачивается в роли суровой Портнихи: дергает и вертит "Тоню", добивается одной ей понятного порядка, а заодно вводит несколько важных тем.

Во-первых, это тема тела как объекта, вещи: оно может работать, быть использованным, оно должно быть спрятано, чтобы не было "неприятностей". А чувствовать оно не может, души к нему не полагается. Во-вторых, становится понятно, что речь пойдет не об отношениях с мужчинами, а о чем-то, что им предшествовало. В-третьих, довольно быстро становится ясно, что сексуальная тайна — не Тошина, а скорее наоборот: это ей чего-то знать не полагается, но, как выяснится позже, кое-что известно.

Когда Портниха превращается в Тетю Зину, ее голос становится еще громче, почти оглушает. В этой фигуре подавленная чувственность давно пре-

вратилась в агрессию, притом образы особенно убийственные, “живодерские” — по отношению ко всему, что “по женской части”. Портниха кроит, ушивает, окорачивает, истребляет в своем шитье всякий намек на женственность — чем не помощница тем самым коновалам, которые “чего-то там недоскребли”... Житейское тут, конечно, есть: страшненькое и всем знакомое, как стафилококковая инфекция в роддомах. Но есть и другое. При ближайшем рассмотрении “карты” ложатся вполне последовательно, и символика их вовсе не беспросветная: скрывали — но не скрыли, каркали — но получилось “навыворот”; рука ли дрогнула или что еще, но кастрация не удалась. И Тошины дети — показывала фотографии в перерыве — это отчетливые Мальчик и Девочка; и нет ли в том заслуги “зануды-придурка”?

Как мифологический, сказочный персонаж Портниха Тетя Зина — некий зловещий гибрид Злой Мачехи и Феи-крестной, только снаряжает она нашу Золушку не на бал, а в богадельню или отделение хирургической гинекологии. Но тетушка не проста и не вполне однозначна: поразительно быстро ее монолог утрачивает настоящую злобность и становится ворчливым, но безобидным и даже не лишенным юмора (кстати, сочная речь “с перчиком” у Тоши явно не от мамы). Мачеха-Портниха не совсем настоящая, сознание своей правоты у нее “с трещинками”, сестры — моралистка и грешница — связаны гораздо прочнее, чем сами признают. В шкафу спрятан не столько скелет, сколько очередной любовник младшей сестры, а старшая то ругается, но покрывает... В этой истории поразительно сочетание внешней грубости, даже брутальности — и настоящего тепла, а все персонажи знают, понимают и чувствуют больше, чем поначалу заявляют. Такой вот “мешок с кружавчиками” — дерюга и что-то совсем иное, нежное.

Ритуальное одевание последней сцены, пожалуй, и комментировать не стоит. Разве что... Для тех, кому видятся символы ученой, литературной природы — вот: стояние перед зеркалом, когда за спиной видится фигура матери, не напоминает ли символическую реконструкцию ключевого события *stade de miroir* — “стадии зеркала” — господина Лакана? По тексту — очень даже: “При виде своего тела, вновь собранного воедино и введенного в правильные рамки, он ощущает “интенсивное ликование”. Он прыгает от радости и улыбается своей матери, которая своим присутствием гарантирует правильность исполненного. Впервые он осознает свое существование. Ближе к матери, но отдельно от нее, он еще неявно, неотчетливо подтверждает свое право быть иным. Первая встреча с самим собой является для ребенка новым рождением”***.

* Если объяснять, кто и что, то, по-честному, надо объяснять и многое другое. Не буду.

** Исключительно для психоаналитически ориентированных коллег, случайно заглянувших в книжку: M. Laxenaire. *Group Analytic Psychotherapy According to Foulkes and Psychoanalysis According to Lacan*, in M. Pines (ed.) *The Evolution of Group Analysis*. London, Routledge and Kegan Paul, 1983.

В Тошином случае переплетаются "новые рождения" самой разной природы: отделение от сценариев матери и тетки, принятие своего тела, осознание себя как свободной женщины в начале нового жизненного цикла, в каком-то смысле — "переигрывание" подросткового кризиса идентичности. В конце ее работы, когда группа уже сидела в кругу и говорила о том, какие чувства и воспоминания возникли по ходу действия, Тоша слушала с несколько блаженно-отрешенным видом и явно воспринимала не все, что говорилось (так бывает, но многое потом вспоминается). Кто-то обратил внимание на ее выражение лица: "В отключке, как будто и правда после баньки". — "Я все слышу, просто маленько подустала, вот сижу, перебариваю. Чего ж ты хочешь от новорожденной?". Поверьте, не было перед этим никакого умничанья относительно символизма, ритуалов и вообще чего бы то ни было: говорилось только о непосредственно возникших эмоциональных реакциях и об их связи с собственным опытом, с собственной жизнью. Тем оно и дороже. А в конце дня, когда прощались и формулировали результаты всей групповой работы, Тоша сказала так: "Увожу из Москвы свое новое женское тело и уж его-то, блин, в обиду не дам. Не знаю, то ли я чего-то родила, то ли меня, но точно вам скажу: все было по любви. И, девочки, сколько же в нас ее!"

Уж не знаю, случайно ли в обеих историях плещется вода и светится обнаженное женское тело: похоже, они имеют прямое отношение к любви...

Она над водой клубами,
Она по воде кругами.
Но я знала тех, кто руками
Ее доставал со дна.
Любая любовь, любая.
Любая любовь, любая.

Любая любовь, любая —
И только она одна.

ШАБАШ ЭГОИСТОК

Совет — это то, чего мы просим, когда уже знаем ответ, но он нам не нравится.

Эрика Джонг

Но уж если речь заходит о "любви к себе", где-нибудь поблизости непременно оказывается ее кривое отражение. Увидев этакое в зеркале, мы с диким криком от него отшатываемся. Достаточно сказать о ком-нибудь: "эго-

истичная, избалованная особа” или “она уж очень себя любит” — и каждому ясно, что с ЭТОЙ никаких дел иметь не следует, спасайся кто может! Возникает образ ленивой, холеной, капризной стервоы во-от с такими ногтями, железной хваткой и непомерно раздутым “Я”. Мужчин она использует, пожилым родителям стакана воды не подаст, а уж детей или вовсе не имеет, или подбрасывает, как кукушка. Кровь стынет в жилах!

К нам эта жуткая особа — как и прочие исчадия ада — конечно, отношения не имеет.

Обвинение в эгоизме, самовлюбленности, пренебрежении к окружающим столь тяжело для всякой нормальной женщины, что так и хочется его отбросить подальше от себя, перевесить на кого-то (желательно, чтобы эта особа была сущей дрянью), оправдаться или отбрехаться. Так вот и защищаемся. Да, я слежу за своей внешностью, но не целыми же днями “чищу перышки”, и на моей работе иначе нельзя, у меня контракт, и вообще — я что, не заслуживаю... далее по тексту. Да, бывало, что меня любили больше, чем любила я, — я что, и в этом тоже виновата? Ну, знаете ли! И потом, я честно старалась этим не пользоваться... ну разве что совсем чуть-чуть... Да, иногда родители обращаются за помощью не вовремя, как будто проверяют длину поводка — вот матушка всюю гоняет по городу на своей машине, но вдруг захотела какого-то особенного молотого кофию, который почему-то должна купить именно я и только немедленно, а у меня отчет, ну я и сказала: на следующей неделе, — а она обиделась... Но не стакан же воды! Да, я дала ребенку не все: вот и прикус надо исправлять — недоглядела, и читает мало — недочитала, и ленив немного — сама люблю поспать... но не кукушка же! Робкие попытки “эгоизма” сопровождаются пышным букетом оправданий, которые порой даже довольно агрессивны, а все едино — чувство вины из них вылезает, как то самое шило из того самого мешка.

Давайте посмотрим, как живут “на другой стороне Луны” — там, где обитают “настоящие женщины, готовые на все ради близких”.

Начало группы. Знакомимся, разогреваемся. Майя говорит о себе: “Вообще-то я экономист”, — и опускает глаза так, словно сообщила, что три года просидела в седьмом классе. Она в группе самая молодая — двадцать семь, самая красивая и самая затюканная. Ведет всю документацию в фирме мужа, а это немало, и растит дочь девяти лет. Когда-то было удобнее работать дома, чтобы приглядывать за малышкой, с тех пор все так и осталось, хотя девочка выросла и фирма тоже. Естественно, требования мужа к ведению всех видов “хозяйства” максимальные: “А что тебе еще делать целый день?”. Зарплату Майя не получает: “Зачем, все равно сидишь на всем готовом”. Новые туфли ей, конечно, не нужны: “Зачем тебе, ты же никуда не ходишь?”. И все это еще бы ничего, но вот в последнее время дочь ста-

ла уж слишком своевольной, маму ни в грош не ставит: "Что ты в этом понимаешь, я вот вечером папу попрошу, и он мне все разрешит". Папа и разрешает, особенно когда придет в благодушном настроении, а юная принцесса такой момент ни за что не пропустит. И он, в очередной раз позволив или обещав что-нибудь дочери, шутит так: "Ты, Майка, смотри: мы еще поглядим на твое поведение, может, вообще тебя выгоним. Совсем, понимаешь, обленилась, вон толстая какая стала. Ну что, доча, выгоним маму или пока еще оставим? Вон она как плачет некрасиво: у-у-у!". И все в таком роде — чем дальше, тем страшней.

Чуть попахивает инцестом — возможно, не буквальным, а символическим, но совершенно очевидно, что в этой семье парой являются именно папа с дочкой, а мама сбоку припека. Понятно, что настоящие беды только начинаются, хотя все "мины" заложены давно. Когда? Когда выбран этот — вот такой — муж? Когда впервые проглочено оскорбление? Конечно, раньше. Как и все наши "мины", гораздо раньше. Впрочем, с первого раза до этого уровня, до корней не доберешься, а делать что-то надо, и прямо сейчас. По идее, надо было бы работать со всей семьей — семейные терапевты так и поступают. Но об этом нас никто не просил. Более того, вряд ли такого папу удастся затащить на консультацию — его, возможно, все в этой жизни устраивает. И еще одно: никто не может поручиться за то, что в этом доме на самом деле все происходит именно так и только так, Майина память избирательна, как у всех нас. Показать мужа чудовищем в женской группе — это богатая возможность выразить свою ненависть к нему, предъявить свои счета; а разве не все мы иногда испытываем колоссальное искушение "все ему припомнить", да еще и так, чтобы нам за это ничего не было? Но... Вероятность того, что Майя и в самом деле жертва психологического насилия, очень высока. Сюжет — постепенная изоляция, тотальный контроль, эксплуатация и постоянные плевки в душу — не нов и не так уж исключителен. Такое случается, притом гораздо чаще, чем принято считать, и в совершенно разных декорациях.

И здесь, как и во многих других историях, мы должны твердо помнить одно: героиня ищет *свою правду*, совершенно субъективная картина мира и сколь угодно избирательные воспоминания — наш общий удел. "Своим голосом и о том, что важно для меня", не так ли? И мы работаем с тем, что сейчас важно для участницы группы, каждый раз понимая, что в этой работе могло бы быть еще много тем, поворотов, совершенно неожиданных углублений и связей разных линий между собой. Но время ограничено, а готовность сразу идти глубоко может быть настолько подавлена сегодняшней острой болью... Майя выбрала работу со своей ролью жертвы; ее целью было почувствовать себя иначе, хотя бы на время "распрямитесь" и выразить свои истинные чувства.

Сцены издевательств, дурного обращения — не такая уж редкость в женских группах и всегда вызывают у других участниц просто-таки физическую боль с немалой примесью гнева, страха, стыда. Когда порой спрашиваешь женщин о ролях, в которых им хотелось бы бывать как можно реже и в которые они, тем не менее, попадают, чаще всего звучит слово “жертва”. (Второе место занимают собственные агрессивные, разрушительные роли, что неудивительно.) Работая с Майей, группа развевалась не на шутку — так, что сама Майя не без удивления вспомнила еще одну фразу мужа: “Что ты глазами хлопаешь, как овца, — рывкнула бы хоть раз, как любая нормальная женщина”. В затравленном, беспомощном состоянии она из этой фразы слышала только “опять не так, все не так”. А между тем сказано не только это. И мы в качестве вспомогательной фигуры вводим некий фантастический образ “Нормальной Женщины” — коли уж она упомянута в обидном сравнении. Разумеется, именно она — то есть сама Майя при обмене ролями — говорит: “Дорогая, ты можешь и должна себя защищать. Если тебя что-то задевает, можно не только плакать. Ты имеешь право на уважение, вознаграждение за работу, благодарность. Если ты этого не получаешь, если вместо “спасибо” тебе еще и хамят, а ты молчишь — значит, ты согласна это терпеть. Может, хватит?” И когда появилась возможность, “разрешение” выразить свой гнев, она выплеснула его в движении, в крике, а позже в монологе, обращенном к мужу: “Ты калечишь дочь: не уважая меня сейчас, она не сможет уважать женщину в себе. Я невольно помогала тебе в этом, но больше не хочу — я буду защищаться, я имею право прекратить эти садистские игры и больше не позволю так с собой обращаться”. Это, конечно, только маленький шаг к обретению границ и достоинства и не будем его переоценивать: в Майином случае все действительно зашло очень далеко и требует длительной и непростой работы. Но даже такая первая попытка отодрать от себя присохшую “овчью шкуру” привела к довольно неожиданному выводу: “Знаете, а ведь они ко мне относятся так же, как я сама к себе. Ведь это я с самого начала говорила: зачем, мне ничего не надо. Не всегда ведь было так, как сейчас. Я вот вспомнила, что когда-то мы даже спорили — и по работе, и по хозяйству. Но мне почему-то казалось, что это нехорошо, если я в споре побеждала, то пугалась ужасно. Мне казалось, что если не возражать, то человек сам поймет...”

Да нет, не поймет. И действительно, первые десять — двадцать? сто? — раз фраза “зачем, мне ничего не надо” — была произнесена Майиным голосом. И уж если жизнь и достоинство кладутся к чьим-то ногам, неудивительно, что об них начинают эти самые ноги вытирать ... “Разучиться быть жертвой” — очень большой и тяжелый труд; первые попытки другого поведения вызывают у окружающих не поддержку, а немедленное усиление давления — “попробовала возражать, только хуже стало”. Понимание “вторичной выгоды” положения страдальцы неприятно, корбит, не позволяет

сохранить представление о самой себе как о “хорошей девочке”. Первые выплески собственного гнева могут напугать — они бывают очень сильными, с оттенком мстительности и немалой долей жестокости, которой в себе не признаешь. В общем, в одиночку и без поддержки завершить этот труд, миновать всех демонов и прийти к сбалансированному, достойному состоянию очень тяжело — почти как пешком пройти до Южного полюса и обратно.

Ирина Львовна, наша следующая героиня того же дня, совсем из другого теста: властная, крупная, шумная. Работает на двух работах, успешна, честолюбива. Муж — милый, тихий и по-своему тоже вполне состоявшийся человек, талантливый технарь, вовремя нашедший свое место в жизни: разрабатывает некие тонкие технологии для весьма процветающей компании. Домашних вопросов не решал и не любил ни во времена секретного НИИ, ни теперь. Ирина Львовна расшибалась в лепешку ради жилья, ради хорошего садика и хорошей школы для сына, добивалась для него всего того, чего обычно добиваются энергичные матери. Сын же вырос мягким, не очень уверенным в себе молодым человеком — немного похож на отца, но гораздо хуже сосредоточивается, не азартен, работает в крупной фирме без особого воодушевления, друзей мало, девушек стесняется, от отца далеко, маму побаивается, чувствует, что “не оправдал вложений”. И правильно, в общем-то, чувствует. В одной из первых сцен своей работы Мама обращается к спине сидящего за компьютером Сына:

— Господи, уж съехал бы куда с глаз долой, недоразумение какое-то, а не ребенок! Разве я для этого горы сворачивала, чтобы каждый вечер видеть вот это все, это унылое создание? Я ж тебе все возможности создала, ну почему ты такой несчастный!? И с детства, с детства такой! И всегда меня этой своей квелостью бесил! Да, я многое решала за тебя. Да. Но я же решу лучше! Какую я тебе прекрасную карьеру построила, какие возможности! Ох, мясо в сумке подтекает — вот, смотри, парная телятина, ведь не сунешь в рот кусок — так и будешь у компьютера своего сидеть голодный, чучело беспомощное...

Достаточно? Такие разные, обитательницы “другой стороны Луны” схожи в одном: своим поведением они программировали совсем не тот результат, который ожидали: за что боролись, на то и напоролись. Жертва-Майя, откачываясь от минимальных знаков уважения и признания своего труда и своей личности — а ведь были кое-какие в самом начале, — вовсе не ждала оскорблений. “Отдавая все”, она надеялась на похвалу, покровительство, на то, что о ней позаботятся, — а уж она отработает, уж она наизнанку вывернется. Ей хотелось быть надежной опорой любимому мужу, всегда быть рядом с дочерью, раствориться в их потребностях — быть нужной, быть в

безопасности, в тени, но всегда под рукой... Такие понятные желания. Такое искушение. Такой капкан с восхитительно пахнущей приманкой. Тем более, что одной из любимых “воспитательных” фраз Майиной мамы было: “Будешь много о себе понимать, никому не будешь нужна”. Можно догадаться, что одинокий, застенчивый ребенок любое проявление своего “Я” старался как-то скрыть, затушевать, а то ведь кто-нибудь подумает, что она “много о себе понимает”! Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Ничего-ничего, все в порядке, это я сама лицом ударилась, такая неловкая...

И вот еще что важно, просто очень важно: Майя пыталась дать своим близким именно то, чего ей самой катастрофически не хватало. Ах, как часто мы впадаем в это заблуждение и предлагаем, как зверюшки в “Винни-Пухе” предлагали Тигре, “свою еду” — чертополох, желуди или чем нас там еще недокармили...

“Воительница” Ирина Львовна совершенно не собиралась сломить дух своего сына — она просто все решала за него. Хотя бы потому, что за нее саму в жизни никто и ничего не сделал, она вообще росла заброшенным ребенком. И вот это свое — причем детское — счастье, эти “желуди и чертополох” она продолжает навязывать сыну, иногда даже открытым текстом восклицая: “Обо мне бы хоть раз в жизни кто-нибудь так позаботился!”. Ее сценарий — “сама не сделаешь — никто не сделает”, помощи ждать неоткуда, кругом сплошные *спины* занятых своими делами взрослых. Единственное, что приветствуется, — это самостоятельность: девочка часами играет одна, без помощи делает уроки, решает все свои проблемы — и тем самым не создает проблем родителям. Пока она находит все новые и новые решения, про нее можно вообще забыть — и именно поэтому ее собственная семья будет ежесекундно помнить о ее присутствии: “Чтоб на меня так давили, как я на тебя давлю!”.

Первым шагом к самостоятельности ее сына, скорее всего, станет какое-нибудь: “Мама, помолчи, это я решу сам” — и хорошо еще, если мама примет это как знак нормального роста и развития. Потому что иначе горечи и обиды хватит на все лунные кратеры как с той, так и с этой стороны... Как сказала одна англоязычная писательница: “В первые годы мать — самый важный человек в жизни ее ребенка, и если она хорошая мать, ей, возможно, удастся стать самым тупым, по его мнению, человеком”. Неплохо, а? Но как же трудно...

Сложность и коварство проблемы в том, что эгоизм и самопожертвование как-то так хитро переплетены, так умеют притвориться друг другом, что порой у всех нас дважды два равняется пяти. Посмотрите, сколько вокруг женщин, гордящихся тем, что “отдали все” — и сколько из них нанесли этим серьезный вред не только себе, но и тем, ради кого разбивались в ле-

пешку, ложились трупом и выворачивались наизнанку. Язык наш — инструмент тонкий: хорошее дело вряд ли называлось бы такими словами. Какие могут быть партнерские отношения с вывернутым наизнанку, разбитым в лепешку трупом?

С другой стороны, достойное человеческое партнерство невозможно без умения уступить, порой подумать сначала о другом, но по возможности без самоотвержения, и уж точно — без великодушия. Женщины легче и чаще попадают в ловушку, которой сплошь и рядом становится для них роль благородной жертвы. Причин тому много. Есть совсем простые: если бы не женская способность на самом деле забывать свою боль, игнорировать собственную усталость и не замечать потребностей, забота о маленьком ребенке была бы невозможна. Полная включенность в состояние и ощущения другого — биологически целесообразное свойство. Как и с прочими дарами матушки-природы, здесь легко утратить меру.

Существует система ролевых ожиданий: женщине предписывается понимать, сочувствовать, терпеть, заботиться и угадывать даже еще не выраженные потребности: в "идеальном" — для кого? — союзе значительная часть работы матери, жены, подруги так и представляется. Женщина, которая двадцать четыре часа в сутки "живет не для себя" и "отдает все", удобна. Но только теоретически. Разменной монетой в союзах с таким "идеалом жены и матери" сплошь и рядом становится чувство вины: она такая хорошая (а я не оправдал); она такая хорошая (к чему бы придрататься?); она такая хорошая (век бы не видеть этого живого укора); она такая хорошая (ну, значит, ей это зачем-то надо). Исполнение роли Идеальной на практике перерождается в "мама знает лучше", в делание всего и за всех, в хитрое косвенное воздействие кнутом и пряником, в горькое разочарование. Обратите внимание: и Майя, и Ирина Львовна на свой лад стремились к исполнению ролей "классического репертуара": безответной овечки и активной мамыши-львицы. И преуспели...

А у нас, кроме всего прочего, для попадания в ловушку стремления "отдать все" есть причины исторические: в трудные времена — то есть последние лет сто — отдавать ближним последний кусок считается правильным и почетным, собственные страдания вознаграждаются чувством выполненного долга, уважением окружающих. А сценарий, где героиня "во всем себе отказывала, только чтобы....", становится нормой. Вспомните бесчисленные истории о том, как бабушка три раза перешивала мамину школьную форму — непременно ночью, днем она, как и все, работала. Как были выменяны на хлеб ложки из приданого. Как добывались все нехитрые жизненные блага. Как "одна поднимала детей" — муж то ли сидел, то ли воевал, то ли пил без просыпу. Я встречала на группах женщин еще вполне цветущего возраста, не заставших войну и карточки, но знакомых с настоящим чувством голода. Диеты и Брэгг тут ни при чем: трудный период жизни, поте-

ря работы, ребенок, нищенское пособие, на которое ничего нельзя купить. “Чай пей без меня, я уже поела”. Почему кажется, что мы все когда-то это слышали?

И все-таки, при всей мощи оказываемого на нас влияния самых разных факторов, выбор за нами. И всегда остаются несколько простых и здравых мыслей — тоже, кстати, не вчера родившихся, — которые стоит иногда вспоминать. Нашим любимым людям лучше, когда мы здоровы и счастливы, когда нам радостно и интересно жить. Если это не так, то возникает вопрос: зачем мы окружили себя людьми, не желающими нам добра? Решая и делая все за своих близких, мы разрушаем не только себя, но и их уверенность в себе — а возможно, и развращаем, питаем их темные стороны. Если так сильно хочется “полностью посвятить себя” кому-то, стоит спросить себя: это действительно нужно тому человеку? (В том, разумеется, случае, когда ему больше трех — если меньше, ответ будет другой.) Но если это не младенец, то не тяжкий ли груз мы тем самым на него взваливаем, не собираемся ли, втайне даже от себя самих, потом предъявить счет? Не убегаем ли в это “служение” от каких-то своих проблем? И все-таки дар это или жертва? Дарить, как все мы знаем, радостно, и дарящий становится богаче, а не беднее. Так вот, делая именно такой выбор, становимся ли мы лучше, мудрее, больше в ладу с самой собой? Примеры бесхитростного, радостного, “белого” самоотречения есть — как, бесспорно, есть святые, безусловная любовь и мгновения подлинного счастья. Но святых не бывает много — столько, сколько вокруг женщин, “отдавших все” и “положивших жизнь”. И то, что начинается как искреннее стремление без остатка раствориться в жизни другого человека, только отдавать и ничего не получать взамен, ведет нас прямоиком туда, куда обычно и заводят дороги, вымощенные благими намерениями...

Позвольте рассказать очень страшную историю на тему “женщины и эгоизм”. Она так же правдива, как и остальные, но, к счастью, я не знакома лично с ее действующими лицами. Так вот, однажды мне довелось подслушать разговор двух дам в троллейбусе. Говорили о детях какой-то общей знакомой. И представьте, эта Лина “такая умная — с самого начала, просто с пеленок, внушила дочери, что с ее рождением потеряла здоровье, вообще положила жизнь на ее воспитание, и у нее выросла такая чудная девочка, ну совершенно домашняя, ей двадцать пять и до сих пор по струнке ходит!” — “Так и надо, Сонечка, так и надо! Чтобы чувствовали, кому они всем обязаны!” И тут с заднего сиденья прозвучал какой-то даже сладострастный смешочек. Я тихонечко, с большими предосторожностями обернулась... но, конечно, не увидела ни помела, ни когтей, ни клыков. Всего лишь двух хорошо одетых матрон, полностью уверенных в своей правоте.

ПРО ЭТО, ДА НЕ ПРО ТО

Всех прикроватных ангелов, увы,
Насильно не привяжешь к изголовью.
О, лютневая музыка любви,
Нечасто ты соседствуешь с любовью.
Легальное с летальным рифмовать —
Осмелюсь ли — легальное с летальным?
Но рифмовать — как жизнью рисковать.
Цианистый рифмуется с миндальным.

Вероника Долина

В пропахшем всеми ароматами тропиков магазинчике “Чай вдвоем” на огромной жестяной банке с чем-то восхитительно душистым и пестреньким можно, изумившись, прочесть: “Плод страсти”. Милая ботаническая ошибка торговцев чайными наслаждениями почти неизбежна: эти терпко и сладко пахнущие сушеные кусочки — мелко порезанная маракуя, она же пассифлора, страстоцвет. Кто видел ее цветы, знает: они похожи не то на старинные ордена, не то на орудия пытки: зубастые, когтистые. Одно из давних и уже мало кому в голову приходящих значений слова “страсти” — это страдания. (Как в слове “страстотерпец”, которое тоже как-то не ассоциируется с цветочками и ягодками.) Хороший чай — это на языке рекламщиков “райское наслаждение”. Возможно, что и “вдвоем” — у самовара я и моя Маша, вопрекиску чай пить будем до утра... Муки и страдания преобразены стихийными лингвистами в нечто совсем далекое, с точностью до наоборот. Цианистый рифмуется с миндальным. А “плодом страсти” в старых романах называют внебрачного ребенка. В том числе и нерожденного.

“На соседнем кресле в позе, готовой к надругательству, спит моя двадцатилетняя соседка, та, которая делает пятый аборт. И это так страшно. Не лично мне. Это вообще страшно. Какая-то бессмысленная эмблема бессмысленной цивилизации. У девчонки

накрашены глаза и щеки, рыжий роскошный хвост свисает вниз, и ситцевая наглаженная рубашка с кругленьким умильным воротничком закатана до груди. У нее покрашены ногти. Она несколько раз в палате вынимала из кармана халата пузырек лака. Ногти покрашены и на вывернутых железяками кресла ногах с пухлыми детскими пальчиками. И такая во всем этом бессмысленная обреченность, что хочется позвонить в Верховный Совет и сказать: “Козлы, или придите и посмотрите на нее, или закупите, наконец, противозачаточные средства”.

И тот самый врач подходит ко мне, натягивая перчатки, и, устало улыбаясь, спрашивает:

— Все нормально?

— Все сказочно, — отвечаю я хрипло**.

Поразительно, как не принято об этом говорить и как немногочисленны те, кто отважился все-таки нарушить круговую поруку молчания, не впадая при этом ни в лихой наплевательский тон, ни в лицемерное “Как она могла!” моралистов. В свое время, когда по официальной версии считалось, что “секса у нас нет”, его незапланированных последствий тоже как бы “не было”. Но что-то подсказывает: причины внутренних запретов говорить и думать о “том самом” и об “этом самом” — разные. Особенно это заметно сейчас, когда “сексуальной” кличут каждую галантерейную мелочевку — вроде подтяжек или губной помады. Дочка одной моей подруги про любую деталь жизни говорит: “Сексуально!” Пирожки ли из “Макдональдса”, ленточка ли для волос. Мы с ее мамой очень корректно, проглотив смешочки, интересуемся: “Аришка, а что это значит?” Пятилетняя Арина, ничуть не смущаясь, отвечает: “Это когда всем нравится”.

Разновозрастная публика сосредоточенно шуршит в метро разворотами “СПИД-инфо” и никто бровью не ведет. Сказать и показать можно вроде бы все что угодно, а выходящие из Театра Юного Зрителя отроки отпускают вполне откровенные шуточки относительно рода занятий дежурящих наискосок девиц. “Можно все” — кому? Если мы такие свободные, то почему по-прежнему можно только о той стороне, которая “всем нравится”?

Сексуальная революция доковыляла до родимых просторов на одной ноге и с несколько перекошенным личиком, чего, впрочем, почти никто не заметил. Потому что признать абсолютную несовместимость легкого, радостного отношения к сексу и людоедской уродливой практики контроля за рождаемостью — трудно. Те из нас, чья юность пришлась на семидесятые—восьмидесятые годы, далеко не сразу сообразили, что проходила она в

*Арбатова М. Аборт от нелюбимого // Меня зовут женщина. М.: Альян-Матер, 1997.

"вилке" весьма двойственных ожиданий. Конфликтных, взаимоисключающих. Некоторым на эту "вилку" пришлось напороться не однажды, и цена оказалась высока.

С одной стороны, "современная девушка" плевала на ханжескую мораль журнальных по этажу и теток на лавочке у подъезда, она уже слышала про свободную любовь: будем проще — сядем на пол, темнота — друг молодежи, can't buy me love и да здравствует здоровая раскрепощенная сексуальность. Чья? Моя или его? Неважно, пока "у нас любовь". И все это — в условиях полного отсутствия сколь-нибудь надежной и безопасной контрацепции. Варианты массовые, стандартные — от "Как-нибудь да обойдется" до "Ты обещал на мне жениться! — Мало ли что я на тебе обещал".

Так что практическая сторона "здоровой раскрепощенной сексуальности" для женщины означала вечный панический подсчет дней до месячных и идиотские, а то и варварские домашние рецепты. Долька лимона во влагляще — это что! А совет бывалой подружки "как только, так сразу" подмываться сухим вином? А аскорбинка "местного действия", от которой — при неточном соблюдении концентрации — слизистая сходилась ключьями? О качестве тогдашних отечественных презервативов умолчу, на эту тему существует весьма выразительный мужской фольклор. Любопытно, что вольное упоминание — в том числе и на аршинных плакатах в метро — "резинового изделия № 2" (по советской терминологии) стало допустимым и даже весьма прогрессивным по мере осознания угрозы СПИДа: "Эта мелочь защитит вас обоих". Теперь об этом — можно, теперь это связывается в сознании с заботой о здоровье молодых людей. Теоретически — обоюго пола. Интересно, кто вообще стал бы "об этом" серьезно задумываться и тем более вкладывать серьезные суммы в "наглядную агитацию", если бы "тема презерватива" по-прежнему была связана только с нежелательной беременностью?

А на свиданиях нужно оставаться "раскованной" и "современной", потому что женщина, думающая в постели не о том, что "у нас любовь", а о чем-то еще, — это типичное не то. Уж не фригидная ли? Одно из железных правил свободной и раскрепощенной — делай что угодно, лишь бы не запоздрили в холодности.

Если б я была свободна,
 Если б я была горда,
 Я б могла кого угодно
 Осчастливить навсегда.
 Но поскольку не свободна
 И поскольку не горда,
 Я могу кого угодно,
 Где угодно и когда.

Елена Казанцева

До настоящей свободы следовать собственным желаниям что-то далековато: для нее нужно совершенно иное представление о своей сексуальности. Например, как о могучей энергии, которой ты сама можешь распоряжаться, — но уж никак не о предмете оценок и сравнений. Иначе получается, что самооценка женщины в этой немаловажной сфере ей вроде бы и не принадлежит, зависит от другого, ему вручается: тебе хорошо со мной, милый? Тоже мне свобода... Просто другая зависимость: не от запретов родителей, а от благосклонности партнера. А он, между прочим, под свободой чаще всего понимает неотъемлемое право следовать собственной прихоти, стать объектом которой для женщины — большая честь.

При внимательном рассмотрении оказывается, что вся эта развеселая затянущаяся вечеринка случайных связей, весь парад-алле раскрепощенной сексуальности — по большей части новые декорации старой-престарой пьесы под названием “двойной стандарт”. Откровенная патриархальная норма требует от молодой женщины “блюсти себя”, подавляя свою нормальную чувственность. Вот осчастливят законным браком — тогда пожалуйте. Это смешно и несовременно, сказали нам, — так недолго и заслужить репутацию “динамистки”, закомплексованной ханжи, “синего чулка”, фригидной бабы. Подчиняться следует совсем другой норме. Нам теперь нравится, когда женщина не стремится к немедленному браку и проявляет инициативу в постели, нам нравятся “горячие штучки”. Так даже интересней. И уж безусловно удобнее. Опасаться утраты исконных привилегий не стоит, поскольку она никуда не денется: кто правила устанавливал, тот их и меняет.

“Глупые девчонки”, не думающие о “последствиях”, далеко не всегда были такими уж глупыми. Даже очень неплохо соображающая голова не может примирить картину сексуальной “свободы”, которая вроде бы уже и не считается чем-то запретным, — и суровой реальности. Если все серьезно, имеет отношение к жизни и смерти, то почему такое обязательное веселье на эту тему? Если трын-трава, чего женщины так боятся? Это уже с появлением некоторого опыта можно различить в сексуальных анекдотах и присказках мрачную, убийственную ноту: “Женщина, читающая “Плейбой”, чувствует себя почти как еврей, читающий пособие для нацистов”. Услышать ее слишком рано — нестерпимо, разорвет. Какую-то часть картины нужно во что бы то ни стало не понять, не осознать: ведь “нестыковка” проходит через твою единственную юность, когда очень — ну очень! — важно успеть все узнать и почувствовать со своим поколением, вписаться, быть “нормальной девчонкой”. И получалось! Потому что молодость, страсть, плевать на последствия. Потому что очень хотелось любить. А если уж любви не выходило, то хоть чтоб похоже на нее было.

“Он меня уговаривал, что боль пройдет в следующий раз, не кричи, молчи, надо набраться сил, набирался сил, а я только прижмалась к нему каждой клеточкой своего существа. Он лез в кровавое месиво, в лоскутья, как насосом качал мою кровь, солома подо мной была мокрая, я пищала вроде резиновой игрушки с дырочкой в боку, я думала, что он все попробовал за одну ночь, о чем читал и слышал в общежитии от других, но это мне было все равно, я его любила и жалела как своего сыночка и боялась, что он уйдет, он устал. [...] Он мне в результате сказал, что нет ничего красивее женщины. А я не могла от него оторваться, гладила его плечи, руки, живот, он всхлипнул и тоже прижался ко мне, это было совершенно другое чувство, мы нашли друг друга после разлуки. [...] Наслаждение — вот как это называется”.

Это “Время ночь” Петрушевской, дневник незадачливой дочки полубезумной матери. (Мать в ужасе и омерзении читает — чужой дневник! Ее возмущенные ремарки циничны тем особым леденящим цинизмом женщин, чьих жизнь выучила: аборт — спасительное и лучшее из решений, жилплощадь и непрерывность стажа — вот о чем следует помнить.)

Мы к ней еще вернемся, к этой несчастной матери несчастной дочки, и к другим. Слышать эти истории от живых, реальных людей еще больнее. Но позволить себе не знать, не читать, отворачиваться от этой части русского женского наследия — жуткого, завернутого в окровавленную гинекологическую пеленку — означает молчаливо согласиться с таким порядком вещей. Что и делается. Слово предоставляется только обвинению. В том же метро видимо-невидимо плакатиков в жанре “Аборт — это когда мама убивает своего ребенка”. Да, это действительно так. Что тут возразишь? Душераздирающая картинка — расколотая на куски детская головка, притом ребеночек не новорожденный, а годовалый: с кудряшками, с ясными глазками. Что, пробирает? Так ей и надо, безнравственной гадине! Смягчающие обстоятельства к рассмотрению приняты не будут, виновна. Каждая вторая? Каждая ноль целых и девять десятая? Вот эта “ноль целых и девять десятая” едет с работы и взглядом обходит, огибают страшный плакатик: он ведь ей ничем не поможет, он ей — потенциальной или уже состоявшейся убийце — нисколько не сочувствует, он обращается только к ее страхам и чувству вины. Неужели матери, бабушки, сестры непогрешимых господ, это сочинивших и расклеивших, избежали участи подавляющего большинства советских женщин? Поверить, зная соответствующую статистику — тоже лживую и неполную, — невозможно. И праведный гнев обвиняющих нечист, ибо замешен на умолчании, самовольно присвоенном праве не иметь с “этой бабской гадостью” ничего общего. Хорошо быть правым. Плохо — виноватой. Легко жалеть невинных, особенно чу-

жих нерожденных детей. Живых людей женского пола — потруднее. Особенно когда их полный вагон.

...Она автоматически отворачивается. На лавочке напротив народ читает — и на каждой второй обложке что-нибудь “про это”: томные взгляды, призывные позы, полурасстегнутые и приспущенные одежды — просто сплошное “съешь меня”. Все мужчины на этих картинках агрессивны и решительны, все целятся из чего-нибудь куда-нибудь; все женщины готовы отдаться. “Сексуально — это когда всем нравится”, не так ли? Женское тело обязано выполнять свои функции и в той, и в другой системе правил: в первой — “давать жизнь”, во второй — просто “давать”. Кто правила устанавливал, тот их и меняет. Как и когда ему покажется нужным. Жила-была девочка — сама виновата! Осторожно, двери закрываются, следующая остановка...

А пока — “молодо-зелено, погулять велено”, и сколько бы раз ни сходило с рук, рано или поздно дело заканчивается тем, ради чего, собственно, это самое “дело” природой устроено именно так, а не как-нибудь еще. “Задержка” — и значит, “залетела”. Как утверждает устное народное творчество, “если ты беременна — знай, что это временно; если не беременна — это тоже временно”. Переживания молодых и не очень, замужних и одиноких женщин, следующие за закономерной неожиданностью, описаны и известны. Если принятое решение — “оставить”, вся тяжесть сложившегося положения — прошу простить невольный каламбур — все же окрашена некоторой надеждой. Именно надеждой, не более: романтическое представление о том, что всякое зачатое дитя непременно заранее любимо своей матерью, ложно. И откуда, скажите, ожидать такой — якобы инстинктивной — любви, когда большая часть этих женщин сами родились “не вовремя” — то ли лимон был недостаточно кислым, то ли таинственный и по благу добытый “укол” не подействовал, то ли сроки прошли. Станным образом эти матери не могут удержаться и рассказывают дочерям — порой еще совсем девочкам, — как их рождение было ужасно некстати, какого героизма потребовало, какой благодарности заслуживает. Возможно, так выворачивается наизнанку чувство вины: ведь убить собиралась, как никак. А так вроде получается, что не я перед тобой, а ты передо мной виновата. Все полегче. Возможно, просто нужен слушатель, а собственный ребенок до поры до времени не волен отказать слушать (“Маму слушаешь? Хорошая девочка”). Возможно, какой-то бес толкает сделать все мыслимое и неммыслимое, чтобы привязать дочь цепью взаимных обязательств, упреков, власти над ней и — в будущем — ее власти над матерью. Потому что настанет момент, когда вот эта некогда нежеланная и уже наполовину прожившая свою жизнь дочь будет решать, во что оценить теперь уже собственный героизм.

И все же пока есть жизнь, есть и надежда: на изменение семейного сценария, на отца ребенка, на собственные силы. Не исключено, что не очень обоснованная, слабенькая, наивная, — но надежда. Или всего лишь иллюзия, связанная со старой как мир игрой в "женить на ребенке"? А может, это вообще не надежда, а отчаянное игнорирование реальности. В каких-то случаях — следование моральному запрету, заповеди "не убий". В каких-то — бессознательное желание именно такого исхода.

Боже мой — распускаются веники!
 Что-то нынче весна преждевременна...
 Я сварила на ужин вареники
 И призналась тебе, что беременна.
 Ничего не ответил мой суженый,
 Подавился улыбкою робкою
 И ушел, отказавшись от ужина,
 И оставил конфеты с коробкою.
 А на что мне они — шоколадные?..
 Мне бы кислой капусты, как водится.
 Ой, любовь моя — песня нескладная:
 Там где сшито — по шву и расходится...

Елена Казанцева

Человеческое дитя нуждается в долгом и тщательном выращивании, в постоянном внимании и любви — это азбучная истина, подтвержденная таким количеством наблюдений и экспериментов, что и не перечесать. Матушка-природа сурова и неспроста запрограммировала некоторую избывточность инстинкта размножения: одна моя одноклассница году этак в восемьдесят девятом говорила: "Срочно нужно рожать еще — говорят, через десять лет будет страшная эпидемия СПИДа". К счастью, прогноз (уж не знаю, чей) подтвердился не полностью, да и не в нем дело: вполне реальная женщина Оля сказала — так, к слову — нечто, что может показаться жестоким, чрезмерно расчетливым, почти чудовищным, а это всего лишь голос рода, его намерения продолжаться во что бы то ни стало и учитывать возможные убытки. Оля, между тем, прекрасная мать и нежно любит своих сыновей — это ее личное, человеческое и женское. Оля как одна из миллионов дочерей Матушки-природы советует рожать "про запас", авось сколько-нибудь да выживет — это ее "видовое". Она и говорила-то не все-ррез, — но озвучила глубокую и обычно погребенную под "культурным слоем" тревогу мощных и безразличных к нашей единственной судьбе сил.

Еще одна милейшая мама — как она ловко и весело управлялась с двумя рыженькими погодками, это надо было видеть! — говорила уж совсем вопиющие вещи. Биолог по образованию, она вывела некую теорию брака, основанную на интересах рода, даже вида. Для того чтобы выросло нор-

мальное потомство — физически и психически здоровое, адаптированное к среде обитания, способное в свой час размножаться и завоевывать жизненное пространство, — младенчикам нужны родители или их полноценная замена. “Поскольку мы не пингвины с их “детскими садами”, — продолжала она мысль, — то все-таки родители”. При этом мать новорожденного должна быть в идеале спокойна, внимательна, довольна собой и жизнью, как любое млекопитающее. Но если кошка в этом состоянии пребывает несколько месяцев и даже может себя и детей прокормить, то человеческий детеныш требует гораздо больше времени и сил. Все заморочки, связанные с постоянным сексуальным партнерством — это происки Матушки-природы, таким образом обеспечивающей надежность зачатия и защиту потомства. Желание женщины удержать отца своих детей, привязать его к себе и ребенку — это биологически целесообразная программа, в силу своей древности не учитывающая всяких там новейших возможностей обойтись как-то иначе. Дети рождаются не для того, чтобы родители были счастливы, — наоборот: вся легенда семейного счастья, “гнезда” работает в итоге на дальнюю цель рода, а именно, на конкурентоспособное потомство. “Инстинкт”? Возможно. Не знаю.

Знаю другое: во времена, когда долго — на памяти нескольких поколений — женщина-мать чувствует себя в опасности, когда страх, голод и насилие угрожают ее гнезду и потомству, когда она сама “не в счет”, что-то необратимо калечится, словно бы перекрывается (или, может, выворачивается наизнанку?). Мне известны десятки случаев, когда женщину на первый аборт за руку приводила именно мать: произносились-то при этом жестокие бытовые слова насчет “куда тебе” и “кому сейчас нужен этот”, решение сразу объявлялось единственно возможным. Но кто — или что — вело за руку саму мать? Почему она не научила предохраняться, а вместо этого...

“Что делать, о Господи, что делать? Что еще возникло в воспаленном мозгу этой самки? Зачем ей еще ребенок? Как она пропустила срок, как не сделала аборт? Ежу ясно. Пока мать кормит, часты случаи отсутствия прихода Красной Армии, как моя дочь в разговорах со своей еще Ленкой: “Красная Армия пришла, на физкультуру не иду”. И многие так обманываются. Кобель лезет, его какое дело. [...] Тогда-то она и стала толкаться к врачам [...], а они ее хоп — и поймали... Им, можно подумать, очень необходимы эти дети. [...] Ни для чего, а так. Цоп ребенка! Еще один, а кому, зачем? Надо было найти человека! Сестру в белом халате, чтобы сделать укол, женщину в белом, бабы-то справляются, и на шестом месяце тоже. [...] Почему не позаботилась? Мать обо всем нашлась мучиться?”

Все та же история, написанная Петрушевской, — про маму Анну Аркадьевну, дочку Алену и ее детей. А еще про умирающую на зловонной больничной койке мамину маму Серафиму. Все они родились "некстати". Все были молоды, любили, надеялись.

"Люди в белом" — это отдельная тема. В недавние времена, рассказывали, была такая практика: чтобы получить направление на аборт, обязательно надо было прослушать в консультации лекцию о его вреде. Милая усталая докторша, конечно, эту бессмысленную лекцию читать не жаждала, но так-то порядки. Начинала уютно, по-домашнему: "Что говорить, девочки, никому мы без детей не нужны. А детей после всего, что вы вытворяете, может и не быть..." Потом — жуткие описания всех возможных осложнений. В конце: "Ну ладно, девчонки. Бегите, скоблитесь. Антибиотики пейте на всякий случай". Это, как вы понимаете, еще цветочки. Далеко не самое страшное, что можно увидеть и услышать в женской консультации и уж тем более в роддоме. Фабрика — она и есть фабрика: на одном конвейере убивают, на другом — наоборот...

"Подавленные женщины, сидящие на стульях перед входом в операционную, крики сиюсекундной жертвы и выведение ее под белы ручки, со всеми мизансценическими подробностями... Она падает, сестры прислоняют ее к стенке и стыдят: "Вы, женщина, думаете, что вы у нас одна такая? Вон, целая очередь ждет! Давайте быстрее в палату, и пеленку толком подложите, кровь-то льется, а убирать некому! Вы же к нам нянечкой работать не пойдете?" Производственная бытовуха; ожидающие женщины, деловито поглядывающие на часики, что они еще сегодня успеют по хозяйству кроме аборта; устало-злобные сестры; надсадный крик из-за закрытой двери... По лицам видно, что все идет как надо, взрослые люди привычно занимаются взрослым делом, и только я, инфантильная дура, ощущаю происходящее в трагическом жанре"*.

Кровь-то льется, а убирать некому. Никому мы не нужны. Вон целая очередь ждет. Еще один, а кому, зачем? Почему не позаботилась? Не сознающая себя жестокость. Привычное бесчувствие. Так обходятся с нами, причем с самого начала жизни, и не только нашей собственной.

"Нас тут не стояло"? Сами к себе относимся, естественно, так же — безжалостно и глухо. Страдание настолько немо, так давно признано само собой разумеющимся, что и за страдание не счи-

*Мария Арбатова "Меня зовут женщина". На мой взгляд, эту книгу, как и "Аборт от нелюбимого", прочитать обязательно надо, и не для литературных наслаждений. А для того, чтобы яснее видеть, четче понимать и успеть поступить со своей и чужой жизнями не по живодерской традиции, которую мы все унаследовали, а как-то по-другому.

тается — а кому вообще хорошо? “Этот мир организован так, что проще убить, чем вырастить. Я ненавижу этот мир, но сегодня он сильнее меня даже внутри меня...”*

Что вы орете, женщина? Следующая!

“ДОЧКИ-МАТЕРИ” НАОБОРОТ

Когда разверзлись тайны пола,
за пять минут меня разрушив,
все стало безвоздушно полым
внутри, а главное, снаружи.
И выбравшись из-под завала,
лепя ошибку на ошибку,
чем только я не затыкала
пробоины в своей обшивке!..
И отрывали плоть от плоти,
и увязали в красной глине
ярко накрашенные ногти
дежурной гинекологини...

Вера Павлова

Я знаю, что про это страшно читать и еще страшнее думать. Но уверяю вас, избежать прямого разговора никак нельзя. Хотя бы потому, что мы помним и знаем про это — без кавычек! — гораздо больше, чем нам самим кажется. Наши матери имели свой опыт — так же не обсуждаемый вслух и даже в еще большей степени. Имели его и бабушки. И еще как. И уж конечно, один-два ребенка в средней городской семье — это не результат тотального воздержания их родителей, таких же молодых и горячих, как и любые молодые во все времена.

...Работаем как-то раз в городе Эн. Героиня наша уже в зрелых летах, группа учебная и состоит преимущественно из врачей. На дворе девяностые годы. Тема — вроде бы совсем другая: семнадцатилетний сын гонял на мотоцикле, довольно сильно разбился; отец героини — в прошлом летчик-испытатель, не единожды попадал в аварии; Татьяна задается мучительным вопросом: не “транслирует” ли она сама сценарий рискованного, опасного для жизни поведения своему Славику, не с ее ли неосознанного благословения он гоняет так быстро и тормозит так резко? Поскольку речь явно

*Там же.

идет о семейной истории нескольких поколений, начинаем с года рождения героини, с ее собственного "приданого".

Ведущая: Таня, чем было для Вашей семьи Ваше рождение?

Татьяна: Проблемой. *(Беспомощно, кротко улыбается, словно извиняется.)*

Ведущая:???

Татьяна: Меня не должно было быть, мама обращалась к нескольким врачам, но город маленький, никто не рискнул. Тогда за это сажали. Я появилась очень некстати.

Ведущая: Что Вы чувствуете, думая об этом?

Татьяна: Я так часто слышала эту историю, что как-то ничего не чувствую... Маму жалко. Неустроенная, молодая, совсем одна, муж только демобилизовался — тоже ведь трудно после армии в мирной жизни. А тут еще... Это уж не проблема, а прямо беда.

Знакомо? Еще бы! Прямой смысл родительских "сообщений" настолько затерт повторениями и привычной, обыденной интонацией, что как-то даже и не воспринимается. А он, между тем, ужасен. Ты — некстати, ты — беда, без тебя нам было бы легче. Нет, конечно, потом полюбили, умилялись, записывали первые слова, с гордостью вели в первый класс в белом фартучке и с бантами, все как у людей. Они такие понятные, такие знакомые, эти родители. Им трудно, им сочувствуешь — ну что поделаешь, такие времена, никто из врачей не рискнул меня убить. Извините, я родилась так некстати и в таком месте, где цена всякой жизни — копейка. Зато здесь хорошо умеют героически умирать...

На следующий день после Татьяниной работы, которая вообще-то была на совершенно другую тему, несколько женщин в группе пожаловались на боли "в области яичников" — доктора же. "О чем болит?" — спрашиваю. "О нерожденных детях, это ясно". И пришлось нам снова повернуться лицом — и с открытыми глазами — ко всем случайным, нежеланным, рожденным и нерожденным, своим и своих родителей. Чтобы проститься, оплакать, попросить отпустить, понять...

Не могу не вспомнить другую группу — работал со своей темой вообще мужчина, и тема была уж и вовсе не про то... Федор — крепкий сорокалетний мужик с профилем конкистадора, серьезный и основательный, на свой лад просто-таки киногерой. Немного замедленный — не так, как бывает у флегматичных по натуре, а словно бы придерживающий себя, притормаживающий. Тема — отношения с отцом: "Он стар, он скоро уйдет, а мы до сих пор не можем научиться разговаривать по-человечески. Я его люблю. Он

меня любит, знаю. Но вот с тестем я могу говорить про свое, про семью, про чувства, — а с отцом зубов не разжимаю, никак. Хочу просто успеть”.

Ну, и стали разбираться, что ему сжимает зубы. Ведь если бы не было потребности, если бы что-то не рвалось изнутри, то и на группу бы не пришел, и работать бы не вызвался, и — самое главное — зубов бы не сжимал. Что, что рвется наружу — и что держит, намертво переключивает? У отца было пятеро братьев, трое погибли на войне, двое доживают свой век мрачно, ругаясь со своими старухами и попивая горькую. А еще была сестренка, умершая в детстве от скарлатины. Дед о ней очень горевал, любил сильно. Дело было еще до войны, в деревне, помощи никакой — и сгорела девчоночка. Дед ушел воевать, погиб первым из семьи. А еще... И вот тут Федор еще больше каменеет, желваки играют, слышно, как зубы скрипят в самом прямом смысле слова. Еще — что? Или — кто? И прорывает.

А вот это уже история про то про самое. Неспроста рассказываю со всеми военными семейными подробностями, — ибо это одна история, одна семья и одна страна. Еще была тетка, сестра шести братьев и малышки Верочки. Молодая красавица Люба, умершая незадолго до рождения Федора. Зубы скрипят, и из самого нутра вырывается сдавленное рыдание: “Ее бабка убила, Любочку”.

Ведущая: Что произошло, Федор? Если это не чересчур для Вас, поменяйтесь с Любой ролями. *(Он медлит несколько секунд, мотает головой, чтобы стряхнуть слезы, не замечает протянутого носового платка, потом решительно садится на стул покойницы тетки.)*

Федор (из роли Любы): Я Люба, дочь Пелагеи Ивановны и Николая Семеновича. Меня убила моя родная мать. Своими руками сделала мне аборт, и я истекла кровью. У меня был роман с приезжим интендантом, он был женат. Я больше ничего не знаю. Мне было двадцать три года. Я — самая страшная тайна семьи. Братья у меня герои, батя герой, а я умирала, как зарезанная свинья, в луже крови. Мама, неужели так было надо?

...Я не утверждаю, конечно, что невозможность прямо и душевно разговаривать связана у мужчин этой семьи с тенью несчастной Любы — это было бы слишком простым ответом. Хотя подумайте: все они праздновали, поминали и просто обедали за тем самым столом, на котором... Все они боялись, что посадят мать. Любили — не любили, винили — не винили, но защитили, лишнего слова при чужих никто не обронил. Они хоронили сестру без матери — сама не смогла или они не пустили? Пелагея Ивановна, получившая все свои похоронки, что она думала, что чувствовала, когда три ее выживших сына (позже и с женами, и с детьми) отпраивались поминать Любочку? Была сурова — это известно. Выдержала все — и это известно.

Убила младшую дочь, пропоров ей матку вязальной спицей. Пережила ее на двадцать лет. Сыновья молчали — но только почти, иначе откуда бы Федору было узнать? Он — заговорил, хрипя и захлебываясь в словах и слезах. Как будто за них за всех — убивавших и убиенных, виноватых и невиноватых.

И для меня эта мужская история — как раз "про то".

Лоб бреют — пойдешь отдавать свою,
лобок бреют — пойдешь отдавать чужую
жизнь. Родина-матка, тебе пою,
а сама партизански с тобой воюю,
ибо знаю: сыну бреют лоб.
Ибо знаю: дочке лобок бреют.
Чайной ложкой лоно твое скреб
Ирод. Роди Ирода. И Назорея.

Вера Павлова

Неужели непонятно, что для истинно человеческого, трепетного отношения к будущей жизни нужно по меньшей мере испытать такое же отношение к жизни вообще? Любой — старой, молодой, мужской, женской, детской. Тяжело учиться этому, когда все вокруг норовит научить обратному. Стойкость, с которой многие из нас все же пытаются, поразительна и заставляет задуматься. Про то, про это, про разное...

На коротких женских группах на тему нерожденных детей работают не очень охотно — сильное табу наложено годами умолчания о "неприличном", а на самом деле — о не считающемся важным. Но уж если работают, то кажется, что прорвало плотину. И это всякий раз убеждает в том, что всякая подавленная, "запертая" боль (вина, страх, стыд) может ждать своего часа годами, потихоньку поедая нас. И я низко склоняю голову перед отчаянной отвагой тех, кто все-таки решался работать с этой темой и вел наше отворачивающееся, упирающееся сознание к открытому и полному переживанию этой боли. Марина, твою работу на группе видели одиннадцать человек. Это так мало, что мне показалось необходимым дать подробные свидетельские показания "со стороны защиты". И начну я с самого начала — с того, как ты впервые заговорила о своей боли.

Марина: Несколько лет назад я сделала аборт. Тогда как-то не переживала особенно, а чем больше времени проходит, тем чаще вспоминаю, и такая тяжесть... Мне и сейчас очень тяжело и стыдно про это говорить. Кажется, что все в группе осуждают.

Ведущая: Ты хочешь знать точно, так это или нет?

Марина: Нет! Или да. Хочу.

Ведущая: Прежде чем Марина начнет работать, давайте услышим, какие чувства ее будущая работа вызывает. Мы уже знаем, о чем она.

Участница группы: Дикое, животное сострадание. Мне самой не пришлось, к счастью, через это пройти, но это не моя заслуга.

Вторая участница: Понимание. Я так же “не переживала”, но это было столько лет назад и, честно говоря, столько раз, что мне уже не отмыться. А Мариночка у нас молодая, и лучше пусть эту тяжесть оставит здесь.

Третья участница: Зависть. Твоей смелости завидую. Я бы не смогла даже здесь.

Четвертая участница: Страх.

Пятая участница: Я чувствую физическую боль и тяжесть внизу, и поясницу поламывает. Как сами знаете после чего.

Шестая участница: Марин, мы здесь все не святые, просто у многих уже отболело. Держись!

Седьмая участница: Всколыхнулась собственная вина.

Восьмая участница: Сочувствие, хочется поддержать. Я готова играть любые роли, пусть даже самые ужасные.

Девятая участница: Давай, Мариша, ты молодец, что вообще эту тему подняла. У меня дочка твоего возраста. Я с тобой.

Десятая участница: А мне очень страшно, так страшно, что даже выйти хочется. Но я не выйду.

Одиннадцатая участница: Я сразу провалилась в свою память. И очень мне туда не хочется, но, наверное, надо.

Ведущая: То, что ты услышала, для тебя как-то меняет дело?

Марина: Мне легче, хотя я все равно до конца не могу поверить, что это могут принять, особенно те, у кого дети.

Ведущая: Работаем?

Марина: Работаем. О результате... Я хотела бы, чтобы немного отпустило. Я не снимаю с себя ответственность, я только хочу, чтобы эта память не так терзала. Мне кажется, что без этого результата о ребенке даже думать нельзя.

Ведущая: Отпустило — что?

Марина: Голоса, картины. Голос, который говорит, что я дрянь, женщина без совести, убийца. И голос, который говорит, что ничего особенного, подумаешь, с кем не бывало.

Ведущая: Давай услышим их во всей красе. (*Марина выбирает из группы Осуждающий Голос и Наплевательский Голос, меняется ролями с первым. Вот что он говорит.*)

Марина (от имени Осуждающего Голоса): Ты — убийца, и нечего отворачиваться. Как ты можешь жить после этого? Ты еще будешь наказана! Ты не родишь здорового ребенка, ты вообще не родишь или умрешь молодой от какой-нибудь мерзкой болячки. Что ты ежишься, что ты плачешь теперь? Раньше надо было думать!

Голос настолько общеизвестный, что я предлагаю группе присоединиться и подублировать его. Получается вот такой хор фурий:

- Ты погубила свою душу, тебе нет прощения.
- Развратная дрянь, так тебе и надо, мучайся теперь.
- Только дуры попадаются.
- Да, теперь тебе уже и терять особо нечего.
- Как ты могла? А если бы я в свое время от тебя избавилась? Ты думаешь, ты мне была очень нужна тогда?

Марина все это время пребывает в роли Осуждающего Голоса, удовлетворенно кивает, повторяет подсказанные обвинения, а сразу за последним, без паузы продолжает:

Марина (от имени Осуждающего Голоса): Легко жить собралась, без последствий? Да ты знаешь, что теперь с тобой может быть? Раньше надо было думать!

Ведущая: Осуждающий Голос, Вы чей?

Марина (от имени Осуждающего Голоса): Я — Мать! Я возмущена своей идиоткой-дочерью. Нет, ты слушай, я тебе еще не все сказала! (*Обмен ролями, повтор, на этот раз Марина все это слышит, стоя напротив Фурий, а главный Обвиняющий Голос превратился в Мать.*)

Ведущая: Когда ты слышишь все это, что с тобой происходит? (*Марина съезживается, сначала стоя, потом на коленях, потом и вовсе сжимается в комок на полу в позе эмбриона; слышен глухой задушенный голосок.*)

Марина: Для меня все кончено, мне нет прощения, лучше умереть и ничего не чувствовать. *(К ведущей)* И тут раздается второй. *(Обмен ролями).*

Марина (от имени Наплевательского Голоса): Что ты разнюнилась? Ты что, первая? Какое там убийство — восемь недель! Кусок мяса, бородавка. Выскоблилась — и отлично, спасибо, что под наркозом. Все прошло удачно, сплюнь и забудь. Не будь ханжой, никому твои сопли не интересны. И не вздумай ему ничего рассказывать — сам подставил, сам же первый и осудит. Мало того, что бросит, еще и в душу наплюет. Если мы такие нежные, раньше думать надо было!

Ведущая: Наплевательский Голос, а Вы кто?

Марина (из роли бабушки): А я — ее бабушка, медработник. Да, я не одобряю, но не рожать же ей! Кому сейчас этот ребенок нужен? Конечно, думать надо, прежде чем в трусы пускать. Но лично я тоже на кресле враскоряку свое отверещала, а как же? Потом на козлов этих вонючих смотреть не могла. А Лариска у нас — ханжа. Не пойми в кого. Между прочим, она тоже не планировалась. Прошлепала. Замоталась по дежурствам, муж как раз гулял очередной раз. Опоздала.

Ведущая: В каком году это было?

Марина (из роли бабушки): Да в пятьдесят шестом, не так давно и разрешили-то нам свободу эту. И на том спасибо. Легально, с большим, чего ж еще? Скоблись не хочу! Моя заведующая, между прочим, их сделала семнадцать. И ничего!

Ведущая: Марина, выйди из роли бабушки и стань своей мамой Ларисой. Лариса, Вы хотите что-то сказать своей матери, Мариной бабушке?

Марина (из роли матери): Мама, почему ты такая грубая, злая, за что ты меня ненавидишь? *(Обмен ролями, Марина отвечает из роли бабушки.)*

Марина (из роли бабушки): За что, за что — за то самое. Я с тобой вляпалась, да ты еще и болела: то уши, то коклюш, то корь в садике. Сергей совсем от рук отбился, на работе недовольны, ты гундишь... Да не тебя я ненавижу, дура ты моя правильная. Жизнь я эту распрекрасную в гробу видала. Больше ни разу не опоздала, ни-ни: все как по писаному, девять недель — и привет танкистам! И нечего на меня пялиться, как будто ждешь чего. Я лично тебе

дала все, что могла! И уж за тобой присматривала будь здоров! Ах, скажите пожалуйста, я переписала ее записную книжку! Ах скажите, я рылась в ящиках! Я тебя оберегала, дура, и правильность твоя — моих рук дело, твоей заслуги тут нет! Тоже мне, целка-невидимка... Ты бы за своей девкой смотрела, как я за тобой. Может, и уберегла бы. А ты только и знаешь, что морали ей читать. А какое твое право, что ты вообще в жизни испытала?
(Обмен ролями, Марина снова в роли своей матери Ларисы.)

Марина (из роли матери): Мама, пожалуйста, помолчи минутку. Мариша, девочка, я на тебя свалила слишком много. Я говорю тебе то, что до сих пор не отваживаюсь сказать своей матери, потому что я до сих пор ее боюсь. Но и ты меня пойми: ведь я живу случайно. И она никогда не забывала мне об этом напомнить. Ты — не случайность, не ошибка. Это главное. (Обмен ролями, Марина отвечает матери.)

Марина: Мамочка, мне тебя жалко. Мне и бабушку теперь жалко, ты не смотри, что она такая железная, она не злая, это не то. Баба Тома, неужели тебе никогда не было жаль? Себя, дочку, тех деток? (Обмен ролями.)

Марина (из роли бабушки): Да вашу мать, не могла я себе такого позволить! Я бы волком взвыла, а какой вой — жила в коммуналке, работа сменная, час десять трамваем, муж гуляет, что вы все понимаете?

Ведущая: Бабушка Тамара Васильевна, Вам никогда не хотелось проститься с теми детками?

Марина (из роли бабушки): Да где, их и след простыл. Я в лесу иногда к дереву прижмусь — и реветь. Говорят, все травой прорастем. Поеду вроде за грибами, кому какое дело. Одной-то побыть редко удавалось, распускаться на людях не больно хорошо. Вот в лесу прошибало маленько. О чем — не знаю. Может, и о них.

Ведущая: Поехали, Васильевна, в лес...

Марина (из роли бабушки): Ну, поехали.

Делаем лес — стоят взметнувшие руки Деревья (все, кроме исполнительниц роли Ларисы и Наплевательского Голоса, после обмена ролями временно ставшего Мариной.)

Лариса: Ведь я живу случайно (издалека, глухо).

"Марина": Бабушка, неужели тебе никогда не было жаль?

“Баба Тома”: Ах, девки, что б вы понимали! Молчите, при вас не хочу!

“Деревья”: Все травой прорастем... Говорят, все травой прорастем...

Марина в роли своей бабушки вдруг опускается на четвереньки, как бы даже немного присев на “задние лапы” и раздражается самым настоящим воем. Я слышу где-то среди Деревьев глухое рыдание и жестом предлагаю присоединиться к Волчице-Плакальщице, в которую превратилась Тамара. И такой кучкой из пяти-шести рыдающих, воющих, раскачивающихся женщин — или волчиц? — мы сидим на полу. Здесь же с нами оказался и Наплевательский (бабушкин, как мы уже знаем) Голос — сейчас в роли самой Марины, и Лариса — случайная гостья в этом мире, нежеланная дочка, и еще кто-то...

Столько труда нам стоило разрешить себе этот плач — ведь не за себя одних, а и за тех, кто уже не заплачет, — что теперь он должен иссякнуть, завершиться естественно. Вообще в работе такого рода очень важно ничего не форсировать и не прерывать: чувство, как и многое другое, лучше “знает”, когда ему родиться.

Но и это еще не все. Это половина работы. Есть еще большой пласт, связанный с виной.

Ведущая: Марина, что подельвают голоса? (*Разумеется, все вернулись в свои роли.*)

Марина: Молчат. Я, правда, не понимала, чьи они.

Ведущая: Что ты чувствуешь сейчас?

Марина: Знаете, только когда они затихли и перестали меня долбать, я почувствовала, как на самом деле виновата.

Ведущая: У кого ты могла бы попросить и получить прощение?

Марина: Мне трудно представить себе этого ребенка даже как душу.

Ведущая: Закрой глаза и представь себе кого-то, кто тебе сейчас нужен.

Марина (после минуты с небольшим): Только не смейтесь. Это будут яблоня с яблоками, Сикстинская Мадонна и моя прапрабабушка, у которой было семь детей.

И вот что сказали (разумеется, Марининым голосом) эти три персонажа.

Прапрабабушка: Что бы ты ни сделала, ты все равно моя наследница, моя кровиночка. Я вас всех люблю и жалею, и маму твою, и бабушку, и всех своих. Поубивалась — и правильно, есть о чем, но не век же тебе слезы лить! Ты на деток на маленьких чаще смот-

ри, не бойся. Вон нищих сколько с младенчиками, подай копеечку. Чем головой об стенку биться, погляди: может, подружке какой помощь нужна с маленьким? Каяться-то тоже нужно с умом. Эх, молодо-зелено... Живи, деточка. Живи и помни.

Яблоня: Сейчас я нарядная, вся в румяных яблочках, но их соберут, листья облетят, и буду я голая, как мертвая. А потом придет весна, трещинки от морозов заживут, буду и цвести, и плодоносить. И ты так, и все вы... Я сама жизнь, ее круг. Не добрая, не злая, начинаю и заканчиваю, снова начинаю. Слушай свои круги, знай, когда тебе облетать, а когда цвести и плодоносить. Ты получила свой урок. Я продолжаюсь, а ты жива, и может быть, следующий круг пройдешь лучше этого.

Сикстинская Мадонна: Я скажу тебе так, как сказал одной женщине мой Божественный Сын: "Иди и больше не греши". Иди, милая. Пора жить дальше.

Работа была закончена, Марина вывела из ролей всех, кто еще в них оставался, мы сели в круг говорить, и сказано было немало. Но об этом как-нибудь в другой раз. Не знаю, передает ли текст то ощущение покоя и света, которое мы все испытывали в последней сцене. Хотелось бы верить, что все-таки передает.

И понятно, что лучшая "профилактика" тяжкого греха — это безопасная и неунизительная контрацепция. Но не только. Поскольку в деле продолжения рода сплелись и гудят мощнейшие "струны" бытия (в том числе и такие силы, которые больше и глубже нашей короткой жизни), приходится заглянуть в себя и попытаться понять, чего же на самом деле я стремлюсь достичь, какие страсти и потребности живут и конфликтуют во мне. То, что не прочувствовано, не стало частью сознания, — будет сказано самим телом, его таинственной и сложной работой зачатия и плодоношения. Все сюжеты про таблетку, которую почему-то забыли принять, про "случайно" перепутанные подсчеты — это сюжеты о решениях, которые по тем или иным причинам не были приняты сознательно, но приняты — были.

Знать, чего хочешь на самом деле, не легче — иногда это нам может совсем не нравиться. Очень трудно не лукавить вообще, стократ трудней — в тех именно человеческих отношениях, которые изначально полны подозрений, ловушек, попыток манипулировать партнером. Не своих, так чьих-нибудь еще. В этом смысле наивно ожидать от наших мужчин понимания: их мир этому не учит. Обвинения, обиды, тайное или явное предъявление счетов никуда не ведут, и если мы не хотим пополнить собой бесконечную очередь жертв-убийц — не ты первая, не ты последняя, — то нам ничего другого не остается, кроме как выскочить из стереотипа. Стать не первой-последней, а единственной — хотя бы для себя одной.

Принять на себя ответственность за свое тело, относиться к нему уважительно наперекор всей лицемерной, женоненавистнической “практике” — безумно трудно. Но другого выхода нет. Важно с этим успеть в молодые годы, когда искушение слепо принять то, что навязывают, или назло поступить наоборот — сильное, а опыта житья своим умом еще немного. Ах, как хорошо было бы при этом еще и быть дочерью матери, которой нравится быть женщиной! Которая принимает свое тело и гордится им не только потому, что оно желанно или способно давать жизнь, — а просто потому, что оно живет и чувствует. Которая может и дочку научить радоваться своему телу не потому, что “тебе еще рожать”, а просто потому, что дочка сама по себе ценна, любима и уникальна.

И если сложилось так (а часто именно так и складывается), что от наших матерей этого ожидать невозможно, остается только взять на себя этот труд и эту ответственность и меняться самим. В каком-то смысле остается только стать самой себе такой матерью, которой заслуживает каждый ребенок: мудрой, любящей, терпеливой.

БАБУШКИН СУНДУК

Жизнь проходит, как сердитая соседка, не кланяясь.

Фаина Раневская

...А сравнительно недавно окованный медью сундук запросто можно было найти на московской помойке. Это сейчас они стали антиквариатом, а тогда с ними расставались безжалостно: крупная вещь не вписывалась в переезд из коммуналки в центре в спальный район. Подтаявшие комочки нафталина в углах напоминали о временах, когда зимние вещи не только хранили годами, но еще и перелицовывали. А уж какой-нибудь габардиновый отрез — чуть ли не трофейный — и вовсе берегся “для внучки на пальто”.

В начале 1990-х, когда радио и телевидение радостно стращали: грядут голод, разруха, гражданская война, — моя покойная бабушка Раиса Григорьевна, дымя “пегасиной”, с бесконечной иронией комментировала: “Ну что мне этот молодой человек рассказывает! Как будто он их видел, голод с разрухой! Он бы лучше у *меня* спросил!” У них мало кто что спрашивал: ставшие старухами в пятьдесят, знающие секреты обращения с гнилой картошкой и умевшие приготовить три блюда из килограмма костлявой мороженой мерзости, они никому не были интересны. Некоторые все же стали “антиквариатом”: прибежали поворотливые девочки с диктофонами, откуда-то повытрясли старые фотографии... Но это если старухи имели отношение к знаменитостям, к тому, что *принято* считать историей, — “Старухи были знамениты тем, что их любили те, кто знамениты...” — к политике, к войнам и репрессиям... ну хоть к театру и кино на худой конец.

Остальные ушли, ничего не сказав в камеру: она не жалуется старух. И никто не склонил головы перед незаметным, растянувшимся на десятилетия тихим подвигом миллионов женщин, не прыгавших в тайгу с парашютом и не покорявших целину, а лишь стоявших насмерть на порогах своих — и

каких, мы-то знаем! — жилищ с выполосканной до скрипа тряпкой и квитанцией “за свет”.

Нас больше нет. Сперва нас стало меньше,
Потом постигла всех земная участь.
Осталось только с полдесятка женщин,
Чтоб миру доказать свою живучесть.

Мы по утрам стояли за кефиром,
Без очереди никогда не лезли,
Чтоб юность, беспощадная к кумирам,
Не видела, как жутко мы облезли.

Дрожали руки, поднимая веки,
Чтоб можно было прочитать газету.
Мы в каждом сне переплывали реки,
И все они напоминали Лету...

Юнна Мориц

В моей семье откуда-то взялось и дошло до меня выражение: “Опрятной женщине, чтобы вымыться, достаточно и стакана воды”. Только представьте себе, как она, эта не ко времени опрятная женщина, несла стакан — скорее, алюминиевую кружку — к себе в комнату или в какой-нибудь угол, в лучшем случае отгороженный занавеской, или куда там еще его надо было донести. И заодно додумайте, как происходило само мытье — и на что похожа жизнь, которая породила эту мерку. Грязно-серые — не от заношенности, а от природы — рубашки назывались “смерть прачкам”. Удивительно ли, что столь многие женщины старшего поколения буквально помешаны на чистоте — и как же они раздражали нас, уже считающих газовую колонку недостаточно удобной, уже находящих естественным и нормальным, что из крана течет горячая вода. Правда, течет с перебоями и ржавая, но ведь течет! Ужасно смешно, не правда ли, что какая-нибудь “свекровь номер один” всерьез гордилась белизной своих вручную выстиранных наволочек — как будто *больше нечем*. Делать вам нечего, Нина Николаевна, зачем же так себя мучить? Делать — по большей части — было действительно *нечего*.

В том смысле, что иной формы контроля за грозной и непредсказуемой действительностью, кроме маниакального доведения до блеска личного имущества, не предполагалось. Отсюда и специфические ценности: “Лицо хозяйки — унитаза”. Хлоркой и вонючим хозяйственным мылом — а иначе все кругом грязью зарастет, не дом, а помойка; как же не стыдно так опуститься — чайные чашки, вы подумайте, совершенно черные изнутри, а сода на что? Помойка, между тем, все равно наступала:

“И вот сидим мы все вместе за праздничным столом, накрытым в канун Великого Октября. Канцелярские столы покрыты газетами, сервированы гранеными стаканами, чашками без ручек, алюминиевыми вилками, пластмассовыми тарелками — вот они, драгоценные черепки нашего подлинного быта, именно из такой посуды мы привыкли питаться. [...] Цветы красуются в бутылках изпод молока. Вместо пепельниц консервные банки. Но мы довольны нашей сервировкой, мы очень любим служебные сабантуи.

Бывают, конечно, еще и домашние, семейные праздники, где выставляется заветная посуда и стол накрывается белой скатертью. Но мы так выкладываемся по случаю семейных торжеств, что нам не только праздник — нам белый свет не мил”*.

Это из романа Инги Петкевич “Плач по красной сукке”. Все сказано одним названием. И ни от какого “родства” — исторических корней — отказываться не только глупо и неприлично, но еще и совершенно невозможно: все мы постсоветские женщины, всем так или иначе разбираться со своей персональной “помойкой” — свалкой выброшенных за ненужностью вещей, слов, привычек, иллюзий. Не спешите утверждать, что это не имеет к вам никакого отношения: отказываться от родни и скрывать свое происхождение — это ведь тоже часть традиции, и вы знаете, какой...

Про определенный тип старух говорили: “из бывших” — или, как выразилась старенькая няня одной моей коллеги, “из когдатых женщин”. Незаметно, как это свойственно времени вообще, “бывшими” стали уже не воспитанницы института благородных девиц, а комсомолки-физкультурницы-рабфаковки; а там подошла и очередь предвоенного поколения — “их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее”, и далее — без остановок. Досталось всем.

Как же они справлялись? Как одевались, из чего и во что перешивали? Как отоваривали все эти бесконечные карточки и талоны, как изворачивались хоть что-нибудь приработать, когда и это тоже было нельзя? Как рожали и растили детей, как вообще на это отваживались? Как вставали в крошечном зимнем мраке на службу, куда невозможно было опоздать? Чем держались? О, в нас гораздо больше от них, чем мы догадываемся: от их привычки постоянно беспокоиться черт-те о чем и утешаться малым, от их тоски по празднику и упрямого равнодушия к тому, кого опять “всенародно избрали”, от их надорванного хребта и горького юмора, от их доходящего до абсурда терпения и странной приверженности к особому способу заваривать кофе или ставить пасхальный кулич. На мои “научные” по молодости вопросы о том, сколько же именно следует месить это раз в году бывающее,

*Петкевич И. Плач по красной сукке. СПб: Амфора, 2000. С. 22—23.

восхитительное, смуглое, лоснящееся тесто с родинками изюма бабушка отвечала: “Пока жопа не взмокнет”, театрально понижая голос на заветном словце. Другая бабушка, изувеченная на войне страшной непоправимой хромотой, полола грядки лежа: а что такого? Она же тихо, но всерьез осуждала меня за то, что я не помню, сколько у меня в хозяйстве постельного белья: как же так можно? А пожилая профессор-педиатр на все ахи-охи по поводу здоровья нации басила: “Мы выросли. И они вырастут...”

Тех из нас, кому крепко за тридцать, часто и в самом деле растили бабушки: матерям в такой возможности было отказано, и многие из них даже и не поняли, чего лишились. Пятьдесят восемь рабочих дней по уходу за ребенком или три дня на аборт — вот и весь выбор. (Подумайте о недопустимой роскоши что-то почувствовать по этому поводу, если это *твоя* жизнь и другой не предвидится.)

И как бы наши бабушки ни были далеки от совершенства, какие бы проблемы мы ни нажили в связи с таким — на поколение назад смещенным — особым их значением в жизни внучек... Конечно, материнская фигура бесконечно важна и, по идее, единственна. Бабушек должно быть хотя бы две и по понятным причинам они часто не питают друг к другу нежных чувств. Конечно, пожилой возраст той, которая растит ребенка, накладывает массу отпечатков: тут и чрезмерная забота о безопасности, и нормы другого поколения, и особые отношения с собственной иссякающей и внучкиной расцветающей сексуальностью... Конечно, лучше всего, когда у девочки есть мама с папой, бабушки с дедушками и сестры с братьями. Лучше. Но не вышло. И поскольку мы-то знаем, как оно было на самом деле, мы понимаем и другое: бабушки спасли немыслимое число маленьких женских душ. А что еще они оставили, разбираться уж нам самим. Они сделали, что могли.

Бабушка, видишь, я мою в передней пол.
У меня беспорядок, но в общем довольно чисто.
Глажу белье, постелив одеяльце на стол,
И дети мои читают Оливер-Твиста.

Бабушка, видишь, я разбиваю яйцо,
Не перегрев сковородку, совсем как надо.
В мире, где Хаос дышит сивухой в лицо,
Я надуваю пузырь тишины и уклада.

Бабушка, видишь, я отгоняю безумье и страх,
Я потери несусь, отступаю к самому краю:
Рис еще промываю в семи водах,
А вот гречку уже почти не перебираю.

Бабушка, видишь, я в карауле стою
 Над молоком, и мерцает непрочная сфера...
 Вот отобьемся — приду наконец на могилу твою,
 Как к неизвестному воину, бабушка Вера!

*Марина Бородицкая.
 Из сборника "Я раздеваю солдата"*

Я хочу рассказать вам несколько историй о наследстве — полученном и не полученном, но одинаково важном. О том, что можно найти в "бабушкином сундуке", куда до нас и даже до нее складывались невидимые части наследства "по женской линии", ненаписанной и невостребованной женской истории. Если вы вообще читаете эту книжку, вряд ли возникнет вопрос о том, зачем туда заглядывать. Кларисса Пинкола Эстес называет это "собранием костей" и рассказывает восхитительную и ужасающую — именно так, одновременно и только одновременно! — легенду о Костяной Женщине или Волчице, La Loba, собирающей в пустыне и пением оживляющей косточки. Из кажущихся мертвыми и бессмысленными фрагментов — живое и целое:

"Есть старая женщина, обитающая в тайном месте, которое каждая из нас знает в своей душе, но мало кто видел воочию. Как и старухи из сказок Восточной Европы, она дожидается, когда к ней придет сбившийся с пути скиталец или искатель.[...]

Единственная работа La Loba — собирать кости. Она собирает и хранит главным образом то, чему угрожает опасность стать потерянным для мира"*.

"Старухи из сказок Восточной Европы" — это компания Бабы-яги, которая и сама-то — Костяная нога, и обращаются к ней поневоле, в трудной и безвыходной ситуации. "Забор из человеческих костей" — граница ее владений, именно при взгляде на них замирает от ужаса Василиса, да и кто бы не испугался? Однако вскорости оказывается, что черепа на заборе находятся не столько для устрашения, сколько для света. Того, за которым приходит Василиса.

Как-то само вышло, что на наших женских группах работа нередко поворачивалась к семейной истории, генеалогическому дереву. Не только бабушки, которых мы все-таки знали и помним, но и прабабушки и даже еще более дальние предки оказывались вдруг хранительницами страшных тайн или исцеляющих посланий — чаще, впрочем, и того, и другого. Разумеется, в работе мы имеем дело не с фактологией, — это же не следственный экс-

*Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. Киев: София, 2000. С 36—37.

перимент! — а с семейной легендой, в которой каждая деталь и предмет сохранился не случайно, которую общими усилиями соткали многие люди. Кто-то из них все пересказал по-своему, кто-то многозначительно промолчал, кто-то добавил ярких красок, и у всех были на то свои причины.

Мы носим в себе всю историю своего рода — и мужчин, и женщин, — не ощущая этого; она говорит с нами сотнями разных способов, да слышим мы не всегда. Я иногда думаю, что потребность в “собрании костей” просыпается и начинает властно заявлять о себе тогда, когда, говоря словами Эстес, “вы сбились с пути и, конечно, устали”. Это бывает, когда подступает очередной кризис идентичности, когда старые ответы на вопросы “Кто же я такая, куда иду, чего хочу?” оказываются бессмысленными, а новых еще нет. Так происходит и тогда, когда выбита почва из-под ног, отнята привычная роль, а нужно на что-то опереться. Разумеется, прошлое рода — не единственный ресурс, “косточки” хранятся не только в нем.

У нас, однако, есть особые причины со страхом и надеждой искать свои ответы именно в семейном древе; обращаясь к памяти предков, мы не только ищем отгадок или помощи, но и исполняем что-то такое, что жизненно важно сделать: оплакиваем, прощаем, соединяем оборванные нити, в конце концов, просто подтверждаем: они были, поэтому и мы есть. Может быть, потребность рассказать историю своей семьи тем сильнее, чем сильнее чувство уязвимости, хрупкости людей и семьи перед “превосходящими силами противника”. И дело тут не только в общечеловеческом переживании бренности бытия: в нашей памяти слишком много грозных напоминаний о том, что мы сами, да и наши родители, и их родители — *выжившие*, что мы пришли в этот мир не благодаря, а вопреки историческим обстоятельствам.

“Много лет, не востребованные славой, судьбы моих родных и знакомых просятся пожить на бумаге. А их пойманные фотографом лица с тихим, немым укором смотрят на меня, прижатые толстым стеклом к массивной дубовой столешнице моего выдавшего виды письменного стола. Эта величественная рухлядь со стилизованными под когтистые лапы тигра ножками досталась мне от деда. Письменный стол — самая дорогая вещь, перешедшая ко мне от прошлых поколений, ведь его таинственные полированные когти были первым посторонним объектом, осознанным мною в новом великанском мире. Да еще острый запах ваксы от натертого до блеска паркета, по которому я подползала к заветной цели, стоило меня на секунду спустить с рук”*.

*Шевякова Л. Очень интересный роман. М., 2000.

Все так, и тем не менее... Не только классика — вечность, песчинка в часах истории; в часах этой истории в качестве песка насыпана лагерная пыль, а стертые в нее наши предки — взаправдашние и возможные. Совсем скоро, через десяток страниц, в той же книге того же автора мы убедимся в неслучайности столь сильной потребности дать своим родным "пожить на бумаге": "Свадьбу отгуляли осенью 1917 года, сразу после Успения. Это был последний раз, когда большая и дружная семья собиралась вместе. Никто тогда и подумать не мог, что больше они уже никогда не увидят друг друга"*.

Как всякая реальная потребность, потребность "собирать кости" находит себе разные формы удовлетворения. Кто-то пишет о своих родных прозу или воспоминания, кто-то восстанавливает (а то и сочиняет) себе дворянскую родословную, кто-то наводит порядок в семейном альбоме, кто-то за поем смотрит сериалы (которые часто, по сути, и есть лубочные семейные саги), кто-то читает страшные и дивные тексты Улицкой или Петрушевской, кто-то идет в храм помянуть своих покойников... Каждая из нас вольна делать все это и многое другое. А еще мы работаем с этим материалом на группе. И очень часто "входом" в завораживающий лабиринт семейной истории оказывается что-то очень простое — присказка, пейзаж, вещь или имя. Имена, конечно, обладают собственной магией, без них и поминовение дается с трудом. Как-то раз во время перерыва на обед я встретила в коридоре нашего института Марину Бородицкую, чьи стихи давно и нежно люблю и с особым удовольствием цитирую в этой книге. "Ты что сегодня делаешь?" — "Американца перевожу, а ты?" — "А у меня семейная история, родовое древо по женской линии". — "Ох, это я бы даже переводить не смогла: я как услышу, что прабабушку звали Марфа Несторовна, сразу плакать начинаю". Уверяю вас, Марина — человек в высшей степени здравый, стойкий и трезвый; просто, как у поэта и переводчика, ее чувствительность к тому, что *означает слово*, выше среднего. Я же во время работы не плачу, — но только потому, что свое отплакала и отговорила во время собственной работы с семейным древом (нас учили именно так — на себе).

А с вещами в нашей культуре вообще сложились непростые отношения: где-то у Манделштама сказано, что как только возобладали материализм, стала исчезать материя. "До основанья, а затем...", одним словом. Вещи женские не стали исключением, разве что их уязвимость перед хаосом и разрушением оказалась еще большей: самые мягкие пошли на бинты и половые тряпки, а самые твердые — "камушки" — были выменяны на муку, мыло, драгоценный пенициллин...

*Шевякова Л. Очень интересный роман. М., 2000.

Странные, слишком значимые и оттого какие-то нескладные отношения с одеждой, “тряпками” — это тоже из сундука:

“Никто и нигде не озабочен так своими нарядами, как мы (раньше, правда, мы больше думали об их отсутствии). [...] Вечерние платья в будни, черное в жару, свитера на светском рауте, преувеличенные каблуки и косметика — почти всегда наша женщина выглядит чуть-чуть слишком. Уместность наряда редка, как попадание в яблочко у косоного мазила.

В общем, мы — простые ребята. Денег на одежду тратим немаленько, выглядим совсем не так, как хотим показать, встречных-поперечных уличаем в обмане, сами, как говорили в школе, “врем всем своим видом”, бодро живем интенсивной вещевой жизнью. И будем продолжать жить. До стабилизации или полного краха, что для нас примерно одно и то же. При богатстве и достатке, спокойном завтрашнем дне деньги начнут тратить на совсем другие, серьезные и основательные проекты. А начнись опять разруха и хаос, снова примемся шить штаны из занавесок и бороться с молью”*.

Казалось бы, такой легкий, ироничный текст, да еще на тему, которая официально много лет считалась “не нашей” — было даже такое слово “вещизм”. Неофициально же, как всем нам известно, озабоченность по поводу вещей и в особенности одежды просто зашкаливала — и было отчего. И вот в этом-то легком тексте, как стекляшка в буханке черного, вдруг скрип-хруст: “а начнись опять разруха и хаос”. Да. Вот оно, пойманное, как та моль: нет и не было безопасности, все наши усилия устроить хорошую жизнь — это слабенькая, хотя и постоянная попытка отгородиться от хаоса. Старая вещь это знает. Вещь напоминает, что был дом, стол, свет, семья, — и о том, как все это непрочно, а иногда — и о том, как случилось то, что случилось.

“Бабушка моей знакомой, будучи в молодости женой высокопоставленного то ли красноармейца, то ли чекиста, любила красивые вещи и приобретала их по возможности. Времена были тяжелые. Мужа ее вскорости арестовали и расстреляли как врага народа, а ее отправили в лагерь. Красивые вещи, как выяснилось из достоверных источников, оказались в известном ей

*Евгения Двоскина. Мелкие пуговицы. Заметки, записки, рисунки — очерки нравов московских улиц, уходящей моды, проходящих мимо людей. М.: Время, 2002. (Книжка небольшая, наблюдательность — выше всяческих похвал, главное отличие от литературы “на тему моды” — в авторской позиции: пустяки неспроста, внимание к ним помогает понять, принять и справиться. С чем, сами знаете.)

доме высокопоставленного партийца, избежавшего участи ее мужа.

После многих страшных лет лагерей бабушку реабилитировали. Она возвратилась в Москву. Ей, что вполне понятно, захотелось вернуть свои красивые вещи, и она что-то такое предпринимала в этом направлении. Нынешний обладатель ее красивых вещей, видимо, прознав про это, испугался и сдал их в комиссионки, причем в разные. Не имея достаточно средств, чтобы выкупить все свои вещи, бабушка ограничилась покупкой абажура.

— Этот абажур висит в моей комнате, — заметила девушка, рассказавшая мне эту историю**.

В этом сюжете — таких вообще-то тысячи — самое поразительное для меня то, что записан и рассказан он явно молодыми женщинами и нашел свое место в россыпи баек и воспоминаний о мужчинах, романах, изменах и прочих превратностях личной, любовной жизни. Остроумные молодые дамы без стеснения — и не без горчинки, если вчитаться, — повествуют "о своем, о девичьем" при свете все того же абажура; история называется "Возвращение".

Почему-то мне очень хочется верить, что бабушка рассказчицы действительно *приобретала* свои "красивые вещи", что они — включая и этот самый абажур — были не реквизированы у каких-нибудь лишенцев, а хотя бы выменяны на барахолке. Возможно, я хочу слишком многого...

Иногда в начале групповой работы я прошу вспомнить и описать любую вещь, которая прожила в семье долго. Может быть, у нее нет официального статуса "семейной реликвии", но это вещь с душой и памятью. Какая это душа и о чем память, хорошо видно из самих описаний. Вот несколько, взятых почти наугад из моих записей:

- Серебряные сережки, вот они на мне. Прадед с ярмарки привез трем дочкам одинаковые подарки, чтоб не обидно. Моей бабушке достались такие же, дешевенькие, как сестрам, перед самой коллективизацией. Потом уж какие ярмарки — потом Казахстан.
- Икона Богородицы. С ней была такая история: немцы, когда город взяли, у нас в доме стояли постоем, все ценное забрали. У нее был серебряный оклад. И вот когда они отступали, такой был момент — ничей город, то ли ушли, то ли еще нет. Тихо стало, бабка моя и вышла посмотреть, что и как. А икона наша среди улицы лежит ликом вниз, прямо на грязном снегу. Оклад содрали, а саму выбросили, и почти к воротам. Вот она у нас и семейная.

*Балабанова И., Гурикова А., Леонтьева Н. Девичий Декамерон. М.: ОГИ, 2002.

- Шляпный болван моей прабабушки. Она была модистка. Вещь вроде ненужная, но живет, и уж, конечно, не мне ее выбрасывать.
- Портрет бабушки акварельный. Когда она пропала без вести на войне, кто-то из родни обклеил траурной каемкой. А дед увидел, страшно разъярился и стал отдирать. С двух сторон отодрал, не выдержал и побежал ругаться, кто сделал, чего живую похоронили. Так у этой картинки с двух сторон траур, а с двух нет. Бабушка вернулась еле живая, не до картинок было. Так и осталось.
- Специальный ножичек — тупой, с крючком, с перламутровой ручкой, маленький — чтобы чистить апельсины. Я попробовала, когда подросла, — вроде неудобно или непривычно. Это из какой-то жизни, где во всем порядок и для каждой мелочи свой инструмент.
- Костяной вязальный крючок. Бабушка была не рукодельница, это ее сестры, она рано умерла и, говорят, дивно вязала. Всех этих воротничков-салфеточек, конечно, не осталось, пропали.
- Фотография молодых бабки с дедом на курорте. Все женщины в крепдешине, такие хорошенькие, смеются, прямо Голливуд. И внизу наискосок надпись: “На память о Ялте. 1939 год”.
- У меня в семье это кактус, любимец деда. Растет он медленно, лет ему не знаю сколько, внизу уже в какой-то коре и лысый. Бабушка его называла “Гошин урод” и все ворчала, что он мешает. Но он очень красиво цвел, буквально день или два, и я сама слышала, как она ему вслух выговаривала, что мало. Когда деда не стало, хотите верьте — хотите нет, кактус цвести перестал, а бабушка его как-то даже полюбила.
- Швейная машинка “Зингер”. Берет все, от шифона до брезента. Простой, надежный механизм — конь, а не машина, захочешь — не испортишь. И хороша серьезной механической красотой. Она прокормила всю семью в эвакуации, расстаться с ней ни у кого рука не поднялась, так и живет. Последний раз я на ней шила мешки для переезда — считай, она меня перевозила.

Описания эти смиренны, как и их предмет. А дальше бывает работа — разная, как всегда в группе.

ИСТОРИЯ РОЗОВОЙ ШЛЯПЫ

Сложила на коленях руки,
Глядит из кружевного нимба,
И тень ее грядущей муки
Защелкнута ловушкой снимка.
Как на земле свежо и рано!
Двадцатый век, дай ей отсрочку...
Белла Ахмадулина

Вера — умница, красавица и удачница. Должность, дети. Немного суховата, сама это знает. Говорит, что чувствует себя недостаточно женственной — с тем и пришла.

Начали мы, понятно, с семьи Вериного детства. Папа — “хороший мужик”, большой начальник, редко бывает дома. Мама — “ценный специалист”, “все по правилам”. Бабушка, на которой держится дом: “Я с ней страшно конфликтовала в детстве, особенно в юности. Успела помириться до ее смерти, но доставала она меня страшно. Неласковая, не сочувствующая, просто какой-то *соляной столп*, железяка. Это уж я потом поняла, что и ей досталось. Но она почти никогда и ничего не рассказывала. Наверное, не могла”.

Ведущая: Вера, что для тебя важно в этой истории? Я вижу, что ты сейчас волнуешься.

Вера: Я хочу встретиться не бабушкой, а с ее матерью, Верой Андреевной. Мне кажется, что на ней что-то прервалось, сломалось.

Как обычно, мы строим “место встречи” из ничего: несколько стульев да воображение. Воображение, замечу, не одного человека (героини), а наше общее. Семейные истории у нас, конечно, очень разные, а та, большая — одна. Итак, Вера в роли своей прабабушки и тезки:

Вера (из роли Веры Андреевны): Я сижу на веранде. Накрыт стол к чаю, теплый летний день.

Ведущая: Вера Андреевна, где мы сейчас?

Вера (из роли Веры Андреевны): Юг России, не знаю, как там у вас это называется, а моя родина — Екатеринбург, я дворянка казачьих кровей. Замужем за инженером. Милый человек, труженик. Мы не богаты, сестры устроены лучше, но и он из хорошей семьи, хоть и обедневшей. Дом у нас, конечно, свой. Сад огромный, старые деревья. Это мое хозяйство, мое царство. Дети с няней, работники в

саду, сейчас будем с Алешей пить чай и беседовать. Очень тихо, слышно только пчел. Пахнет цветами, землей, абрикосами.

Ведущая: Вера Андреевна, как Вы выглядите, как одеты?

Вера (из роли Веры Андреевны): О, я за этим очень слежу. У нас, знаете, солнце жаркое, без шляпы и по саду не пройдешь. У меня большая кружевная шляпа — розовая, бросает легкую тень на лицо. Рядом зонтик. Белое кисейное платье с розовой отделкой. К чаю у нас принято одеваться, детей я учу тому же. Нужно уважать свою семью. Я строгая хозяйка, но я еще и красивая цветущая женщина и никогда об этом не забываю.

Ведущая: Вера Андреевна, как сложится Ваша судьба дальше?

Вера (из роли Веры Андреевны): Я не переживу всего этого ужаса. Мой дом разграбят и сожгут, сад вырубят на дрова, мужу придется служить новой власти и переехать севернее, не успев меня оплакать. Младшей, Анечке, будет всего восемь, ей будет очень трудно объяснить, почему никогда — ни-ког-да! — нельзя упоминать ни о нашем родстве, ни о том, где мы жили. Надеюсь, она все забудет — для ее же блага. Она нежная девочка, эти испытания не для нее, но порода наша крепкая, и я знаю, что она выдержит. Мне жаль, что я ее покидаю в тяжелый час. *(Обращаясь к участнице группы в роли Анечки, будущей Верой бабушки.)*

Анечка, ma petite, крепись, дорогая. Господь милостив, и родные помогут, кто уцелеет. Я любила тебя, твоих братьев и папу. Я не виновата, что должна вас покинуть. Жизнь моя была полна радости — за что же тебе такое, моя девочка?

(Я прошу Веру поменяться ролями с Аней и ответить матери, если захочет.)

Вера (из роли своей бабушки Анны): Мама, я так Вас обожала! Я всю жизнь буду помнить это счастье, этот покой, наш сад на Зеленой. Но я никогда ничего не скажу, как Вы велели. Мы будем жить очень тяжело, мне придется пойти работать в пятнадцать лет, из всей семьи выживем только я и папа. У нас теперь другая фамилия. Я выйду замуж без особенной любви, тоже за инженера, но и он погибнет на войне. В моей жизни никогда не будет большой семьи, родных, подруг. Я буду только выживать и очень много работать, копить добро. У меня никогда не будет ни одной непрактичной вещи, я всю жизнь прохожу в коричневом и сером. Но я выдержу, мама.

Не только в этой истории, но очень часто и в других, с отчаянной, горькой подробностью в женских группах “транслируются” детали, которые боль-

ше нигде не могут быть упомянуты, с надеждой хоть на какое-то понимание и сочувствие.

Голые ноги, обмазанные глиной для имитации фильдеперсовых чулок: знай наших! Упрек одной сестры, брошенный другой: "Как за солью идти, так мне, а ты чего у нас такая нежная?" — он непонятен, если не знать, что "идти за солью" — значит шагать через полгорода с двумя ведрами за соленой водой, которую потом самой выпаривать на дровяной плите. Сестра же, которой по болезни нельзя таскать такие тяжести, для этой жизни и правда несколько нежна, о чем ей напоминают по десять раз на дню. Семь накрахмаленных нижних юбок — верх достатка! — в которых выходит замуж прабабушка; и у этих юбок есть своя судьба: из самой последней выкроется распашонки для ребеночка, "лишнего рта", который некстати родится в войну и станет отцом героини-рассказчицы ("Маленьким как раз и лучше из ношеного, оно помягче, а уж тут такое ношеное, что совсем последняя польза, больше ни на что не годно"). Прабабка с бабкой чуть не поругались, кроить или нет: "А как не выживет, на что еще распашонки? Разве что подоткнуться по надобности, так это уж больно шикарно, не барыни". Варварская конструкция "гигиенического пояса" на английских булавках, специфическое ноу-хау для девочек — и еще десятки примеров унижения, даже истязания женского тела, полного пренебрежения его ощущениями и потребностями.

Об этой стороне жизни наших бабушек и прабабушек говорить особенно неприлично, поскольку "личная гигиена раскрепощенной женщины" требовала прежде всего трудоспособности, природные же ее особенности воспринимались как досадная помеха графику дежурств. Между тем не от одной пожилой женщины я слышала о специфическом, ни с чем не сравнимом ужасе "просидеть" юбку. Рассказывали и о чудесах стойкости, когда до мяса стертые этим самым клеенчатым поясом нежнейшие части тела не помешали героическому ответу на экзамене или, того хлеще, сдаче норм ГТО. (Для молодых перевозжу: "Готов к труду и обороне"). Ни одной из моих рассказчиц не пришлось в голову хотя бы отпроситься в туалет и чем-то себе помочь, облегчить свои муки. То есть следовало не только носить, но еще и молчать: стыдно. О, скольким дочерям и внукам отозвалось это "стыдно", это многолетнее надругательство над женским телом!

"Исподнее девочек тех лет было придумано врагом народа человеческого в целях полного его вымирания. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае желтыми, пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались к коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под коленками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину "трико", и вся эта

сбруя имела обыкновение впиваться, натирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белье взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации**.

Любая старая брошюрка типа “Тигиена девушки” (можно “матери и ребенка”, разницы нет) способна сама по себе, без каких-либо дополнительных травм, вызвать приступ омерзения к собственному телу, если позволить себе проникнуться этим запахом карболки, этим духом санпропускника, военного поселения, беды. Да вот, снимаю с полки дефицитнейшее когда-то издание “Краткая энциклопедия домашнего хозяйства” — храню его вместе с “Книгой о вкусной и здоровой пище”, тоже досталась в наследство от бабушки Елены Романовны. Год издания — шестидесятый, вполне мирное уже время, даже оптимистическое. Наугад открываю, выпадает буква “п”. Словарные статьи по порядку: понос, поплиц, поражение электрическим током и молнией, портьеры, поседение волос, послеродовой период, пособие по временной нетрудоспособности, посуда, потертость, потливость, потолок, почки (говяжьи, свиные, бараньи), права матери и ребенка... Я ничего не придумываю и не пропустила ни слова. *Это придумала жизнь, которую заставили прожить наших женщин.*

Вернемся в группу, где Вера, в свою очередь, возвращается “из прошлого” — или из тех мест, где все мы можем разговаривать с умершими или вовсе не существовавшими. В нашей работе это делается так: настоящее, реальность, обозначается в пространстве — проще сказать, стул стоит; весь мир воспоминаний, символов, семейного мифа — в другом пространстве той же самой рабочей комнаты, отдельно. Поколения размещаются в пространстве как на генеалогическом древе, то есть более-менее соответствуют действительности: прабабушка, бабушка, мать. Всю историю фактически рассказывает героиня, но рассказывает *из ролей* женщин своего рода, сначала пригласив на их места кого-то из группы. Это, как и во всяком психодраматическом действии, делается для того, чтобы после обмена ролями она могла услышать свои же слова со стороны.

В этом действии — физическом, буквальном воплощении в прабабушку, бабушку-девочку или кого-то другого — есть невероятная мощь и магия. Сколько раз бывало, что героиня начинала свой рассказ с утверждения “я ничего о них не знаю”, а вошла в роль — и откуда что взялось. И мы, конечно, не претендуем на установление — восстановление? — какой-то “объективной” правды и справедливости: важно только то, как это действие передачи законного “наследства” чувствуется и понимается самой героиней. Это у нее в душе, у нее в памяти восстанавливаются оборванные связи и отношения.

*Улицкая Л. Ветряная оспа // Бедные родственники: Повести и рассказы. М. Вагриус, 2001.

Надо заметить, что тема обрыва родственных связей, вынужденного отказа от фамилии в работе с семейной историей всплывает часто. Страх, вина и особая растерянная немота передаются по наследству — никто не знает толком, как, но передаются. Как и другие болезненные, травматичные переживания, они исцеляются признанием, принятием, проговариванием. Есть особый смысл в том, что о запрете говорить, чувствовать и быть эмоционально живой, открытой рассказывает старшая женщина, прабабушка: она единственная, кто в этой истории знает, как все было до катастрофы. Более того, не она ли — ради выживания семьи, ради спасения — наложила вынужденное заклятье, не она ли сама велела Анечке *ни-ког-да* не вспоминать, не упоминать, не походить на тех, на кого походить опасно? В символическом пространстве нашей работы, где могут встретиться все четыре женщины, только она имеет власть и право назвать все своими именами.

Делая это в роли прабабушки Веры Андреевны, Вера отменяет *свои* — полученные по наследству — запреты. Побывав в роли бабушки Анны Алексеевны и встретившись с любимой и утраченной матерью, Вера не только лучше понимает и прощает бабушку, но и получает шанс оставить часть своего невольного с ней сходства там, откуда это сходство явилось: травматический опыт потери матери, бегства, утраты корней на самом деле не Верин; отраженный, он проник в нее через поколение и стал ее болью, она отработывает "осколочные ранения", хотя мина взорвалась в восемнадцатом году. И конечно, очень сильное исцеляющее переживание — просто побыть в роли этой великолепной женщины, посидеть под яблоней в ее саду: Вере так хорошо там, она так легко и естественно входит в роль своей легендарной прабабушки, в ней и впрямь появляется что-то царственное. Но заканчивать работу всегда следует из своего реального возраста, из настоящего и из своей собственной роли.

Вот, стало быть, Вера устраивается в своем настоящем, а там, в дальнем углу комнаты, сидят ее "вспомогательные лица" и с небольшими сокращениями воспроизводят диалог прабабушки и бабушки. Я спрашиваю Веру:

— Что бы ты хотела спросить, сказать, получить?

— Я хочу, чтобы прабабушка сказала мне, что я ее настоящая наследница и что-нибудь мне дала. Но перед этим я хочу сказать маме и бабушке...

...Мама, мы мало с тобой общались, ты всегда была занята. Мне до сих пор трудно тебя простить, хотя я и знаю, что ты не виновата. Мне тебя не хватало, мне было плохо без тебя. Ты не знаешь, как это важно, какая это радость — играть со своим ребенком, утешать, разговаривать, просто трогать. Я училась этому как

слепая, сама. Я настолько богаче тебя, что мне даже бывает неловко. Прости и ты меня.

...Бабушка, я сегодня впервые осмелилась подумать о твоей горькой, страшной жизни. Сердце разрывается от жалости. Ты не могла быть другой, ты и правда *соляной столп*. От тебя мне досталась воля, трудолюбие, и я благодарю тебя за эти дары. И за то, что ты выжила и я вообще существую.

...Прабабушка, ты прекрасна. Я восхищаюсь тобой. Неужели я и правда твоя наследница?

(Обмен ролями, Вера в роли Веры Андреевны:)

— Верочка, что за вопросы? Ты наша, у тебя же не только имя, но и глаза, и волосы — мои. Я хочу подарить тебе что-то, девочка, что не могли тебе передать Анна Алексеевна и Нина. *(Отдает "розовую шляпу" — кружевной лоскуток из нашего более чем условного реквизита.)* Носи, моя красавица. Это очень женственно, очень к лицу, и это твое по праву. Живи долго и будь счастлива.

(Обмен ролями, Вера принимает подарок и склоняется к руке Прабабушки.)

Мы заканчиваем работу, но не совсем. Еще нужно вывести всех исполнительниц из ролей, после чего мы садимся в круг и говорим о том, какие чувства и воспоминания разбудила, "зацепила" Верина работа.

Таня, исполнявшая роль Прабабушки: Вера, спасибо тебе за эту роль. Ощущение было потрясающее — женщины в зените, в цвету, на своем месте. У меня тоже есть эта недополученная розовая шляпа, только совсем другая. Моя прабабка из крестьян, кружевница и, как у них говорили, песельница. А ей пришлось за плугом ходить, она руки и убила. Прадедушка ее очень любил, берег, пока мог, но он погиб еще в Гражданскую, дальше она одна поднимала детей. Бабушка выучилась на учительницу, и дальше, как и у тебя, в моей семье все женщины как матери были немного нескладные, ушибленные. И за работой не пели уже. Это кончилось.

Полина: Верочка, а я очень остро вспомнила своих маму, тетюшек. Они у меня как раз все были невероятно, безумно женщины, Дамы! Но как-то у них это выходило сплошь и рядом за мой счет. Мне самой уже за пятьдесят, но с самой ранней юности что слышится — "Поля, разбирайся. Поля, сделай, сбегай. Поля, ты не видишь, что мама устала?" Я научилась делать уколы, клеить обои, что угодно. Эта их хрупкость, изящество съели кусок моей жиз-

ни. Я с женственными женщинами всю жизнь чуть-чуть воюю, у меня к ним счеты. И спасибо тебе за это путешествие, потому что я поняла, что моя война закончена. Мои тетки сохраняли иллюзию, что о них кто-то позаботится, безумную иллюзию, бредовую. Но и они тоже не виноваты. Это мне самой почему-то было важно доказать, что я им нужна, не будучи одной из них.

Рита, исполнявшая роль Бабушки: Вера, я все это время чувствовала себя действительно *соляным столпом* — как жена Лота. Я помнила свое нормальное женское детство каждую минуту и каждую минуту знала, что все это рухнуло, сгорело, что больше никогда... Я как будто застыла внутренне, обернувшись туда, назад — и рук у меня уже не было на ласку и всякие глупости. Какие у соляного столпа руки? А как я сама, как Рита, я ощущала почему-то такое облегчение, как бывает, когда тебя простят, снимут с души камень. Может быть, это связано с моими отношениями с мамой — тоже борьба, причем я в той борьбе победила, доказала. А победы-то не бывает, вот оно что. Победа не от хорошей жизни. Я не понимаю, как, но сейчас чувствую такое облегчение, будто сама примирилась со всеми женщинами моего рода — мы разные, но мы свои. И хорошо, что разные.

В тот раз нас было пятнадцать, говорили почти все — невозможно привести все, что было сказано, а кое-что и просто непонятно, поскольку связано с теми работами, которые предшествовали Вериней. Она еще два раза появлялась на наших субботних группах. Это были уже другие группы, и никто кроме меня не мог оценить милую маленькую деталь — бледно-розовый пушистый джемпер, ставший на какое-то время ее новой любимой вещью. Очень мягкий, очень женственный, не похожий на ее прежние вещи, — хотя и в серых деловых костюмах Вера смотрелась великолепно.

Протокол, даже дословный, не может передать самого главного — духа, атмосферы подобной работы в группе. Очень хочется надеяться, что хоть что-то из тех сильных, порой очень тяжелых, но необходимых чувств все-таки может быть выражено сухими черными буквами. Далеко не все, но хоть что-то...

И я вновь обращаюсь к цитатам из женской прозы — не для обоснования, но потому, что женщины-писательницы порой так пронзительно точно выражают самое главное, что лучше и не скажешь. И это тоже о них, наших прародительницах, нашем наследстве. И, конечно, о нас. И первой вспоминается повесть Марины Палей "Евгеша и Аннушка" — о двух соседках по питерской коммуналке. В том, что молодая и талантливая женщина вглядывалась в этих старух с такой пристальностью, с таким горячим интересом к

подробностям их женской старости, привычкам, суждениям и речи, мне видится — с моей психотерапевтической “кочки” — важнейшее послание. Вот она, “женская история” без грима, ретуши и сюсюканья. Кто близко знал и любил женщин этого поколения, тот поймет, что тем самым миллионы их воспеты и оплаканы, и уже хотя бы поэтому их страдания и страшная, покоренная “красным колесом” жизнь оказывается не напрасной — стало быть, и нам есть на что надеяться.

“Нет, что ни говори, Аннушка была Богу угодна. Вот ведь, не погибла она в детстве, чтобы обездвижить горем свою мать. И не вмерзла в кровавый навоз на сибирском тракте. И не в больничном коридоре, по горло в собственных испражнениях она угасла. И она не озлобила своих дальних родственников пустыми хлопотами вокруг разлагающейся плоти. Она умерла в преклонном возрасте, на своей жилплощади, на собственной койке, просто и быстро [...]

— Она была святая, — вдруг сказала я, с интересом слушая не свой голос. — Святая, — повторила я и ударила кулаком по перилам крыльца.

Кулаку не было больно. Голос оставался чужим. Слезы хлынули из моих глаз, которые были отдельно, потому что меня самой не было на том крыльце, — а там, где я была, меня корчило болью, она выхлестывалась наружу рекой, река впадала в море, а море — в океан — земной и небесный; и река эта отворилась с л о в о м. Кто-то за меня — мной — произнес с л о в о, которое оказалось ключом, — и отворилась дверь, и я поняла т а м что-то такое, что сразу забыла, потому что всегда это знать нельзя [...]

И вот еще что. Священные чудовища у кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи.

А разве по-вашему вышло?!”*

И — буквально, напрямую о шляпке... о сумасшедшей старухе в троллейбусе, встреча с которой разрывает сердце, как встреча с забытой, отправленной в небытие частью самой себя. Кроме того, что текст сам по себе блистателен — нет, могут, могут кое-что черные буквы! — он так о многом заставляет подумать, так многое вспомнить, что я осмеливаюсь привести большой фрагмент (жаль, невозможно здесь воспроизвести его весь; на группах я иногда его просто читаю вслух — поверьте, нет и не было лучших слушателей).

*Палей М. Евгеша и Аннушка // Месторождение ветра: Повести и рассказы. СПб.: Лимбус Пресс, 1998. С. 122—124.

"Она была большая женщина, широкая от старости, а не по природе; летнее платье, кремовое в букетиках, с короткими рукавами, надето было на нечистую ночную рубаху. Древнее, чешуйчатое от дряхлости лицо когда-то было белым; таким лицам идут черные брови, и старуха это крепко помнила. Широко, криво, неровно, дрожащей от паркинсонизма рукой она нарисовала себе эти брови, как делала это, привычно, без сомнений, семьдесят лет подряд, со времен первого поцелуя. Эта женщина, древняя как океан, пережила все геологические эры не дрогнув, не струсив, не изменив, не покинув свой пост, подобно японскому солдату, верному императорской присяге.

На голове у нее было нечто вроде сиденья от плетеного стула, нечто, похожее на модель первого самолета, построенную пионером-двоечником, нечто, напоминающее старые бинты. Там, где сквозь бинты пробивалась проволока, они проржавели. Сбоку, прикрученная к проволоке черными нитками, раздавленная, но узнаваемая, висела цветущая яблоневая ветвь [...]

...Она осталась там, где всегда была — "у моря, где лазурная пена, где встречается редко городской экипаж", там, где "над розовым морем вставала луна", там, где "очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу", там, где море шумит, как мертвая, покинутая своим обитателем ракушка, где под плеск волны всем белым и нежным, вечным, как соль, снится придуманный дольний мир, обитаемый смертными нами"*.

СТРАШНАЯ БАБА

Золотая рыбка уплыла, оставив жукам и акулам все, что было, оставив память о себе в виде этой бесконечной истории, в виде вереницы вопросов, главный из которых — за что.

Людмила Петрушевская

Вы ее встречали. К сожалению, она всегда где-то рядом. Почти нет на свете живой женщины, которая полностью была бы Страшной Бабой. Но тут и там мелькнет в толпе, в коротких житейских стычках. Узнается по носорожьей правоте, по привычке не слушать, а гнуть свое, по походке... Самое ужасное — обнаружить ее присутствие в себе, в своих близких. Это случа-

*Толстая Т. Лилит // Толстая Т., Толстая Н. Сестры. М.: Подкова, 1998. С. 214—215.

ется не так уж часто, в каких-то особенных ситуациях, скажем, когда приходится топить котят, но все-таки бывает.

Тусклые волосы, сжатый в ниточку рот, готовый выплюнуть жестокое, несправедливое слово, чугунный шаг, редко мигающие глаза. Она выживает в бараке, в горячем цеху, на самой склочной кафедре, в самом хитром и диком бизнесе. Скупая, подозрительная, беспощадная, бесчувственная. Она всегда готова попрекнуть куском или отвесить оплеуху: “Не напасешься на вас, паразитов. Ешь давай! Ешь что дают, и не разговаривать тут мне!” Ее огромные, много больше человеческого роста истуканы стоят на площадях наших и уже не наших городов, уродуя пейзаж, словно напоминание: я здесь, не отвертитесь. В свое время киевляне называли ее “клепана мать” — и этим сказано все. Ни капли молока не выжать из ее сосцов, вся она сухая и жесткая, сухи ее глаза, сухи губы, сухо ее лоно.

Всякое трепетное, влажное, человеческое ей гадостно, особенно если это женское. Она с брезгливостью относится к беременным, и будь ее воля, то девочек стерилизовали бы, а мальчиков кастрировали — так гигиеничнее, да и порядку было бы побольше. Когда она говорит об отношениях полов, в ее голосе слышится омерзение, любовь для нее — род обмана и чей-то способ захватить власть. Ее власть основана на другом способе, ее тема — подчинение, подавление, порядок. Баба-яга со своим одиночеством в темном лесу, загадками и избушкой на курьих ножках по сравнению со Страшной Бабой — просто верх человечности. Та — иная, и природа ее коммунальная, “коллективистская”: любит петь хором и ходить строем, любит начальство и порядок, особые поручения и чтоб все, как положено. По ее, то есть.

Ее человеческие воплощения между тем часто работают в сфере образования и здравоохранения. Может быть, потому, что там легче контролировать — есть система, иерархия; а может быть, просто потому, что там вокруг беспомощные... Это она в образе коренастой санитарки гонит из абортария одуревшую от наркоза и боли семнадцатилетнюю дуреху, намотав на крепкий кулак подол жалкой рубашонки. Вот этим кулаком, тычками в поясницу по длинному коридору: “Нечего тут, ишь какая цаца выискалась! Как нагулять, так все вы умные, а теперь, видишь ли, больно!” Тычок в спину, девчонка спотыкается: “Не падать тут у меня, еще восемь дур в очереди!” И это она же в процедурной детской поликлиники, где глядят с полок раскоряченные куклы, цедит своей учетнице через голову подобострастной мамыши: “И вот так еще два часа” — в том смысле, что дети плачут, когда им больно, — и железной рукой, почти не глядя, втыкает тупую иглу в нежную двухлетнюю плоть, словно штамп ставит: “Ты у меня запомнишь, и ты, и ты, и ты”. И они запомнят. Даже не боль, а неотвратимое движение железной руки, которой эта боль до лампочки, по барабану, и лучше

бы, если бы не орали, а еще лучше — совсем не жили. Она всегда пророчит худшее: мальчик вырастет бандитом, девочка пойдет по рукам, а у вашего ребеночка, мамаша, сепсис разовьется, а мне потом отвечай.

На самом деле ее самые ужасные садистские воплощения — это тоже еще не все. Она, например, надежна и работоспособна, если таковы директивы. Помрет, но сделает. Там, где ценится исполнительность, она всегда получит благодарность в приказе. Она не всегда плохая, но страшная всегда. Где она, там нелюбовь, нежизнь — не смерть ли? А если смерть, то не покойное завершение земных дел, а мучительное, беспросветное страдание, кончина на вонючей больничной койке, в очереди за хлебом, в коммуналке под пьяный скандал за стеной.

Рассказывать она об этом станет шепотом, возбужденно блестя глазами, давая похоронные советы вроде того, что белье на покойнице должно быть новое. Детей своих мучает, держа их за горло смесью стыда, вины, угроз, еще чего-то страшного. Само слово "мать" у нее звучит непотребно, даже без нецензурных добавлений. Мы ее боимся, порой ненавидим, а куда денешься, Мать все-таки.

Она не всегда была такой, она такой стала, прожив с нами несколько поколений, в постоянном страхе недоеданий, по карточкам и спискам, в эшелонах и санпропускниках. Она уродливая тень, искусственно выведенная порода, черный двойник другой Матери — щедрой и любящей, которой мила и телесность, и плодовитость, и детские слюнки на подушке, и цветение дочек и сыновей.

И не надо думать, что это вымирающая редкая порода, заканчивающаяся вахтершами и санитарками. Каждая из нас унесла с собой ее кусочек. Это, может быть, не лучший наш кусочек. Но зачем-то это тоже было надо. А вдруг опять придется стоять в очереди или спастись от бомбежки? Может быть, мы и ненавидим ее потому, что она живое напоминание о насилии, возможном в любой момент. Есть звуки, которые любая из нас легко может представить, даже никогда не слышав в реальности: звук падающей бомбы, ночной стук в дверь, лязг передергиваемого затвора. Это означает, что мы к ним *готовы* — "всегда готовы!"

В жизни последнего времени оружие как-то перестало удивлять: мы видели и танки за окном, и след очереди на стене расстрелянного ларька со спиртным; никто не падает в обморок, когда в вагон метро буднично и деловито заходят добры молодцы с автоматами; вороненый ствол проплывает в двадцати сантиметрах от голов сидящих и животов стоящих; его старательно не замечают. Внутри, конечно, как-то нехорошо — а кому какое дело до того, хорошо ли внутри? "Если вас трамвай задавит, вы, конечно, вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете" — есть такой

стишок, возможно, когда-то и авторский, но уже вполне народный. “Трамваем”, кстати, называли массовое изнасилование в тюрьме или лагере. Что же касается Страшной Бабы, у нее есть свое царство и в мирной жизни.

Мы все знаем, что существует мужской ад — война, армия, лагерь, тюрьма. Мы с болью и содроганием читаем свидетельства выживших в этом аду. У каждого из нас есть близкие мужчины, тронутые прикосновением этого ада, одного его “отделения” или нескольких. Мы не имеем права про это не знать.

Если имеется у ада отечественное женское отделение, то это больница или роддом. Кому-то из нас повезло, ничего такого ужасного там не случилось. Ну что ж, и войну некоторые ветераны вспоминают без ужаса. Но, наверное, нет ничего настолько уродующего и унижающего женщину и враждебного самой ее женской сути, как все детали нашего родимого гинекологического опыта. От “женщина, куда пошли, я же вам сказала на кресло” до вымазывания роженице ногтей йодом, грудей зеленкой и бритья тупой бритвой, от акушерского мата до абортот без наркоза, от мерзких сентиментальных “наглядностей” на стенах женской консультации до атмосферы скотобойни в родильном отделении.

“Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам, и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрывкой и не шевелился, словно замерев”^{*}.

Вообще-то все это, как говорят врачи, “неспецифическая инфекция”: детский сад, школа, поликлиника — они что, не таковы? Роддом — всего лишь квинтэссенция, и, как говорит Арбатова, “всякая женщина, которая родила в совке, прошла разом и Афган, и Чечню”.

Самое прискорбное, что этот ад не считается адом, это страдание и унижение не считается страданием и унижением. Все, что связано с этой трав-

^{*}Петрушевская Л. Бедное сердце Пани // Тайна дома. Повести и рассказы. М.: СП “Квадрат”, 1995.

мой — пустяк, все там были. Но из-за того, что все были в аду, он не перестает быть адом. И черные выгоревшие пятна ужаса, и приниженность, и бесстыдство, которое приходит, когда уже никакого стыда не хватит, конечно, хранятся почти в каждой душе женщины, ставшей женщиной здесь, у нас. Более того, они хранятся и в душах, и в телесной памяти наших матерей, бабушек. Отношение к важнейшим моментам женской жизни как к производству, как к чему-то, у чего не может быть души и достоинства, — это не наши с вами отношения, это то, что с нами случилось. И это — ужасно.

Если вы попробуете заговорить о чем-то подобном со старшими женщинами, то увидите, как подожмутся губы, станут пустыми глаза, и скорее всего услышите что-то вроде "Ну что ж, вот такая жизнь". В лучшем случае. В этой интонации будет немножко — совсем чуть-чуть — от Страшной Бабы. Если долго бить по одному месту, не насмерть, но зато постоянно, то образуется мозоль, чувствительность падает, организм защищается. Бесчувствие, безжалостность — что к самой себе, что к окружающим — не родились вместе с ней, они пришли как защита. Страшная Баба могла вырасти и развернуться во всю ширь только в стране, где лагерная мудрость "Не верь, не бойся, не проси" хлынула в обычную, не лагерную жизнь — а была ли она, эта обычная жизнь? — и проникла везде, где только можно.

Когда акушерка бьет роженицу по лицу, чтобы не орала и не мешала работать, когда воспитательница детского сада ставит детей голыми на окна за то, что они не могут проглотить таблетку от глистов, когда учительница младших классов выхватывает у девчонки какой-то неположенный листок, рвет в клочки и заставляет девчонку на карачках собирать эти клочки — и вообще всегда, когда происходят бесконечные, малые и немалые, насилия над женским и детским, с сильной примесью стыда, унижения, — это ее вотчина, здесь она совсем своя. Собственно, только она там и своя — сторожевая сука женского отделения преисподней, ответственная по палате номер шесть, продукт затянувшейся на век войны всех со всеми. Разумеется, историческая закономерность — не повод оправдывать садисток, мучающих наших детей или нас самих: надо защищаться. Но как? Неужели теми же способами?

Ведь одно из самых ужасных свойств Страшной Бабы, один из секретов ее неистребимости состоит в том, что в мучительные, раздавливающие в нас женщину моменты именно она приходит к нам на помощь изнутри. И это она закрывает нас непроницаемой жесткой коркой, дает силы продолжать если не жить, то хотя бы действовать. А поскольку жилищный вопрос Страшная Баба всегда решает напористо и окончательно, она настаивает на прописке, получает у нас внутри законную жилплощадь и остается до следующей тяжелой ситуации.

Я хочу вам рассказать несколько историй женщин, которые вели себя и выглядели, как Страшные Бабы. Обе эти истории, рассказаны, проиграны на женских группах внучками этих женщин. Может быть, это неспроста: поколение наших бабушек как раз и может, если мы зададим вопросы (даже когда их уже нет на свете и живым им задать никакие вопросы нельзя), показать и ответить, *как это с нами случилось*. Как уродливая тень материнской роли стала такой всепроникающей — настолько, что мы иногда обнаруживаем ее даже в себе... Помните череп с пылающими глазами, страшноватый дар Василисе Бабы-яги? При нем становилось светло, как днем — и от этого света никак не могли укрыться злая мачеха с подлыми своими дочками, свет-то их и превратил в угольки. Только тогда и мог быть зарыт в землю череп. Лучшим же средством от Страшной Бабы — Злой мачехи — в себе самой был и остается прямой взгляд и яркий свет...

История Татьяны началась с вопроса, с которым она и хотела работать: почему в ее собственной семье до такой степени не принято выражать чувства? В детстве она воспитывалась в интернате, семья была большая — шесть детей, далекая окраина России, и, приехав как-то раз на каникулы из интерната, девочка узнала, что умер брат и будут похороны. Ее поразило еще тогда, что отношение к смерти удивительно будничное. Ей сказали об этом, как об одной из плохих новостей. Всего лишь.

Мы двинулись по времени назад: что случилось, кто или что научило эту семью так переживать горе, как будто никакого особенного горя и нет? Почему мама такая, почему она сама проглотила, задавила свое горе и других детей, ударенных, обожженных смертью братика, не только не может утешить, но своим поведением даже намекает на то, что и они должны горевать про себя? Мама росла совсем в других местах, в Поволжье, в большой деревенской семье, которая к моменту рождения мамы стала не такой уже и большой. Так мы добрались до бабушки, до ее жизни, до фигуры родоначальницы, потому что дальше “назад” Татьяна своего рода не знала.

Бабушка Ульяна, сама красавица и рукодельница, вышла замуж за самого видного, веселого парня в деревне, который, как это случается с видными и веселыми парнями, работником был никаким, гулял, играл на гармошке, был популярным в деревне человеком и как-то не очень заметил, что дети умирают. Похоронила бабушка Ульяна одиннадцать детей, и только двенадцатая — мама Татьяны — выжила. Происходило все двадцатые и начало тридцатых годов. Эта женщина, с ее веселым легкомысленным мужем, которая рождает и хоронит, рождает и хоронит... Татьяна не знала, подряд или нет умирали дети, какие промежутки были между очередными родами и очередными похоронами, что вообще было причиной смертей: голод, детские болезни, варварское родовспоможение. Все это в ее семейном преда-

нии опущено, да и кто мог рассказать? Уж наверное не мама и тем более не сама бабушка...

Но когда мы поставили в ряд одиннадцать стульчиков, стоять на этом месте было невозможно, просто ноги не держали. Татьяна в роли бабушки в тот момент нарушила "традицию" своей семьи и зарыдала в голос — оплакивая безвременно умерших, безымянных, забытых и как бы никогда не живших. Скорбный ряд из одиннадцати стульев потеснил все остальное пространство, хотя комната у нас не маленькая. Отвести этому "граду скорби" отдельное место было невозможно. По тому, как все это располагалось в пространстве, фактически получалось, что бабушка жила на кладбище: а как может быть иначе, когда смертей — столько? Не в пространстве, так во времени она и в самом деле постоянно рожала и хоронила, рожала и хоронила. Каждый следующий ребеночек, каждые следующие похороны добавляли и добавляли безнадежности. При этом надо было делать еще и какую-то работу, как-то вести дом, ухаживать, заботиться о тех детках, которые были живы, с таким вот тягостным чувством, что их тоже можно потерять.

Ощущения самой Татьяны в роли бабушки — ведь она хотела спросить у своей семьи, почему так обходятся с чувствами, — подсказывают что-то очень важное. Физическое переживание, перевоплощение, когда мы входим в роль своих предков (особенно предков-женщин, поскольку с ними легче идентифицироваться телесно) часто сильнее слов, раньше слов. Слова, описывающие его, приходят потом, а чувство или догадка поражают сразу, как только человек входит в роль, обживает ее в ней. У бабушки были совершенно мертвые, поникшие руки. Те самые руки, которые кормят, заплетают косички, ласкают, сажают на колени, раздают подзатыльники, — пресловутые "руки матери" одеревенели, повисли, они слишком много опускали в землю этих маленьких гробиков. С последней девочкой — Таниной мамой — получилось так: мать очень ее баловала, "одевала как куколку" — бабушка была хорошей портнихой и этим зарабатывала на жизнь. Долго не пускала ее замуж, как будто хотела еще при себе подержать, немножко побыть матерью. Но почти никогда до нее не дотрагивалась, и Танина мама это помнит. Вся ее забота, вся любовь выражалась через бытовое действие — нарядить, подарить, оставить лучший кусочек — но не в прямом общении: что-то умерло вместе с этими детками, что-то прекратилось, душевная жизнь бабушки остановилась, замерла. Она не была злой, она была всего лишь убитой.

Тем временем дед-весельчак во время своих загулов погиб, провалился с санями под лед. И до этого его в семье не было, а тут не стало и вовсе. Кромешное одиночество, неоплаканное горе и полная безнадежность — вот какова была та растянутая во времени тяжелейшая травма, которая в этом роду, в этой семье "запретила" проявление чувств. Страдающая и по-

давившая, как бы проглотившая, утопившая в себе свое страдание мать каких-то вещей сделать для своих детей просто не может. Руки — деревянные, не ласкают эти руки, не поддерживают — в лучшем случае делают что-то практическое, житейское. Другого способа проявить любовь нет. Потому что позволить себе чувствовать — значит вытащить, открыть эту гробовую крышку и выпустить свое невероятное, неподъемное, нечеловеческое горе, которого слишком много.

Когда мы работали с этой историей, в группе стояла *гробовая* тишина, прерываемая только тяжелым дыханием и чьим-то тихим всхлипом. Конечно, было очень много слез: мы оплакивали горе этой женщины, которой уже нет на свете. Мы не в состоянии представить его полностью, но даже прикосновение к нему просто покрывает смертным морозом, испариной. Мы, которым повезло родиться, повезло выжить, несмотря на все ужасные гримасы нашей истории, смогли хотя бы поклониться и пролить слезу над ее страданием, коли уж она сама не могла этого сделать.

В течение нескольких последующих работ то место, где стояли стулья, обозначавшие умерших детей, участницы группы как-то обходили. Ведь нельзя разыгрывать какие-то житейские сюжеты на кладбище, нельзя на кладбище — жить! Туда, однако, надо иногда приходиться — то ли помолиться, то ли положить цветочек, то ли стереть песок и пыль с имен, а ведь и имен не осталось от этих детей.

Такая вот страшная, но совершенно не уникальная, не исключительная история напоминает нам о простой вещи, которую мы все знаем. Правда, помнить ее постоянно слишком тяжело, поэтому мы как бы и знаем, и не знаем. Несколько поколений женщин претерпели столько страдания и страдание это было настолько безысходным, бесконечным, нормальным, обычным — все вокруг тоже страдали, — что эмоциональное отупение, бесчувственность стала основной защитой. Ведь в аду важно то, что само страдание не признается, не считается чем-то заслуживающим упоминания и уж тем более оплакивания. Вот так уж у нас, а что поделать?

Есть у Галича такая песня про немолодую женщину, которая ехала в автобусе и забыла взять билет, и вот по поводу этого бытового сюжета рассказывается ее биография со всеми теми ударами, которые сыпались годами, десятилетиями.

А мужа в Потье льдиною распутица смела.
Она лишь брови сдвинула — и снова за дела.
А дочь в больнице с язвою, а сдуру запил зять.
И, думая про разное, билет забыла взять.

“Она лишь брови сдвинула — и снова за дела” — в высшей степени типичная реакция человека, который обязательно должен выжить, хотя бы пото-

му, что есть дети, но чувствовать не может, размеры травмы слишком велики, ее слишком много. Такое омертвление мы можем воспринимать как грубость, бесчувственность. Да, это может быть и грубостью, и бесчувственностью по отношению к другим людям — и даже к детям и внукам. Танина бабушка Ульяна, между прочим, была ох какая неласковая, когда Таню на нее оставляли. Но подумайте: вот эта старая женщина, прочно, намертво запершая в себе чувства, и прежде всего чувства по отношению к детям. И вот дочь на нее оставляет шустрюю двухлетнюю, совершенно здоровенькую, любопытную, проказливую девочку, которую не надо спасать, а надо с нею "возиться". Живость и непредсказуемость обычного ребенка для этой бабушки чрезмерна: "Только отвернешься — а она, зараза, уже вся в варенье перемазалась. Хоть банку на себя не свернула, и то спасибо". Мир — место опасное, ребенок вынуждает беспокоиться, пугаться; как же с этим справишься — рывкнешь разве что, пристрожишь. Я знаю уж совсем вопиющий случай, когда такая вот много перестрадавшая бабушка вообще не позволяла трехлетнему внуку слезать с дивана: только на диване с ним ничего не могло случиться. Так он и раскачивался взад-вперед на том диване, как сбрендивший медведь в клетке, бедный мальчик...

В истории Татьяниной бабушки есть еще одно важное и грозное предостережение. Такая онемелость, эмоциональное окаменение *наследуется* — не генетически, хотя и это дело темное, но наследуется. Во всяком случае, дочь матери с одеревеневшими руками, скорее всего, тоже будет с трудом, неловко, неумело чувствовать. И страшно подумать, с какими опасениями, с какими предчувствиями у Татьяниной бабушки проходила та ее последняя беременность, от которой родилась Татьяна мама. И нетипичная для советского времени многодетная семья — что это: попытка отыграть у небытия хотя бы со счетом один к двум?

Первое зеркало человека — это лицо матери. Мы учимся чувствовать и впервые проявлять чувства с ней и от нее. Если мать убита горем, или озабочена хлебом насущным, или сама не получает поддержки — не важно от кого: от мужа, сестер, собственных родителей, — то это зеркало завешено, как в доме покойника. И тогда мы не можем научиться тому, чему должны научиться у нашей мамы в очень раннем возрасте: ощущению покоя и тепла, контакту с другим человеческим существом, умению улыбаться и настырно требовать внимания, доверию к миру.

Исцеление такого рода травм наступает медленно, порой занимает несколько поколений. Обычно для того, чтобы понять, как оно происходит, нужно рассмотреть все семейное древо в целом. Например, в Татьяниной истории, как и в любом роду, существовала другая ветка, уходящая географически на Украину, — шумная, веселая, хлебосольная (во всяком случае, так гласит семейное предание). Татьяну ее родственники без конца зовут

приехать с детьми показаться, потому что “та родня же ж”. Это жизнелюбивая, позитивная нота: вроде как в той родне и не спивались, и не умирали до срока, хотя как такое может быть? В этом “раскладе” важно, что всякое веселье и жизнелюбие — по линии бабушки и мамы — представляется безответственным, за чужой счет и в конечном итоге ведет под лед, к новому горю и трудностям для кого-то. “Первый парень на деревне” горазд был детей делать, но не растить. А по отцовской линии семьи большие, народу много — колоритного, музыкального, разного возраста и с разными своими чудачествами. Поедет Татьяна к ним гостить или не поедет в реальности — уже другой вопрос, но само их появление в ее работе неслучайно, как будто другая ветвь рода знак подает: ты и наша тоже, в тебе и наши послания живут, родня же ж! Петь, громко разговаривать, ругаться и мириться, любить свою семью, смеяться и плакать *можно*.

И этот кусочек работы — ах, какие там были роскошные тетушки, просто Гоголь! — подсказывает, откуда в наших семейных историях берутся альтернативы. Если представлять себе изолированную линию — травмированная бабушка, недополучившая материнских рук мама и сама Таня, — то ситуация выглядит достаточно безвыходно, хотя... Мама почему-то выбрала мужа из такой семьи — шумной, чуть бестолковой, эмоциональной. Мама все-таки научилась быть мамой — хоть и к шестому ребенку. Маленькую Танюшку не обломала бабушкина строгость: бабушка сдалась, потому что “девка в отца, упертая, как все хохлы”. И, наконец, будь Татьяна “внутри” своего семейного сценария, не родился бы ее запрос, да и на группу она вряд ли пришла бы.

Так что есть, есть какие-то ресурсы самоисцеления рода. Часто случается так, что дочь или внучка начинает задавать вопросы: почему же мы такие, почему у нас так? Это означает прежде всего, что для нее скорбное бесчувствие уже не само собой разумеющееся, она может себя от него отделить и до какой-то степени освободиться. То есть она на ту самую реакцию окаменения, которая может выглядеть со стороны как крайняя черствость, смотрит критически — и при этом что-то чувствует. Возникает маленькая возможность выхода, маленькая возможность развития. Если она хочет освободиться по-настоящему, до конца, понять свои чувства и жить по-другому, ей неминуемо придется обратить внимание на собственные реакции в ситуациях травм, горя и потерь. И ей будет важно не застрять в обиде на неласковую бабушку, в недоумении по поводу того, как не умеет горевать мама, а совершить за них тяжкий труд оплакивания их боли, ибо сами они для себя этой работы сделать уже не могут. Шанс появляется часто в третьем поколении, тогда приходит прощение и принятие, а яростное отрицание — “не буду жить так, как вы” — сменяется чем-то более позитивным, больше понимающим, почему же женщины в этом роду таковы. Приходит

невеселое, но реалистичное: они дали все, что могли, — чего не дали, так того и не могли.

"При свете черепа" сторают обиды на свою обделенность, потребность укорять недоданным, — и тогда череп может быть зарыт, как топор войны между разными поколениями женщин одной семьи. И Страшную Бабу оказывается можно пожалеть — в своей бабушке, матери, в себе. Сострадательное отношение к "соляному столпу" или "деревянными рукам" разрешает внутренний конфликт: ведь все наши близкие, все мамы-папы-бабушки в нас живут, как бы мы к ним ни относились. Но такое примирение и понимание приходят только тогда, когда труд оплакивания, горевания совершен, а это тяжелая работа.

Женщины, которые подобную работу для себя делали, потом говорили о невероятной физической усталости, изможденности: "Как будто крест на Голгофу снесла, все болит". Не обязательно такими словами, но ощущение неподъемной тяжести упоминается часто — и с отчетливым чувством, что от того креста нельзя уклониться, что это нужное усилие. И такое ощущение лишний раз напоминает нам о том, как в самом теле бывает заперто недочувствованное, мучительное переживание. И физическая усталость, выжатость после работы, вроде той, какую Татьяна делала о жизни своей бабушки, говорит о том, что напряжение, внутренняя "сжатость", жесткость — она преобразуется, трансформируется. Татьяна после своей работы, где действительно было очень много слез, и не только ее — всей группе было что вспомнить, — говорила про ощущение, что она вся как бы плывет, она мягкая, в голове ни одной мысли, умиротворение и покой.

Я не буду преувеличивать значение одной работы, какой бы мощной и очищающей она ни была. Она нужна, чтобы что-то сдвинулось и начало меняться, но обычно к таким темам бывает необходимо возвращаться не раз, прорабатывать травмы "слоями", по крупице собирать те ресурсы силы и поддержки, которые есть в материнских фигурах рода.

Вторая история напоминает нам еще об одном важнейшем обстоятельстве. Наш скорый суд и выводы из того, что нам известно, часто неполны и не могут учесть всего, что двигало этими людьми. Кроме того, почти всегда семейное предание — история про то, как бабушка бежала босиком по льду, или как пришли деда арестовывать под Рождество, или как спасали смертельно болевшего ребеночка, — они ведь рассказаны кем-то. Рассказчик пристрастен, чаще всего это член семьи, для которого такие истории тоже много значат. И как всякая легенда, как всякое сказание, оно теряет одни подробности, обрастает другими. И само понимание, оценки, интерпретации далеко не беспристрастны. В семейном мифе краски густы и ярки: вот герой, вот злодей, вот красавица, тиран, легкомысленная женщи-

на, человек долга, сумасшедшая старуха, ребенок-вундеркинд... Таково свойство жанра: народная песня, а не психологическая проза.

А возможно, разум отказывается вместить весь ужас положения женщин, которых отделяет от нас два-три поколения. Мы знаем, что они много страдали, и, честно говоря, нам все это немного надоело: мы устали с детства слушать про то, как трудна была жизнь. Но когда мы сами достигаем зрелости и начинаем понимать, что такое “трудна”, то вспоминаются такие пронзающие насквозь наблюдения и детали из этих самых нудных семейных рассказов, которые в детстве, в юности, когда мы “и жить торопимся, и чувствовать спешим”, так не хотелось слушать. Тем более, что подобные истории еще и рассказываются не по одному разу — уверяю вас, не по рано наступившей рассеянности: рассказывая боль и превращая ее в сказ, в предание, наши “сказительницы” пытались с нею справиться; а справляясь, зачастую передавали ее нам, но уже как слово — не как физическое, телесное и бессловесное.

Вот история Людмилы и ее семейного наследия по женской линии. Может быть, она нам поможет еще что-то понять.

— У меня в роду, — говорит Людмила, — есть просто страшная женщина. Это моя бабушка. Она, конечно, тоже много пережила, что-то смутно помню по рассказам папы, как в семнадцать лет бежала в ночной рубашке босая зимой по льду, куда-то спасалась, а то бы ее изнасиловали и убили. Это было в двадцатые годы, в гражданскую войну. Вот она спряталась у каких-то стариков, зажила как крестьянка, вышла замуж, родила моего отца, а потом ушла к другому мужчине. Говорили, что он был очень жестокий человек: чтобы жениться на бабушке, он повесил свою жену в конюшне на вожжах. Все знали, что это не самоубийство. У них с бабушкой были дети, трое, и они этих детей убили. Что же мы за люди, прямо звери, ведь и во мне эта кровь есть! А у меня сын, и каждый раз, как я на него прикрикну или, того хуже, замахнусь — так, шлепнуть, не больше, — меня потом аж колотит. Это ж не воспитание, это кровь, ей-же богу: меня никогда не лупили, папа вообще против. Папа мой уцелел потому, что его тогда родной отец к себе на лето взял, далеко, в другой район. Никогда не пойму и не прощу эту страшную бабу! Но что-то ж с этим ужасом делать надо, я б его из себя так и вытянула, хоть для сына...

Вот видите, наш персонаж просто буквально назван. Ну что же, тяжело нести ощущение вины, стыда, ужаса и той самой крови, которая “и во мне тоже есть”. Я твердо верю, что всегда все не так просто. Так и в этой истории при ближайшем рассмотрении оказалась не криминальная “бытовуха”, а гораздо более страшная, но другая тема, совсем другой поворот.

Всегда, когда мы работаем с историей семейного женского наследия, с этим “сундуком с приданым”, я спрашиваю, в каком это было году и где. О

чем бы ни шла речь. Все, что случилось или не случилось с нашими мамами, бабушками, прабабушками; все, что мы получили от них в качестве благословения, предупреждения, наших собственных страхов, наших "надо", наших "нельзя", происходило не на ровном месте, не в пустоте, а в очень конкретных обстоятельствах. Часто для того, чтобы хотя бы представить себе, как эти женщины чувствовали, почему они поступали так, а не иначе, эти обстоятельства (хотя бы на уровне того знания, которое есть у всех нас) важно вспоминать. Где вы живете, бабушка Степанида? Что видно из окна, куда ведет этот проселок? Что за полуторка проехала, подняв тучу пыли? Лето какого года не переживут ваши дети?

Стали мы работать с этой ледящей душу историей. Вспомнили и детство папы, и маму, и мамино семейное наследство. И осторожно приближались к главной боли, драме Людмилиного рода. Вот одна подробность вдруг выскочила совершенно случайно, за ней другая... Людмила даже и не думала, что она это знает, для нее чувства ненависти к "этой женщине" и страха перед ней всю цепочку, россыпь деталей как-то заслонило. Оно и понятно: переживая сильные чувства, мы при этом не очень способны сопоставлять факты. Картина, открывшаяся нам, оказалась не менее ужасной, чем в начале, но все-таки совсем другой.

Из сопоставления времени, места, каких-то других обстоятельств, припоминаний, рассказов родственников у нас получилось вот что. Украина, "голодомор". Папу его родной отец увез в другой район, скорее всего, от голодной смерти: скажи мне, Украина, не в этой ли ржи... Не в этой: ржи больше нет, Сорочинская ярмарка приказала долго жить. Папа, после того, как родители расстались, остался с матерью, но его родной отец больше не женился, то был его единственный ребенок, и он его спас. А дети помладше — те, которые от второго, "жестоккого" мужа, такого заступника не имели. Родители облегчили их страдания по своему разумению. Были в страшные времена массовых бедствий старушки-травницы, умевшие варить из ядовитых трав такое снадобье, которое избавляло от мук: человек умирал во сне, легко и безболезненно. А покупали отраву на последние гроши чаще всего отчаявшиеся матери, сами ослабевшие и опухшие. В официальной медицине во всем мире до сих пор идет острая дискуссия о том, этична ли эвтаназия, облегчение страданий обреченных больных. А в такие трагические, катастрофические времена, когда мать с утра до ночи слышит крик голодных детей, этот вопрос решался по-народному. Интересно, что за ту старушку и за совершенный ею грех матери, позвавшие бабушку, еще потом и Бога молили. Может быть, это не относится к Людмилиной бабушке, но что такие вещи случались, вспомнили по рассказам своих родных, живших в те же времена и в тех же местах, другие участницы группы. И вот так обезумевшие от безысходности и голода матери из-

бавляли деток от мучений, да еще и успевали похоронить, ведь кругом были случаи каннибализма, уже человечину ели, а так все же детки были преданы земле по-людски.

Кто же здесь главный злодей? Обезумевшая женщина со своим, пусть и жестоким, мужем? Или общая наша Мать, которой пожирать, отдавать на смерть и муки своих детей к тому времени уже не привыкать было? Она уже отведала человечины, но еще миллионы будут стерты в лагерную пыль и убиты в боях, потому что “такова историческая необходимость”. Впереди еще циничная поговорка “кому война, а кому мать родна”. Эта монументальная, жесткая фигура Матери, “клепана мать” — она железная, металлическая, пустотелая, как Железная Дева средневековых пыток. Не она ли своими железными руками отдавала — сознательно, как мы теперь уже знаем, — миллионы реальных живых матерей и их ни в чем не повинных детей на такие невыносимые страдания, в которых уже нашего суда над ними быть не может?

Пренебрежение к человеческой жизни вошло в плоть и кровь. Оно везде — в воде, в воздухе. Лес рубят — щепки летят. Разве удивительно, что женщины старшего поколения делали по двадцать аборт, и без каких-то особенных, осознанных угрызений совести, лишь бы все шито-крыто и на работе кровью не истечь? Разве удивительно, что на дорогах безумная езда, а мужики пьют такую дрянь, что и без того нездоровые мозги окончательно тухнут?

Бабушка Елена Романовна рассказывала мне про войну — она была врачом, стало быть, военнообязанной — много и страшно; кое-что из этого мы все читали, смотрели и не смотрели: “Переключи на другую программу, тут опять про войну”. Но вот чего ни прочесть, ни увидеть нельзя, так это особую интонацию покорности и даже какого-то удивления, если жизнь не отбирают: “Как в окружение-то мы попали, документы зарыли, был приказ. Песок там, под Калинином, легко копать-то было. Ну, вот уж совсем немцы рядом, сейчас плен. Я голову-то пригнула, думаю, политрук пристрелит, как положено, был приказ. А он, зараза, че-то не стрелит и не стрелит. Так и попали к немцам. А наутро они ушли, фрицы-то, холеры, и че нас не подожгли — не знаю. Тут опять фронт, а мы ж без документов и с оккупированной территории — нас в штаб, допрашивать. Ну, конечно, расстреляли бы тут же, у забора — еще в лагерь нас волочь, кому это надо. А тут обстрел, меня и ранило, избу эту допросную всю разворотило, так вот я и получилась без вести пропавшая”. Неизвестно чей — не исключено, что от своих, — снаряд искалечил ногу, но спас жизнь. Надо было видеть, как она показывала, как “пригнула голову” — облегчить политруку исполнение его неприятной обязанности “одиночным выстрелом в затылок”. А он, зараза, не исполнил... вечная ему память.

Другая бабушка рассказывала историю про домработницу Соню, которая после того, как ее оставил возлюбленный-милиционер (это конец двадцатых годов, персонажи соответствующие), начала было пол мыть, а потом куда-то позвонила, сходила, через несколько часов вернулась бледная, обрванная и продолжала мыть пол. "Сонечка, что с вами, куда вы бежали?" — "Да аборт сделала, будь он неладен", — ответила Соня, не поднимая глаз, и продолжала внаклонку мыть пол. Да... Рассказывалось это, между прочим, почти одобрительно: вот какие выносливые и несентиментальные наши простые женщины, все снести могут. О каком уважении к жизни может быть речь?

"Выбор Зины был такой: две девочки, Валя и Тамара, а младенчика-сына она, как говорили в городке, "выходила". То есть выхаживала, выхаживала и выходила на тот свет очень простым способом — ночью выносила на мороз. Соседки знали, девочки, Валя и Тома, подглядывали и тоже знали, что мать выхаживает маленького Витьку".

Это из "Реквиемов" Петрушевской, и вот чем заканчивается для дочери Тамары та ужасная и, конечно же, совершенно реальная история:

"Потом приходит старуха мать Зина, которую Тамара не приняла к себе и наговорила ей насчет убийцы, что все это помнят, а что там помнить, теперь нынешней старухе Тамаре ясно: это произошло потому, что детей было трое, начинался голод, надо было становиться на работу, а куда грудного трехмесячного, с ним не поработаешь, а без работы всем погибать. Выбора не было, говорит сама себе Тамара. Понимаете? — как бы говорит она своим детям. Вот она и выбрала девочек. И мне погибать с голоду, если я вам все отдам. Ёлод, голод, нет выбора и не было"*.

Людмила в конце своей работы сказала "страшной женщине" вот что: "Простить я тебя пока не могу, а твоих деток я помню, вечный им покой. Не мне тебя судить, Бог тебе судья. Душа не вмещает, да как же вы это все выдерживали? Хорошо еще, что папу отдала деду в то лето, а то бы ни меня, ни моего сыночка на свете не было".

- Людя, она отвечает? Если да, поменяйся ролями.
- Ты не слышала, как они кричат, кушать просят, и чтоб тебе такого никогда не слышать. Грех на мне, а ты живи. То не кровь у нас дурная, то доля наша проклятая. Спасибо, что помянула деток. Я тебя-то не больно любила, да уж что теперь...
- Прощай, бабушка. Не хотела я с тобой разговаривать, а зря.

*Петрушевская Л. Выбор Зины // Реквиемы. М.: Вагриус, 2001.

Вот на такой — не очень уж благостной, но и не безнадежной — ноте закончился разговор с бабушкой Степанидой. Ни имен, ни возраста тех детей мы так и не узнали: в семье об этом не говорили, а спрашивать у отца Люда, конечно же, не могла. Он и так всю жизнь прожил с ужасом в душе и залечивал свои раны по-своему — женился, к примеру, на женщине, в семейном “сценарии” которой золотыми буквами записано: “Дети — это все, живем ради них”. И может, сам не понимал, почему в его семье такой культ “полноценного детского питания”...

Раз уж к слову пришлось рассказать что-то о бабушках, то вспомню и одну историю про свою прабабушку, женщину интересную, самостоятельную, решительную. Моя прабабушка Клавдия Владимировна в 1918 году, в том самом, который, как писал Булгаков, был велик и страшен, но год девятнадцатый был его страшней, схоронила сына. Пришел с фронта (воевал за красных, но это уже неважно было) весь во вшах, тифозный и умер у нее на руках через два дня. Мальчик был талантливый, в доме полным-полно его рисунков, каких-то поделок, стихов. Вместе с завшивленной шинелью она сожгла все, включая фотографии, и запретила домашним даже имя его упоминать. Бабушка, которой было тогда тринадцать лет, запрет нарушила только после смерти матери, и только поэтому я знаю, что того мальчика звали Володя, а единственная его фотография, которую я видела, сохранилась лишь потому, что на ней и родная моя бабка Раиса изображена. По всей вероятности, суеверное убеждение, что рвать фотографии живых нельзя, все-таки прабабушкину руку остановило, а может, просто она ей не попала в тот момент. Ей же принадлежит афоризм “Духи должны быть французскими, шерсть — английской, а власть может быть и советской” и многие еще присловья на все случаи личной жизни. Как и положено в семейном мифе, она была красавица — “теперь таких не бывает”. И как-то не удивляет ее утверждение, что советских людей в рай возьмут всех, кроме уж самых злодеев, — за прижизненные муки. Великодушная была женщина и акценты расставляла верно: не искала виноватых рядом с собой, не грешила классовой ненавистью, на свой лад даже пожалела современников и соотечественников. А пожалеть-то трудно, и даже нам, не пережившим и части того, что досталось им, это удается не сразу и не всегда...

Уж если мы говорим об оплакивании, о том, что все, о ком мы хоть что-то знаем (хоть имя, хоть возраст, хоть внешность), и даже те, о ком мы не знаем ничего, кроме того, что они были, должны быть оплаканы, — то, конечно, это относится и к нерожденным детям, которых почти в каждой российской семье множество. Генеалогические деревья наших современников чаще всего имеют одну и ту же форму — детей в семьях становилось все меньше, предков у них — все больше. В женских группах бывали работы и об этом — о том, каким грузом ложится на наши плечи все то,

что наши родители могли бы ожидать от наших возможных братьев и сестер, о том, как мы сами перекладываем эти ожидания на своих немногочисленных детей...

Дочери замотанных работой мам (58 дней по уходу за ребенком), мы несем в себе травмы слишком раннего отрыва от матери. Внучки и правнучки спасавшихся зимой босиком по льду, отоваривавшихся по карточкам, хоронивших своих мужчин и детей, мы храним где-то глубоко переданное нам страшное наследство, формулу выживания: с ребенком на руках далеко не убежишь, держи себя в руках, мало ли что, кто знает, какой приказ уже издали? Сами мы научились относиться к себе так же — болит или не болит, кого это волнует? Это — о теле; с душой происходило то же самое или худшее.

Страшная баба так и тянет в бесчувствие, в прижизненную смерть, но возразить ей — той, которая внутри, можно, только если признать утрату — утратой, боль — болью, страх — страхом. Авторы психотерапевтических советов "полюбить себя" почему-то никогда не предупреждают, что в начале пресловутого "поворота к себе" нас ожидает боль: когда отходит заморозка, она неизбежна, а с непривычки сначала даже трудно определить, что болит. А ведь это важно — позволить себе сочувствие к никем не оплаканному и не замеченному женскому страданию, своему и не только. Совсем не обязательно связанному с амурными делами, иногда тайному и почти всегда одинокому. Потому что если мы сами согласны считать его нормальным и не стоящим внимания, согласны хоть в чем-то избрать путь Страшной Бабы, то вряд ли кто-то нам поможет там, где женщину называют мужественной, искренне считая это высшей похвалой.

МАТУШКА, МАТУШКА, ЧТО ВО ПОЛЕ ПЫЛЬНО?..

Священный ужас, с которым в одиннадцать лет кричишь, глотая слезы: “Мама, ты дура!”, потому что лучше нее никого нет, а ее не будет. Все прочее — литература.

Вера Павлова

“Софья Андреевна полагала, что любит дочь: доказательством тому служили многочисленные девчонкины недостатки. Много терпения требовалось для того, чтобы сносить ее постоянную вялость, хмурость, ее привычку раскапывать пальцем дырки в мебельной обивке, ее манеру оставлять медленно тонущие ложки во всех кастрюлях и банках, откуда ей пришла охота зачерпнуть. Для выражения любви не надо было целовать и гладить по головке, следовало просто не кричать — а Софья Андреевна никогда не кричала”*.

Бедная девочка. Бедная мама. И как легко, хотя и очень не хочется, узнать в этой мрачной картине нищенской, скудной любви что-то смутно знакомое: “Мама, ты меня любишь?” — “Да-да, конечно, а вот тетради у тебя опять безобразные, пишешь, как курица лапой, Марина Евгеньевна мне уже не раз...”

Большинство из нас не соответствует ожиданиям родителей. Мы недостаточно красивы, умны, успешны, кротки или решительны, энергичны или благодущны — почти все мы не совсем таковы, как ожидалось. Это, как и собственный пол, — если мама предпочла бы сына — изменить нельзя. Те, у кого уже есть свои дети, знают, какой это труд — отказаться от своих фантазий-требований, фантазий-сравнений, принять своего реального ре-

*Славникова О. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки. М.: Вагриус, 2000.

бенка. Даже тем, кто искренне верит в постулаты “безусловной любви” как осознанной ценности, не всегда легко удастся следовать этой вере. Порой не удастся вовсе.

“Заведешь своих — тогда узнаешь”, — слышали мы от мам и бабушек. А может, и не слышали. Может, все было совсем по-другому. Но как бы ни сложилась наша собственная жизнь, как бы далеко мы ни ушли от порога родительского дома, огромная — до неба — фигура главной женщины нашего детства отбрасывает тень, дотягивающуюся до самых взрослых и на первый взгляд независимых наших поступков, суждений и чувств. Та, без которой нас не могло бы быть. Та, которая до поры до времени была нашим единственным ответом на все вопросы и в чьей правоте мы — тоже до поры до времени — не сомневались. Та, от повторения судьбы и черт которой мы, возможно, отчаянно рвались в свои молодые годы: “У меня все будет по-другому, мама!”. Насколько получилось? И что заставляло так стремиться доказать, что “по-другому” лучше?

Отношения дочери и матери невероятно сложны: вина и прощение, привязанность и бунт, ни с чем не сравнимая сладость и ни с чем не сравнимая боль, неизбежное сходство и яростное его отрицание, первый и главный опыт нашего “вместе” — и первая попытка все-таки быть отдельно... Конкуренция. Борьба. Страх. Пронзительная потребность во внимании, в одобрении. Ужас перед силой этой потребности. Любовь, порой проявляющая себя в убийственных, удушающих формах. Первый опыт подчинения власти, “превосходящим силам противника” — и первый же опыт своей власти над другим человеком. Ревность. Невысказанные обиды. Высказанные обиды. И над всем этим — уникальность, единственность этих отношений. Другой — не будет. Но очень многое будет связано с тем, какова была та, единственная.

Джудит Виорст в “Необходимых утратах” пишет:

“Большинство исследователей соглашаются, что в возрасте 6—8 месяцев у детей уже формируется привязанность к матери. Вот когда мы все влюбляемся впервые в жизни! И вне зависимости от того, связана ли эта любовь с глубокой потребностью в человеческой привязанности — я убеждена, что связана, — она обладает огромной силой, интенсивностью. Что и делает нас впоследствии такими уязвимыми в ситуации утраты — или даже только угрозы утраты — тех, кого мы любим”*.

Нам трудно вспомнить — во всяком случае, без специального погружения в свои свободные ассоциации или особое состояние сознания — собствен-

*Judith Viorst. Necessary Losses. The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow. Fawcett Gold Medal, New York, 1990.

ные чувства раннего детства. Они, между тем, всегда с нами. Что и делает первых взрослых нашей жизни — и особенно мать или человека, заменяющего ее, — такими важными. Блаженство полного, беспредельного единения с другим человеческим существом длится недолго — так оно и должно быть. Растворившись в другом, не вырастешь. Да что там не вырастешь, ходить не научишься! И шаг за шагом, сперва ползком, потом на нетвердых ножках, придерживаясь за чей-то палец — скорее всего, за мамин или бабушкин — мы начинаем отделяться, уходить. Сначала возвращаемся бегом, чуть что. Зовем, если чего-то не понимаем, или испуганы, или не можем справиться. Потом расстояние, а вместе с ним и наша самостоятельность, увеличиваются. Нас ждут другие открытия и отношения, да и контакт с матерью становится совсем другим: меньше ласки и больше замечаний, меньше воркования, забав, песенок и больше инструкций, поручений, “дела”. А на ручки иногда так хочется — и даже совсем взрослым женщинам, уже предпринявшим свои попытки найти эти “ручки” в мужьях и любовниках, вернуть невозвратное...

Спой мне, мама, колыбельную —
 ту, что в детстве, как тогда.
 Не чужую — самодельную,
 не про серого кота.
 И не выдержу — заплачу я:
 стать бы маленькой опять...
 Ты баюкай, ты укачивай,
 а я буду горевать,
 что не так полжизни прожито,
 что невесело пою...

Елена Казанцева

Но произойдет еще многое — до того важного и горького момента жизни, когда наступает окончательная взрослая ясность: как бы ты ни была испугана или беспомощна, как бы ни нуждалась в этих коленях или прикосновении, какой бы отчаянной ни была твоя тоска по ней, — все кончилось. Мамочка не придет. Не придет, даже если когда-то бросалась утешать и помогать по первому знаку. И тем более не придет, если никогда этого не делала, не умея или не желая. Не потому даже, что ее нет на свете — возможно, она жива и в добром здравии. Просто магия материнского всемогущества кончилась. Надежда, что мать на этот раз не сделает замечание, а утешит, кончилась, а вместе с ней иссяк ядовитый источник разочарования. Вера, что ее терпение и поцелуй могут исцелить любую боль, кончилась: все больше ситуаций, когда она сама нуждается в помощи. Любовь изменилась и больше не основана на зависимости и нужде, страхе неодобрения или мечте о том, как она наконец “все поймет”. Как перестала быть

смертельной ее критика, так и похвала утратила свою неповторимую сладость. Она — всего лишь человек, такая же женщина, как ты. Она может поддержать и помочь всего лишь как другой взрослый — и не больше. Мы теряем ее много раз — становясь отдельным человеческим существом в самом начале, не находя ее рядом в десятках ситуаций, когда отчаянно в ней нуждаемся; освобождаясь от ее власти и авторитета, узнавая ее как человека, а не только свою мать; отрицая сходство с ней словом и делом — до поры до времени; пытаюсь получить недоданное ею у других людей — мужчин и женщин. В отношениях с ней, первых отношениях человеческой жизни, заложено зерно будущих loves и страхов, иллюзий и реального умения справляться с жизнью.

Меня часто спрашивают: что, неужели на самом деле отношения с "материнской фигурой" так важны? Зачем так много всего возложено на несовершенную, порой неумелую или очень молодую женщину, которая, может, и не готова к этой ноше и знать про нее не знает? Или, напротив, на бабушку, заменяющую мать, немолодую и не очень здоровую, которая "сидит" с ребенком? А я отвечаю: поменяйтесь ролями с Матушкой-природой и обдумайте этот вопрос, ответ получится тот же самый — на кого же эту ношу еще и возложить? Для кого связь с младенцем может стать настолько важной, что его писк выдернет даже из самого глубокого сна? Чьи руки не разожмутся, как бы ни ныла натруженная поясница?

Одна женщина на группе рассказывала сон, приснившийся ей через месяц после рождения ребенка. Сон пугающий: как будто она заснула, пристроив детеныша под бочок, да и придавила его. Проснулась в ужасе: кто не знает таких пробуждений в холодном поту, рывком из кошмара на твердый берег реальности? Последним "кадром" сновидения было бездыханное тельце, которое она трясет, пытаясь оживить; первый "кадр" реальности — полуся в кровати, она трясет и пытается оживить собственную ногу; дитя мирно спит в своей кроватке. Я бы обратила здесь внимание не столько на страх причинить вред ребенку, — хотя под этой маской действительно часто разгуливают не пропущенные в сознание агрессивные импульсы, и рассказ Чехова "Спать хочется" описывает не только поведение несовершеннолетней няньки-убийцы. Но в этом сновидении мне кажется более важным то, что ребенок ощущается частью собственного тела: ноге, видимо, в прерывистом сне молодой мамы было неудобно; "мне плохо" равняется "ему плохо", и наоборот. А если мне хорошо, ему хорошо, и наоборот, то что может быть отдельно, когда мы почти одно? Если это так для взрослой женщины — а так бывает, и очень многие мамы маленьких детей знают и хорошо описывают это "благорастворение" первого года, это сияющее слияние, — то какой же интенсивности переживание испытывает дитя! И если ранний опыт безопасности, тепла и доверия столь важен, — а

это так, что подтверждается десятками экспериментов и клинических наблюдений, — то от важности “материнской фигуры” никуда не денешься. В сущности, ею может работать и отец или дедушка, хотя бы на “полставки”. Правда, работа эта тяжелая, малооплачиваемая и пока у мужчин престижной не считается, так что опыт “работы мамой” бывает связан с какой-то необычной и драматичной ситуацией или речь идет о молодом отце, следующем западным нормам. Как бы там ни было, последующий “женский почерк”, и в частности важнейшее для женщины умение терять и не саморазрушаться, пресловутая женская живучесть прямо связаны с первым нашим серьезным расставанием — утратой ощущения единства, слияния с матерью. Так надо.

Естественное, “правильное” отделение происходит не в одностороннем порядке: ребенок стремится к самостоятельному исследованию коврика, комнаты, мира. Мать может отлучиться на минутку, может быть, уже достаточно ее голоса; а вот уже можно рискнуть выбежать из дому, если надежный человек придет “посидеть” на часок-другой... И даже тогда ситуация драматична. И даже тогда вынужденные расставания с матерью могут быть болезненными — для обоих. Мне часто случалось работать в группах с довольно распространенной ситуацией: необходимость “отдать” ребенка в детский сад или бабушке, переживания вины и тревоги по этому поводу, ребенок рыдает и цепляется за мамины ноги, мама рыдает и сама же отдирает эти самые ручонки, чувствуя себя последней ехидной. А если у мамы был опыт вынужденного расставания со *своей матерью*, то она воспринимает ситуацию глазами — и сердцем — себя двух- или трехлетней: это ее бросают, отрывают от единственного источника ощущения безопасности. Это ее предадут те самые “руки матери”, это она покинута навсегда, потому что для маленького ребенка понятие “скоро” или “вечером” слишком абстрактно. Травма? Да, но сколько “бывших девочек” и их детей через это прошли в той или иной степени, и без совсем уж тяжелых последствий. Значит, вынужденный отрыв от матери все-таки в каких-то случаях компенсируется, все-таки психологически переносим. Джудит Виорст объясняет разницу в последствиях так:

“Если эти моменты окружены более широким контекстом надежных, предсказуемых отношений любви и привязанности, мы это переживем: разумеется, с болью, но без непоправимого вреда. Работающие матери и их маленькие дети зачастую убеждают нас в том, что и в этих обстоятельствах возможно формирование устойчивой, основанной на любви и надежной взаимной привязанности.

Но когда сепарация нарушает первичную привязанность, крайне трудно создать основу для доверия, развить в себе убеждение в

том, что в последующей жизни мы сможем — и заслуженно — найти людей, небезразличных к нашим потребностям. И если наши первые отношения ненадежны, оборваны или запутаны, мы можем невольно перенести этот опыт и свою реакцию на него в свою последующую жизнь и свои ожидания. Ожидания по отношению к собственным детям, друзьям, спутникам жизни и даже деловым партнерам.

Ожидая, что нас покинут, мы виснем на тех, кто нам дорог: "Не покидай меня. Без тебя я ничто. Без тебя я умру".

Ожидая, что нас предадут, мы хватаемся за малейшие знаки, превращая их в улики: "Вот видишь, я так и знала, что тебе нельзя доверять".

Ожидая отказа, предъявляем избыточные требования, заранее сердясь на то, что они не будут выполнены.

Ожидая разочарования, обеспечиваем себе возможность разочароваться — рано или поздно.

Исследования показывают, что утраты раннего детства делают нас особенно чувствительными к утратам взрослой жизни. И в среднем возрасте наша реакция на смерть в семье, развод, потерю работы может оказаться очень мощной — например, принять форму депрессии — реакции беспомощного, отчаявшегося, гневного ребенка.

Тревога — это больно. Депрессия — это тяжело. Возможно, не переживать утраты безопаснее. И хотя мы бессильны предотвратить смерти и даже разводы — как были бессильны сделать так, чтобы мама не уходила, — мы можем развить стратегии защиты от боли утраты.

Одна из таких защит — эмоциональная отстраненность, отчуждение. Мы не можем потерять того, кто нам дорог, если нам все равно. Ребенок, который страстно хочет, чтобы мать была с ним, и чья мать снова и снова не с ним, может извлечь из этого опыта урок: любить и нуждаться в ком-то слишком больно. И в своих будущих отношениях он может ожидать и давать поменьше, стремиться не вкладывать почти ничего, отстраниться, не вовлекаться, "окаменеть".

Другая защита от утраты может принять форму коммуникативной потребности заботиться о других. Вместо переживания боли мы помогаем тем, у кого болит. И "творя добро", мы идентифицируемся с теми, о ком заботимся. И они, и мы тем самым перераба-

тываем свое старое, старое чувство беспомощности и ужаса от того, что “никто не придет и не поможет”.

Третья стратегия — преждевременная автономия. Мы претендуем на независимость слишком рано. Очень рано мы учимся не позволять нашему выживанию зависеть от любви и внимания других. Мы облачаем беспомощного ребенка в сверкающую броню самодостаточного взрослого.

Утраты раннего детства могут существенно повлиять на то, как мы переживаем необходимые утраты последующей жизни”*

Так и получается, что каждая вторая работа на женских группах — “про маму”. То есть *на самом деле* про маму, потому что начальная постановка вопроса может быть совсем даже и про другое: не могу простить изменившего мужа, хочу научиться отказывать людям в просьбах о помощи, если это нарушает мои границы и превосходит возможности; страшно боюсь потерять свою работу — только в этой большой компании чувствую себя в относительной безопасности, только пока принадлежу этой отлаженной системе, хоть как-то защищена... В совершенно разных сферах жизни звучит “эхо взрыва” резкой или преждевременной сепарации (отделения от матери). Точно так же, как в совершенно разных сферах жизни отзывается нарушение эмоционального контакта с матерью — даже тогда, когда физическое присутствие ее сохранялось. Иногда спонтанная попытка исцелить эту рану ведет к тому, что женщина “удочеряется”, выбрав себе в матери тетку, бабушку или старшую подругу; порой “вспомогательным лицом” становится и вовсе мужчина... Этими сюжетами полным-полна наша взрослая жизнь, и здесь есть одно неприятное обстоятельство: чем болезненнее и раньше случилась изначальная “поломка” в отношениях с матерью, тем хуже осознается связь с нею последующих привязанностей, конфликтов и неудовлетворенных потребностей.

Классическая психоаналитическая мысль о том, что муж или любовник воплощает фигуру отца, недоступного в качестве сексуального объекта, по-прежнему “живет и побеждает” и находит частичное подтверждение во многих женских историях. Но... Эта мысль — старая, многократно и разнообразно описанная, уже ставшая частью психологического фольклора, — как и зеркально отражающая ее тема поиска “мамочки” в жене. “Уровень освещенности” здесь таков, что для самостоятельных поисков и открытий осталось не так уж много места. Драматические и порой отчаянно сложные отношения женщины с матерью, конечно, не исчерпываются простой конструкцией “дочка — соперница мамы в борьбе за внимание и любовь

*Judith Viorst. Necessary Losses. The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow. Fawcett Gold Medal, New York, 1990.

папы". В истории любви — о, если бы только любви! — матери и дочери есть загадки, напряжение и боль, никак не связанные с "классическим треугольником" ревности и соперничества, особенно если "трудные времена" этих отношений пришлось на самое раннее детство девочки. Отец бесконечно важен, но в реальности сплошь и рядом оказывается фигурой далекой, туманной, почти символической. Мать (или любой человек, ее заменяющий) — конкретна, как и способ ее взаимодействия с ребенком: прикосновение, звук голоса, тепло ее большого тела, улыбка или гримаса гневного крика, внимание к настроению и чувствам ребенка или только к содержанию горшка и чистоте платяца. Об отце можно знать и говорить — в том числе и о своем "внутреннем отце", унаследованной "по мужской линии" части собственной личности. Мать, особенно ее ранний образ, нужно *прочувствовать*, чтобы понять, как огромна ее "доля" во внутреннем мире, чтобы на уровне этого самого внутреннего мира еще раз "переиграть" абсолютную близость и ее утрату.

Дочь — бесконечная мать.
 Мать — бесконечная дочь.
 И не пытайся понять.
 Но попытайся помочь
 матери — дочь доносить,
 глупую, старую дочь,
 дочери — мать выносить
 в ночь. В бесконечную ночь.

Вера Павлова

О, сколько историй разворачиваются к сквозной теме "потерянного рая"! Чем мягче и естественнее произошло это расставание, тем лучше мы приспособлены для всех наших будущих разлук: золотыми буквами где-то глубоко внутри нас вышито сакраментальное "Жизнь продолжается". "Отдельность" своего существования — если угодно, принципиальное и непреодолимое одиночество каждого взрослого человека — не кажется концом света, катастрофой, хотя временами может причинять сильную боль.

Тогда, скорее всего, женщина будет в состоянии вовремя уйти с бесперспективной работы, где только и есть, что привычное окружение. Тогда ее не убьет наповал измена и даже уход или смерть мужа, ибо он все-таки не является ее "частью", как и она — его рукой или ногой: будет больно, но сердцевина выдержит, жизнь продолжается. Тогда она сумеет и своих детей отпустить — до дивана по коврику, до поворота по дороге к школе, до первого неприхода ночевать, до взрослой жизни *без нее*. Мгновения слияния, растворения собственных границ могут по-прежнему быть сладостными, будь то растворение в музыке и ритме, влюбленности в кого или что угодно, медитации, природе или оргазме, — но это будут именно минуты, а

не постоянная попытка к бегству. Чем лучше знаешь эту свою потребность, — для чего вовсе не обязательно провести десять лет жизни на кушетке у психоаналитика, — тем больше найдется в жизни способов ее “докормить”, не проваливаясь в нее с головой и не теряя себя. Это важно для всех сторон и сфер жизни: отношений с мужчинами, карьеры, собственного материнства. И есть еще один веский довод в пользу того, чтобы внимательно обдумать и прочувствовать все, что в твоей собственной жизни перекликается с темой “про маму”: если эта работа сделана, она бывает вознаграждена новыми, взрослыми отношениями с самой мамой. И сколько, оказывается, удовольствия и свободы можно получить в общении с той, про которую, казалось бы, давно все поняла! Не все, поверьте. Отделяясь от матери внутренне, становясь равной и взрослой, женщина получает возможность совершенно новой — и уже не основанной на детских потребностях — душевной близости. Для обеих это может стать чудесным подарком. Что и говорить о том, как важно это — успеть...

Есть, впрочем, еще одно обстоятельство, в связи с которым нам следует глядеть в оба и вовремя — то есть при первой же возможности — прояснить для себя все, что связано с этой глубинной потребностью “забыться, закружиться, затеряться” вне своих личных границ.

Большинство из нас — бывшие маленькие дочери матерей, которым не была дана возможность решать этот вопрос интуитивно и свободно: за два, а то и три предыдущих поколения женщин его решало государство, и мы знаем, как. Пятьдесят восемь дней по уходу за ребенком, строевая подготовка ясель и “садилов”, невыносимая теснота жилищ, где все у всех на виду и на голове, — и “хороший” ребенок для такой жизни тот, которого не видно и не слышно, депрессивный.

“Нарушен естественный порядок смены поколений, старые дерева губят подлесок, подлесок губит старые деревья; им не разойтись; они взаимно ускоряют свой и без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза — именно физически выбыть, потому что ареал обитания нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но тогда умру я — в прямом физическом смысле, — потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в жизни. Если все останется по-прежнему, то первой выйдет из игры (назовем это так) — моя мать — еще задолго до лучезарного двухтысячного года, — а сын сойдет с ума. Кому же выбывать, кому? И куда? И разве нам это решать?”*

*Палей М. Евгеша и Аннушка // Месторождение ветра: Повести и рассказы. СПб.: Лимбус Пресс, 1998. С. 112.

Затянувшийся, подневольный симбиоз смертелен — по крайней мере, душевно. "Отпустить" ребенка в мир вовремя и с любовью — прекрасно и правильно, об этом писали многие чудесные авторы: педиатры, психоаналитики, педагоги. Но в какой мир и насколько сама мама умеет с этим миром справляться? А если нет, какое материнское благословение, какую "волшебную куколку" она в состоянии оставить дочке? Возможно, центральная тема женских групп — отношения с матерью, но не только как с биографической фигурой, а прежде всего как с собственным началом, с "матерью в себе". Раны, нанесенные женской душе искажением материнской роли на протяжении нескольких поколений — это одна из неоплаканных потерь нашей культуры. И, в силу нынешних приоритетов этой самой культуры, оплакать ее некому, — кроме нас самих да двух-трех десятков пишущих женщин, умеющих сказать поминальное слово за других. За всех, кому говорить и быть выслушанными не дано.

Модель материнского поведения, в которой ребенок должен быть только сыт-здоров-обут-одет, имела под собой реальные (и ужасные) основания: опыт миллионов женщин, для которых физическое выживание детей стало важнее всего остального. Игнорирование, отрицание травм и лишений, причиняемых отрывом от матери при помещении ребенка в "детские учреждения", играло роль пусть примитивной, но все же защиты от чувств боли и вины. Глубину и "площадь поражения" материнской роли трудно себе даже представить, и тем настойчивей эта тема возникает в разных ее проявлениях в женских группах. Например, в историях о любви — вовсе даже не материнской, а просто женской.

В романе современной французской писательницы Катрин Панколь "Я была первой" речь тоже идет о любви к мужчине — со всеми странностями, свойственными любви. "Дамской прозой" это не назовешь никак, ибо текст не плодит и не подкармливает сладостные иллюзии "возвращенного рая", а делает прямо противоположное, словно бы у автора в одной руке спасительная куколка, а в другой — всевидящий череп с пылающими глазами. Содержание романа пересказывать не буду, скажу одно: за всеми непонятными перипетиями любовной истории медленно и грозно вырастают фигуры двух матерей — его и ее:

"Мы любим так, как наши матери любили нас. Мы повсюду таскаем их с собой, всю жизнь носим в себе недостаток материнской любви или ее избыток.

Мне было безумно сложно признавать и принимать любовь, потому что я ничего о ней не знала. Мне пришлось учиться любви шаг за шагом, как дети учатся ходить, писать, читать, плавать, есть ножом и вилкой, кататься на велосипеде, и он с радостью

взял на себя роль учителя. Занимался со мною нежно и терпеливо. Он вел себя как мать, проверяющая домашнее задание ребенка, хвалил, ворчливо подбадривал, правил запятые.

В отличие от меня он с детства рос среди любви, любви ненасытной, властной, удушающей, подавляющей. Мать явила ему идеальную любовь, и этот возвышенный образ не давал ему покоя, как собаке сахарная кость.

В каждом из нас живет наша мать. Наши матери незримо срастаются с нами, и только избавившись от этого симбиоза, можно зажить полноценной жизнью. Иначе все закончится плохо: ты задавишь меня любовью, я тебя — нелюбовью**.

Пожалуй, не буду я рассказывать какую-то одну групповую работу “про маму”, — ибо таковы они почти все. Особенно те, которые начинаются “запевом” о любви: дитячко милое, не бойсь, не пужайся...

ХАОС, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

...опоры нет, защиты — никакой,
заранее готовиться — нелепость,
нет равновесья, призрачен покой,
где в должный час любая рухнет крепость,
ничто не возвратится — ни фасоль
в стручок, ни в землю ствол, который спилен, —
но, если силу не утратит соль,
все остальное как-нибудь осилим.

Юнна Мориц

А еще бывают такие занятные, странные работы — чаще всего совсем короткие: группа устала от “серьеза” отношений с детьми, мужчинами, родителями, от мучительных вопросов про свой путь в этом мире. Женщинам хочется подумать о мелочах: почему я так раздражаюсь, когда на исходе мыло или туалетная бумага? Почему я покупаю себе такое количество косметики, что это за ритуал ее рассматривать-перекладывать? Как бы научиться без сожалений выбрасывать старые вещи, а то никакие антресолей не хватает, да и не найдешь ничего. Или вот еще: трудно покупать, особенно одежду: как увидишь несметные количества всякого тряпья, перестаете понимать, чего хотела и за чем шла. Ну, и конечно всякое-разное про беспорядок, про собственное раздражение заваленным столом или тяжелую

*Панколь К. Я была первой. М.: Мюнпресс, 2001.

усталость от бесконечного — по определению — характера трудов по поддержанию дома в чистоте и уюте.

Мелочи — не пустяки, это мы все достаточно понимаем. Мелочи — это прежде всего песчинки в часах нашей единственной жизни, из их сотен и тысяч складывается день, неделя. А еще это невинный повод обратить внимание на чувства (не те, "большие", которые только и считаются достойными названия, а на постоянный аккомпанемент, фон). Как ни странно, именно проза жизни — а в женской жизни прозы много — ставит нас лицом к лицу с очень серьезными вещами, понимать и помнить которые по более крупным поводам может быть слишком тяжело.

История про запасы мыла оборачивается горечью по поводу чрезмерной ответственности за все "узлы" домашнего механизма, одиночества в решении этих самых мелких проблем: "Я даже сон иногда вижу, что кто-то за меня вовремя заметил и купил, а я во сне так удивляюсь: да кто же, кто это меня так выручает?" (Как не вспомнить куколку, делавшую за Василису подъемный воз работы?)

История про запасы "Л'Ореаль" с "Орифлеймом" оказывается отголоском серьезной болезни, подкрадывающейся на бесшумных лапах и грозящей не только внешности и молодости, а даже и самой жизни: "Если я покупаю хорошие, дорогие средства от солнца — значит, будет лето. Для меня будет. Если у меня на каждое настроение, на каждый сезон свои баночки, значит, я еще есть".

История про мешки со старьем ведет нас напрямик к очень острой и совсем не "тряпочной" теме: тревога по поводу бедности, родовой запрет выбрасывать "дельное": "Я ведь первая в семье, кто может себя и детей обеспечить. У меня просто нет привычки выбрасывать, мне все кажется, что я потом обязательно пожалею. Я и на работе стараюсь все предусмотреть, проверить по два раза, как бы тоже держу лишнее, только в голове".

Что касается растерянности при встрече с богатым выбором, то здесь и по-прежнему один шаг до очень важной проблемы контакта со своими желаниями. Есть такое психотехническое упражнение: три раза в день по три минуты задавать себе вопрос: "Чего я сейчас хочу?" — и получать любые ответы, какие только удастся получить за три минуты. В этом упражнении самое интересное — сопротивления: ничего в голову не приходит, как это может быть, я же многого хочу. Или нет? Или мне почему-то страшно признать свои желания? "Программа выполнила недопустимую операцию, при ее повторении работа будет прекращена".

Был у меня случай — правда, в индивидуальной практике, где такие "игрушки" используются чаще. Аккуратная, ответственная женщина средних

лет жаловалась как раз на то, что ей трудно определяться, трудно понять, как поступать. Мы договорились в конце встречи, что она всю неделю будет делать вот это упражнение и тем самым что-то узнает о своих желаниях, а там уж посмотрим, что они подскажут. Через три дня звонит в панике: “Я не знаю, что со мной происходит. Ответов никаких, кроме самых тривиальных: выпить кофе. Но я уже два дня не могу себя заставить убратся в доме, да еще такую злобу чувствую к этой уборке. У меня уже в доме черт-те что, под ногами хрустит. Я схожу с ума? Я что, теперь такая неряха и буду?” И непритворный ужас в голосе! Порешили мы с ней не пугаться так уж сильно и продолжить эксперимент, но сначала чуть-чуть разобрались с происшедшим: “Я, наверное, слишком много себя заставляю, принуждаю. Накопилось внутреннее несогласие, а тут окошечко открылось: чего хочешь? Чего хочу, не знаю, а вот чего не хочу — вот, и вот, и вот!”

В этой истории замечательно ясно виден один из принципов нашей работы, в том числе и групповой: не в том дело, наводить блеск на кухонную плиту или нет, а в том, знаешь ты, зачем тебе это, или нет. Она узнала, душа ее возмутилась и выдала реакцию действием, “забастовку”. Забастовка как таковая проходила всего четыре дня и, что самое прелестное, даже не была замечена семейством. Зато начался процесс пересмотра своих “тактических задач”, подавленное недовольство было осознано и принято, потихоньку что-то из домашних работ стало делаться, но как-то легче, без зубовного скрежета, а для чего-то нашлись свои возможности не делать.

Так скромные и вроде бы совершенно не психологические предметы — мешок с “еще хорошими” туфлями, исчезающий под пальцами обмылок или выбор летних штанов на барахолке — ведут прямоком к грозным реалиям жизни: одиночеству, свободе выбора, ужасу перед хаосом, конечности земного бытия...

Предусмотреть, рассчитать, избавиться от лишнего, найти применение каждому случайному предмету — это ведь обычные хозяйственные заботы любой женщины, ведущей дом. Вид стола после семейной трапезы или нутро кладовки — “ручной”, нестрашный хаос; наша нескончаемая домашняя работа — это “прививка” от ужаса перед большим, не подвластным нам Хаосом. Помни мы об этом каждую минуту, думай мы постоянно о тщетности всех наших усилий, так, пожалуй, и руки бы опустились. Однако же моем и отскребаем, раскладываем и сортируем — и ничего, выдерживаем. Когда уж совсем неумоготу убираться, когда руки не лежат ни к какой расчистке завалов и прихорашиванию своего угла, это почти наверняка признак душевной тяжести — хорошо, если не депрессии. Впрочем, вполне возможно, что и бунта: да провались оно все, надоело, сколько можно, конца не видно, а-а! Кстати, Баба-яга дает Василисе немало заданий как

раз такого рода: двор вычистить, избу вымести, белье приготовить, очистить зерно от чернушки и мак от земли. Грязное отделить от чистого, нужное от ненужного, а то и от ядовитого. ("Чернушка" — это рожки спорыньи, ядовитого паразита зерновых, в больших дозах вызывающего галлюцинации и тяжелые отравления, а в малых, как ни покажется это притянутым за символические "уши", усиливающего маточные сокращения). Василиса справлялась с помощью магической куколки, благословения своей покойной матери; как-то справляемся и мы.

Как было бы прекрасно, если бы "куколка", доставшаяся от мамы, действительно помогала переделать всю эту нескончаемую работу. Конечно, я имею в виду не магическую помощь как таковую, а унаследованное умение "перебирать зерно" легко и без надрыва, ставить себе посильные задачи и вовремя получать реальную, человеческую помощь. Однако отношения наши с хаосом и порядком часто складываются непросто.

Боже мой, как нас приучают к порядку с детства! И именно девочек, что потом не раз аукнется в наших собственных семьях. "Пока не уберешь игрушки, никакого... (телевизора, мандарина, чтения на ночь или чего еще мы страстно желали в пять лет)". Поправь. Одерни. Проверь. Не забудь. Подтяни. Где платок? Если мальчишкам еще прощаются гвозди с гайками в карманах и свалка в ранце, девочек дрессируют на совесть, благо материал сопротивляется куда меньше — до поры до времени. Сейчас еще маленьким женщинам полегче: джинсы хорошо стираются, короткие стрижечки почти не требуют возни, крахмалить перестали, да и вообще прикидываться говорящим манекеном приходится не так старательно. Но вот воспоминания зрелых женщин о белых нарукавничках, бантах, манжетиках и утреннем кошмаре заплетания кос — это нечто.

Дальше порядок наводится в голове: "Кто ясно мыслит, тот коротко и четко излагает", "Что значит забыла? Голову свою ты не забыла, надеюсь?", "Успеха добиваются организованные люди, а не рассомахи"... Тем временем житейская мудрость тоже не дремлет: "Как увидят твою комнату, никто замуж не возьмет", "Вот погоди, будет у тебя свой дом, тогда узнаешь". Узнаем. Непременно узнаем.

Проходят годы, и полученные нами инструкции, равно как и наше умение их выполнять или яростно им сопротивляться, разыгрываются уже на сцене нашей собственной взрослой жизни. И мы действительно *узнаем*, что даже идеальный порядок в комнате еще ничего не гарантирует: неряшливую распустеху могут считать сексуальной, своеобразной, интригующей, — а подтянутая и аккуратная кому-то покажется скучной и старообразной (Еще бы: угадайте, кто из них больше напоминает строгую мамочку?) Что поддержание порядка в доме, где есть мужчина, ребенок и собака,

напоминает диверсионную работу в глубоком тылу врага. Мы узнаем, что организованность и четкость в делах вызывает отнюдь не ливень похвал, а снисходительную усмешку плюс стремление именно на нее, организованную и четкую, свалить побольше мелких и нудных дел. Узнаем, что уж там. Если постараемся и отделим нужное от ненужного, зерно от чернушки, семейный сценарий и происки внешнего мира от собственных целей, — то, может статься, найдем для себя какое-то решение.

Беспорядок вещественный, конечно, тоже не сам по себе важен. Скорее всего, столь напряженные отношения со всеми “роковыми” вопросами (Что за дом, ничего найти нельзя!.. У нас моль летает, дожили!.. Третий день это лежит на полу, нагнуться трудно?) — это лишь отражение других вещей. Связанных с зависимостью и властью, с пониманием своих женских обязанностей и отчаянным сопротивлением им. И, конечно, со страхом того, большого Хаоса. О, у нас есть основания чувствовать его близкое присутствие. Нам напоминают об этой близости сотни ситуаций и картин — от нечищенных зимних тротуаров до “Криминальной хроники” по телевизору, от достаточно свежих воспоминаний о путчах и кризисе 1998 года до совсем уж свежих впечатлений — о бесчинствующих футбольных болельщиках в самом центре города. И прочая, и прочая...

Словарь — а стало быть, и жизнь — новейших времен изобилует понятиями, к которым просто не было времени привыкнуть: бартер, беспредел, бомж, брэнд, БТР, бутик — все “в одном флаконе”. Непредсказуемость и дурь чужих решений, от которых зависят наши завтрашние деньги, работа, здоровье, жилье напоминают поведение отца-алкоголика: когда и в каком состоянии он придет и придет ли вообще, прятаться или скандалить, а главное — кончится ли это когда-нибудь и чем?

“Вдруг страшный грохот. Вилы грохота проткнули мне уши. Но сильнее того — крик женщин, стоявших в очереди. Как страшно все закричали.

Оказалось, пьяные грузчики просто уронили ящик с банками тушеного кролика (стеклянные) а мы-то... Но ведь сегодня то самое, “шестьдесят второе число”! [...]

За весь день ничего более не случилось. Прошло какое-то время. Я успокоилась, хотя и не очень: в газетах каждый день сообщения то о взрыве атомной подлодки, то поезд с химвеществами загорелся, то... Да и этих... инопланетян видят все чаще и чаще, целая экспедиция в Пермской области работала, входила с ними якобы в контакт”.

Это из прозы Нины Горлановой, книжка называется "Дом со всеми неудобствами"* . Вот в этом самом Доме со Всеми Неудобствами мы и пытаемся навести хоть какой-то порядок — на уровне уборки в собственных жилищах и жизнях. Ругаем, стало быть, мужей за не туда положенные носки, наводим красоту по журнальчику "Мой уютный дом", стараясь не замечать боковым зрением "пейзаж после битвы" за окном...

Знаете, чем отличается Баба-яга от отца-алкоголика, от вздорного начальника и вообще от "патриархальной фигуры власти" в ее пустившем петуха, фарсовом исполнении? Старуха справедлива. Привередлива, груба, опасна, — но справедлива. Она не меняет правил игры и выполняет обещания. И потому ее "работы" тяжелы, но не бессмысленны, а ее мир — хоть и темный, но все же это Космос, а не Хаос. И "слуги ее верные" сменяют друг друга как положено, и избушка на курьих ножках действует сообразно ситуации и не путает собственные зад и перед, и пришедшую за светом испуганную девушку Баба-яга хоть и сурово испытывает, но ведь не "кидает", не переходит границ в своей абсолютной власти. И потому у этой сказки, как и у любой другой, есть начало, середина и конец (а кто слушал — молодец). У жизни — тоже. А вот у хаоса — хоть со строчной, хоть с прописной буквы — нету. Такая уж он, извините, сущность. Мы же решаем, как с этой самой "сучностью" поступить, и решаем каждый день. И это, между нами, девочками, свободный выбор...

Одна моя знакомая, очень и очень занятая дама, отдыхает так: отправив вечером в пятницу мужа и дочь за город, заваливается спать часов на двенадцать; в субботу встает как получится и принципиально не застилает кровать. Бродит нечесаная, жует на ходу, стряхивает пепел где попало — ну чистая Баба-яга. Бросает газету на пол, когда надоест читать, включает одновременно музыкальный центр и телевизор, а сама треплется по телефону с неработающей подругой, не знающей цену свободному времени, но ценящей общение с людьми из "большого мира". К вечеру субботы дом выглядит так, словно парочка-троечка изобретательных девятилеток играли там в поиски сокровищ Флинта. Хозяйка в нирване: к телефону не подходит, ест руками, плюхается куда нельзя и в чем не положено. Утром в воскресенье все как бы само собой приходит в привычный вид: масштаб разрушений не так велик, как кажется, и к ужину семью встречает привычная подтянутая мама-дама, которая держит в порядке и дом, и свой отдел на работе, и себя самое. Устроить, говоря ее словами, "праздник помойки" удается не каждую неделю, но без него она начинает больше уставать и раздражаться. Особенно ее бесят, естественно, проявления разболтанности и неаккуратности у окружающих...

*Горланова Н. Дом со всеми неудобствами. М.: Вагриус, 2000.

Дом, каков бы он ни был, может немало рассказать о наших героических попытках усмирить стихию, взять под контроль хотя бы этот небольшой кусочек мира — или о флирте с силами хаоса и разрушения. Некоторые из нас скрывают этот “роман”, как связь с непрестижным мужчиной: только заглянув к ним в косметичку или в ящик с бельем, можно увидеть настоящий бардак — именно то, что строго-настрога запрещалось с детства. Другие, ссылаясь на а) безумную занятость, б) надоевшее жилье, которое уже не изменить, в) общую усталость и авитаминоз, а также г), д), е) и т.д., бросаются в пучину беспорядка, и угрызения совести беспокоят их только при неожиданном визите посторонних.

Одна умнейшая женщина средних лет, много видевшая и пережившая и по неволе ставшая мастером практического самоанализа, говорила мне как-то, что состояние ее жилища порой тонко подсказывает ей, на что обратить внимание в жизни вообще. Например, если образуются какие-то залежи в углах — книг ли, рукописей или моющих средств, — она уверена, что о чем-то упорно не хочет думать, что-то от себя самой скрывает. Если вовремя на это обратить внимание и прояснить для себя, в чем дело, свалки по углам разберутся как бы сами собой. А если только себя стыдить, они от этого растут. Рекомендация, видимо, далеко не универсальная и подходит не всем, но идея кажется любопытной.

Есть еще две сферы, где наша склонность к порядку и слегка прикрытая ею любовь к хаосу проявляется болезненно и ярко: это Время и Деньги.

Удивительно, как мы умеем запутываться в сетях собственной занятости, ставить себе самим подножки и взваливать на плечи неподъемные обязательства успеть то, чего успеть нельзя по определению. Перед кем мы, в самом-то деле, отчитываемся? Кому и что пытаемся доказать? Неужели вечная попытка все успеть — то же тайное желание получить подтверждение однокоренных “успеваемости” и “успешности”? Но ведь знаем, что, даже *все успев*, не услышим “садись, пять”... И тут-то возникает спасительная отговорка: ведь когда “слишком много задают”, что с нас взять? Успеть бы хоть что-то, хоть как-то... (Если бы какой-нибудь бесенок-искуситель получил специальное задание не дать человеку задуматься о том, что действительно важно, — об отношениях с близкими, о собственном развитии и перспективах, — он составил бы “пропись”, неприятно напоминающую то, что мы зачастую и делаем со временем своей жизни: набрать побольше дел, ни одно из них особенно не любя и не выделяя как главное; побольше в них запутаться, потеряв контроль над ситуацией и барахтаясь в текучке; постоянно угрызаться по поводу недоделанного, хвататься то за одно, то за другое... “так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова”...)

Что же касается денег, этого универсального измерителя наших желаний и возможностей, то как часто мы замечаем, что на фоне разумного, расчетли-

вого распоряжения финансами мы вдруг — вдруг ли? — выкидываем какой-нибудь финт, делая совершенно сумасшедшую покупку. Потребность в капризе? В том, чтобы потешить свою дурь? Или что-то нас подталкивает изнутри к тому, чтобы создать небольшую, несмертельную "аварийную ситуацию", а потом из нее выкручиваться?

А уж о сфере отношений и говорить нечего: если все "в порядке", наперед известно и не сулит никаких неожиданностей, в какой-то момент становится неинтересно. Более того, чем больше порядка и стабильности у нас в характере, тем скорее потянет к какому-нибудь причудливому, взбалмошному существу, которое перевернет нашу жизнь с ног на голову, втянет нас в немислимые ситуации и, легкомысленно посмеиваясь над нашей тягеловесной правильностью, поскочет дальше. Это может быть мужчина или близкая подруга — из тех, о которых говорят, что они "невозможны", что у них "семь пятниц на неделе", что они "ненадежны" и, само собой, с ними "недалеко до беды". Все верно, но почему же этих "посланцев хаоса" обоего пола так любят, так им прощают и ненадежность, и измены, и прямые неприятности, по их вине возникающие? Уж не это ли и притягивает?

Вопросов получается больше, чем ответов, — что делать, такова тема... Вот еще два — эти уж последние, обещаю. Хотели бы вы, чтобы в вашей жизни все было отлажено, как часы, известно до минуты, как пройдет следующий день, неделя, год? Хотели ли бы вы полностью раствориться в неизвестном, случайном, нарушить все правила, не знать наверняка ничего — вплоть до времени дня и собственного имени?

Оба ответа "нет"? Все в порядке.

И вот еще что: прошлое всегда кажется более понятным и логичным, чем настоящее: в нем наводит порядок наша память, именно она и сводит концы с концами, печется о причинно-следственных связях. Не верите? А вот вам маленький кусочек из милой язвительной Тэффи:

"Жить на свете вообще трудно, а за последнее время, когда следствия перестали вытекать из своих причин и причины вместо своих следствий выводят, точно ворона кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью"*.

Как полагаете, в каком же году это писано? В тысяча девятьсот одиннадцатом — и в той самой благообразной аж по самое некуда "России, которую мы потеряли". Сей факт кажется мне таким же ироничным, как была иронична сама Надежда Александровна всю свою долгую и нелегкую жизнь — а уж тому поколению Хаос показал все, на что способен. Стало быть, и мы можем не впадать в панику — ну разве что иногда — и найти свой способ

*Тэффи Н.А.. Избранные произведения. М.: Лаком, 1998.

переживать все, что нам еще предстоит пережить, с достоинством и толком, а то и не без изящества.

Есть дивная восточная притча о хаосе и порядке. Вот она.

Жил в Японии в старину великий мастер чайных церемоний. Когда его сын вырос, отец передал ему секреты этого древнего искусства. Настал день, когда юноша был готов продемонстрировать все, чему научился: знание древнего ритуала во всех его тонкостях, безупречный вкус, идеальное чувство гармонии и порядка. Он приготовил все для будущей церемонии, выбрал и расставил правильную посуду в единственно возможном порядке, посыпал идеально просеянным песком дорожку к чайному павильону, разровнял этот песок особым инструментом и с трепетом стал ждать оценки отца. Старый мастер увидел, что сын постиг его искусство. Все было правильно. Только для “высшего балла” — слишком правильно.

“Прекрасно, сын, — сказал отец. — Здесь не хватает лишь...” — и жилистой, еще крепкой рукой сильно потрянул деревце, склонявшееся над идеальной дорожкой. И на ровный белый песок слетел один-единственный красный лист и упал совершенно случайно — то есть так, как и было нужно...

А вы говорите — землетрясения, цунами! Не пойти ли на курсы икебаны, если мама не будет возражать?..

МАТЬ-И-МАЧЕХА: В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

События детства не проходят, а повторяются, как времена года.

Элинон Фарджон

Злая мачеха в сказках всегда бывает наказана — а нечего маленьких обижать, она первая начала! И что-то этих злых мачех в сказках подозрительно много: да, конечно, женская смертность, родовая горячка и все такое, но ведь и мужчины жили недолго, а фигура отчима как-то не играет столь существенной роли. Поскольку сказки начали интерпретировать как некие закодированные послания довольно давно, на каждый такой вопрос есть целая библиотека ответов. Один из них таков: фигура Злой Мачехи — это воплощение всего, что ребенок ненавидит в собственной матери, но признаться в чем не может даже себе. Сказка с ее неотвратимым и суровым

наказанием злодейки тем самым дает ребенку возможность испытать свои негативные чувства, не проваливаясь в пучину вины и не накапливая их. Матери — обычные, любящие, немного усталые и задерганные — и то признаются в моментах дикого раздражения, направленного на ребенка; ребенок, как более спонтанное существо, конечно, тоже испытывает к маме разное. Да и не к маме — тоже разное, и кое-что из этого может ее сильно озадачить.

Успешность исполнения материнской роли в культуре ценится высоко, упреки в несовершенстве именно на эту тему — одни из самых болезненных, отравленные стрелы в семейных "разборках" по женской линии, тайное оружие бабушек: да какая же ты мать после этого! Оставим в покое бабушек: и вне их неусыпного критического взгляда все, что вызывает сомнение в собственной материнской полноценности — начиная от отсутствия молока и кончая плохими отметками дочери-восьмиклассницы — тревожно и болезненно отзывается сомнениями: недоглядела, недодала, "хотела медом, а вспоила — ядом". Большинству мам кажется, что их способность контролировать все поступки, мысли и чувства ребенка безгранична, — а стало быть, безгранична и ответственность. Видите: опять про границы, про вместе-отдельно.

А дитя капризничает, невесело. Или болеет. Или злится и колотит младшую сестру. Или пугается чего-то, что мать понять не может: ей кажется, что пугаться нечего, что она создала безопасную, уютную жизнь, возвела стены до небес и силою своего желания и любви удерживает "все плохое" за этими стенами. А чадо почему-то боится темноты, доводит до исступления требованиями зажигать свет во всем доме и заглядывать под каждую кровать: там змеи, чудовища, бандиты, да мало ли кто. "Нету там никого, закрой глаза и спи!". Послушно закрывает глаза, получив важный урок: мама не знает, что делать с ее страхом, она сердится — значит, есть за что.

Теперь вспомним свои собственные детские огорчения, страхи и потери — и мы поймем, что самое славное, счастливое детство в теплом и любящем окружении все равно их не минует. Болеют и иногда умирают старшие родственники. Плохие новости передают по телевизору. Кто-то выбросил любимую и единственную игрушку, счел ее старой и грязной, а другого такого зайца нет и быть не может. Ушла "хорошая" воспитательница из детского сада — теперь придет, наверное, злая. Придется вырасти и идти в школу, а там ставят отметки. Пугаются, злятся и печалются все дети; более того, они еще и завидуют, ревнуют, смертельно обижаются... Ну что ты так расстроилась — это же ерунда, купим нового; бояться тут абсолютно нечего, в школу все равно идти придется, так что лучше себя настроить заранее, а телевизор не смотри, ты после него плохо спишь.

“Не травма (утрата) как таковая страшна, а то, как ребенку позволено или не позволено ее переживать. Травма, которую отрицают, — это рана, которая не рубцуется и в любой момент может начать кровоточить”, — пишет Элис Миллер, одна из самых крупных исследовательниц мира детства и его шокирующе сложных противоречий и драм. (К слову сказать, она одна из первых привлекла внимание читающих взрослых к теме сексуальных посягательств, жертвами которых становились и продолжают становиться дети, а также к теме семейного физического насилия.) По мысли Элис Миллер, одна из главных проблем ребенка — невозможность быть принятым таким, каков он есть, ибо это его “каков есть” чем-то угрожает душевному спокойствию взрослых:

“Многие родители не могут приспособиться к чувствам своих детей. Сознательно или бессознательно, они, вместо того чтобы принимать эмоции детей, ждут, что те удовлетворят их эмоциональные потребности. Ребенок, который дает родителю ощущение, что с родителем все в порядке, — это легкий ребенок, “хороший” ребенок. Если у него есть свои желания и они противостоят желаниям родителей, он “избалованный, эгоист, упрямый”.

В этих условиях, если ребенок хочет держаться за своих родителей (а какой ребенок может позволить себе это потерять?), он очень быстро научается давать родителям то, что им нужно, жертвовать своими желаниями и отступать от себя — задолго до того, как становится возможным настоящий альтруизм, истинное великодушие и зрелая щедрость.

У родителей есть потребность в “хорошем ребенке”, который любит их, восхищается ими. Ребенок вынужден играть эту роль, чтобы удержать внимание родителей. Он становится мастером распознавания их желаний, чувств — ценой утраты своего “self” — истинного “Я”. Это означает, что ребенок отказывается не только понимать, но даже и регистрировать свои собственные чувства.

Если бы родители были способны познакомить ребенка со всем спектром его чувств, истинное “Я” могло бы выжить”*.

Маленький мальчик горько плачет над сломанной игрушкой — лицо матери кривится гримаской отвращения, в ее семье считалось, что “мальчики не плачут”. Она — грамотная и думающая мама, которая уже читала, что запрещать плакать все-таки не надо; она и не запрещает — но все, что ожидает плачущего мужчину в этом мире, написано на ее лице. Маленькая

*Alice Miller. The Drama of Being a Child. Routledge, 1968.

девочка роется в земле, по традиции многих поколений маленьких девочек делает "секретик" из стекляшки, ярких фантиков и какого-то еще цветного хлама. То ли клад, то ли нарядная могилка — символическое значение таких игр многозначно. И мало того, что извозится в грязи, — это ладно, но когда мама с самыми лучшими намерениями присаживается "посмотреть, как красиво", дочка угрюмо закрывает ладошками свое творение: "Уйди, не смотри, мое". Мама в шоке, она по-настоящему обижена: подруги так не поступают! Дочка неохотно убирает руки — ну ладно, смотри. Встает с независимым видом, отходит в сторону: я тут ни при чем. Раз ничего "своего" быть не может, — а иначе мама обидится, — то и пожалуйста, и это тоже уже не мое. И — носочком туфельки зарывает свои сокровища. Мама: "Дуняша, так мы их не найдем" — "Ну и пусть!". Секретов быть не должно, ничего своего — тоже, да и в самом деле: лучше не иметь этих сокровищ, чем еще раз увидеть такое мамино лицо...

Это относительно поздние примеры, дети уже достаточно большие, а мамы достаточно тактичные, но механизма исключения важных красок из спектра разрешенных чувств это не меняет. Мать невольно контролирует не только внешнее поведение — понятно, что бросать песком в глаза другим людям нельзя, — но и право чувствовать так или иначе, показывает, что эти чувства ее задевают. Недаром, ох недаром классическая женская ремарка в домашнем конфликте звучит так: "Каким тоном ты со мной говоришь!". Перевод: я знаю, какие чувства ты скрываешь за этим тоном, так не смей их испытывать! Зависимость матери от ребенка и наоборот — это тоже симбиоз; не только холодные и придирчивые Злые Мачехи устаиваются печек и колодцев, *слишком внимательные* и контролирующие "ангел-маменьки", которых уж очень легко огорчить, в сказках почему-то умирают еще в "первом действии".

Понятно, что не пугаться некоторых чувств своего ребенка довольно трудно, и мера этой трудности, пределы допустимого зависят от того, был ли у самой мамы опыт уважительного отношения к ней ее близких взрослых. Элис Миллер пишет дальше:

"Родители, которых не уважали их родители (просто так, за то, что они — это они) [...] всю жизнь ищут то, что в свое время их родители им недодали: того, кто им предан, принимает их все-речь, восхищается ими и ловит каждую их реакцию. Этот запрос, конечно, не может быть удовлетворен, поскольку он адресован ситуации из прошлого, которая невозвратима и часто даже не помнится. [...]"

Человек, у которого есть неудовлетворенная и неосознанная потребность, всегда склонен искать удовлетворения в заменителях, суррогатах.

Наши собственные дети как нельзя лучше приспособлены к этой роли. Новорожденный брошен на милость своих родителей, поскольку существование младенца полностью зависит от того, удастся ли ему удержать внимание близких. И он делает *что угодно*, чтобы его не утратить**.

И отсюда следует очень серьезная мысль — несколько расходящаяся с общепринятыми ценностями, но что поделать: поиск смысла жизни в детях и только в детях может дорого им обойтись и отдает вампиризмом. Возможно, это тот самый “поиск суррогата”, а дети — что-то вроде наркотика, этакое волшебное зеркальце, которое всегда скажет: ты самая лучшая мать. Та, которая слишком стремится быть идеальной матерью, обязательно будет этого добиваться за счет подавления в ребенке всего, что не есть ее идеальное “отражение”. Если ребенок — девочка, шансы на освобождение ниже. “Зеркало” все равно рано или поздно даст трещину — и возникнет напряжение, а то и конфликт. Если нет, дело обстоит еще хуже: вы все встречали пары, где мать и дочь были связаны пожизненным “клинчем”, при этом мать была сильнее. Зрелище не для слабонервных: никаких подруг, мужчин, вообще ничего, что может “разгерметизировать” эти отношения слияния, симбиоза. Полная беспросветность, потому что для любви и уважения нужна какая-то дистанция, какое-то пространство. Да в конце концов, эти две женщины друг другу просто неинтересны — в отличие от матери и дочери, установивших нормальную дистанцию, которым есть что друг другу рассказать, есть над чем вместе посмеяться или всплакнуть...

И если мы подумаем об этом еще минутку, многое покажется чуть более понятным: например, почему у шумных, ворчливых и не больно приветливых матерей и бабушек могут вырастать душевно тонкие, не запуганные и вообще не холодные дети — не вежливость им важна, а мера истинного принятия, а оно-то, видно, как раз и нашлось за этим “фасадом”. Или почему “правильное” воспитание со всеми этими “поделись с девочкой” и прочими формулами успеха может сформировать совершенное чудовище — более того, чудовище, умеющее прикидываться кисонькой. Или почему потребность доказать что-то своей матери, добиться у нее признания, увидеть *другое выражение лица* может стать для женщины почти навязчивой идеей.

Я написала картину — зеленое небо — и показала матери.

Она сказала: наверное, это неплохо.

Тогда я написала другую,

зажав кисть в зубах — смотри, мам, без рук! —

и она сказала: ну что ж, это могло бы заинтересовать кого-то,

кто знает, как это было сделано; но не меня**.

*Alice Miller. *The Drama of Being a Child*. Routledge, 1968.

**Cynthia Macdonald, “Accomplishments”, цит. по “Необходимым утратам” Д. Виорст.

Ледящее душу стихотворение Синтии Макдоналд называется "Достижения": героиня сыграет концерт Гуно с филармоническим оркестром, и мать опять скажет: ну что ж, неплохо. И героиня в следующий раз будет играть с Бостонским симфоническим, лежа на спине и держа кларнет ногами — смотри, мам, без рук! Она приготовит миндальное суфле, сначала так, а потом — без рук... и так далее.

Вы уже все поняли: ей никогда не услышать того, ради чего все это делается. (Многие из нас тоже так пробовали: не с мамой, так с папой.) Финал такой:

Так что я простерилизовала свои запястья,
произвела блестящую ампутацию,
выбросила руки и отправилась к матери.
Но прежде чем я успела сказать: смотри, мам, без рук! —
она сказала: у меня для тебя подарок.
И настояла, чтобы я примерила детские голубые перчатки —
просто убедиться, что с размером все в порядке.

Кто-нибудь еще боится Бабу-ягу с ее невыполнимыми заданиями?

Василиса, "благословенная дочка", получает от своей умирающей матери волшебную куколку-помощницу; по сказке ей в это время восемь лет, то есть первые материнские задачи безымянная купчиха выполнила и, судя по всему, выполнила достойно. То, что осталось от доброй и кроткой матушки, следует кормить и никому не показывать: это тайна, сокровенное женское наследство. "Интуиция" ли это — так у сказано Эстес — или что другое, но маленькая помощница на все случаи жизни Василису ведет и поддерживает, ободряет и предупреждает об опасностях. Не это ли и должен делать внутренний голос, который, по идее, девочка наследует у своей матери? У большинства из нас он тоже есть, но, поскольку только в сказках все предстает в своей очищенной, явной форме, а в жизни, как правило, перепутано, наши "материнские голоса" сплошь и рядом смешанные: кое-что от Злой Мачехи там тоже присутствует.

В группе мы имеем уникальную возможность эту внутреннюю "партитуру" разложить на голоса и выразить свое отношение к каждому из них по отдельности.

- Мама, я тебя люблю, но иногда ты меня страшно раздражаешь своими бесконечными придирками, желанием нарочно сделать больно...
- Давай сделаем так: выбери кого-то на роль Мамы, Которая Тебя Раздражает, а кого-то — на роль Хорошей Мамы. Поменяйся ролями с первой. Что скажете своей дочери, Мама?

- Ты неумеха, у тебя руки просто не тем концом приделаны. Не понимаю, в кого ты такая уродилась — мы с отцом оба нормальные люди в этом отношении. Где тебе жить отдельно, ты же грязью зарастешь! Один мужик уже от тебя сбежал, а ведь я предупреждала... *(Обмен ролями.)*
- Мама, замолчи! Прекрати меня терзать! Заткнись, я сказала! Твои бесконечные замечания во где у меня сидят! Умолкни, нишкни, молчи в тряпочку! Стань в угол и не вылезай оттуда, пока не разрешу, ведьма!

Однако Злую Мачеху так просто в угол не задвинуть: обычно приходится с ней побороться — физически уволочь ее в этот самый “угол”, стащить с возвышения. А исполнительница этой роли еще и сопротивляется, продолжает гнуть свое, так что борьба получается нешуточная, до одышки и мокрых спин. Победа! Что такое, кого ищет взглядом эта воительница, почему изменилось ее лицо? А, злость ушла — а за ней столько тоски, столько любви... К Хорошей Маме:

- Мамочка, где же ты была, когда ты так была мне нужна? Как я мучилась с этими уроками, как не решалась тебя побеспокоить вопросом — ты всегда была такая усталая... Пожалей меня, пожалуйста, мне это очень нужно. *(Обмен ролями.)*
- Светочка, солнышко, я ничего не могла поделать. Такая у меня работа, такой график. Я перед тобой виновата, прости. Я тебя ужасно люблю. Ты моя золотая девочка, самая лучшая, самая любимая. Давай посидим тихонько, я тебя покачаю, как маленькую...

Поскольку Света уже давно не маленькая, одного человека тут может оказаться и маловато — укачиваем нашу девочку вчетвером, а то и всей группой. Свете важно почувствовать, что доверие возможно, контакт с матерью возможен. И она прекрасно понимает, что это игровая ситуация, ее реальной матери здесь нет, а есть ее внутренние картины, ощущения. Если она маленькая, то мама — большая: вчетверо, впятеро больше, чем Света. Какая разница, сколько человек понадобится, чтобы создать для нее это ощущение? Есть момент, когда Светлане субъективно лет восемь-девять — и она мучается с уроками, она вообще из детей “с ключом на шнурке”. А когда Мама ее начинает вместе с другими укачивать, ей вообще года три, а то и два. Продолжаться это может несколько минут — пять, семь... Можем и колыбельную спеть тихонько, если это усилит атмосферу “детской”, нежного и уютного взаимодействия. “Качать девочку” всегда вызываются те, у кого тоже болит эта рана, так что и для них действие в высшей степени осмысленное. Оно, между тем, на “детской” обычно не заканчивается. Вот и в этот раз — Светлана просветлела лицом, слезы высохли, хлюпнула носом

раз-другой, начинает "расти": села, слезла с маминых колен, устроилась рядом, в обнимку:

- Мамулик, я уже большая и умная, я знаю, что у тебя тогда была жуткая работа, ты уставала и беспокоилась. Видишь, все хорошо: я выросла, ты здорова, все устроилось. *(Обмен ролями.)*
- Светка, ты действительно золотая девка, я тобой горжусь и всегда всем рассказываю про твои успехи, шутки, поездки. Может быть, горжусь не по праву: я не так много сделала для тебя, как хотела бы. Ты слепила себя сама, а мне и нейметя: ну как же не повоспитывать! Ведь съедешь — кому я буду голову морочить? *(Обмен ролями.)*
- Мам, а мы будем друг к другу в гости ходить и хвастаться, у кого кофе лучше. И ты меня будешь пилить за всякую фигню, а я тебя тоже буду дразнить за какую-нибудь ерунду, ладно?

В этом кусочке достаточно типичной работы на тему Белой и Черной матерей; как и всегда в нашей работе, важно помнить, что мы имеем дело не со Светиной матерью, а с ней самой и с раздвоенным, конфликтным образом мамы. Работа вообще-то начиналась с того, что Светлана хотела научиться уверенности в ситуациях, когда она не идеальна — и речь шла исключительно о взрослой жизни, о карьере. Слово за слово, услышали мы внутренний монолог Светы, ругающей себя за какие-то мелкие огрехи в отчете. Отделили этот голос — дали ему исполнительницу, чтобы он звучал не в голове, а отдельно. "Кто это?" — спрашиваю. — "Ясно, мама". Вот с *этой* мамой мы и ругались — бывает, что и подеремся.

И поскольку в глубине души мы все знаем, как непросты эти отношения, работа с негативными чувствами по отношению к матери не вызывает уж очень сильного страха: если в кармане есть Куколка, Злая Мачеха не сможет навредить. Когда дойдешь до Бабы-яги и узнаешь свою силу, обретишь зоркость — вот уж тогда-то и загорятся страшные глаза всевидящего черепа.

Иными словами, проработка негативных чувств по отношению к какому-то аспекту личности своей реальной матери возможна только тогда, когда на самом деле она им не исчерпывается; там, где есть *такая* агрессия, обычно есть и любовь. (Дети, по отношению к которым мать была по-настоящему холодна и жестока, испытывают несколько другие чувства, и, честно говоря, обычно их проблемы лежат гораздо ближе к серьезным нарушениям поведения и личности; они нуждаются в длительной и очень серьезной психотерапевтической работе.)

Зачем мы вообще это делаем? Чтобы освободить потенциал любви, "сжечь" Злую Мачеху — конечно, на самом деле в себе самой. Чтобы получить от

группы ресурс поддержки и тепла — он не заменит недоданного в детстве, но позволит узнавать и понимать источники похожих чувств в жизни, а это делает их менее опасными. Чтобы тем самым усилить свою собственную “внутреннюю мать”, которая нужна каждой женщине вне зависимости от того, есть у нее дети или нет. Чтобы наконец увидеть свою реальную мать как отдельного — не чужого, а именно отдельного человека, женщину — и принять неизбежность изменения отношений.

А в группе у нас обычно собираются женщины разного возраста, “детные” и бездетные, с очень разным опытом — и это тоже наш ресурс, наше богатство. Сам состав группы, ее “многоголосье” напоминает о том, что разные пути и судьбы не мешают нам понимать друг друга, сопереживать и находить точки соприкосновения в совершенно неожиданных местах. И — уважать иной путь, выходить за рамки обывательских представлений о том, что такое “настоящая женщина”. Эта мерка придумана для того, чтобы нас “построить” и лишить уверенности в себе, права на поиски собственного пути и ощущения ценности своего истинного “Я” — ее скроила Злая Мачеха, которой только дай волю — изведет. Внутри каждой из нас она есть, как есть и нежная Мамочка, и ворчливая старая карга Баба-яга, и мужские роли, и детские — целый мир со своими возможностями. Не каждая из них реализуется буквально, но одно мы понимаем твердо: ни одна роль, ни одна состоявшаяся жизнь — матери, возлюбленной, светской дамы или суперпрофессионала — не может составить весь смысл и все предназначение в этом мире. Что бы нам ни говорили мамы в свое время...

Мне хотелось бы закончить этот раздел одним рассказом, который в свое время так понравился, что я испросила у автора, Елены Анатольевны Сердюк, разрешения иногда читать его на женских группах. По-моему, он как раз об этом: о прошлом, настоящем и о собственном пути, который каждая из нас выбирает сама.

КАРЕ

В августе поляны в лесу покрываются травой “кукушкины слезки”. Так еще, правда, в народе называют лиловые ночные фиалки, у которых на листьях красноватые пятна — как будто кровь набрызгана. Народная фантазия — она на грубые наказания не скупится: “Порассовала своих птенцов, так теперь плачь во веки веков кровавыми слезами!”. Но мне больше нравится легкая травяная метафора кукушкиного горя.

Сначала из зеленого кулька листьев вверх выбрасывается струйка зеленых зернышек, еще полуобернутая длинным листком, а уж потом она разворачивается в развесистый фонтанчик. Угловатые капли темнеют и коричневыми облачка-

ми висят невысоко от земли, словно кто-то подбросил вверх горчичные зерна, да они так и остались в воздухе.

Если сплести из них венок и надеть, то сердцевидные подвески на тонких лесочках будут прыгать перед глазами, будто старинные височные украшения невесты. Такой ореол вокруг головы — как рой комариков: стоишь — и он стоит, идешь — и он движется вместе с тобой, словно неотвязная дума, неотвязная, как песня кукушки, самая женственная из птичьих песен. Мощное, оперное, глубокое меццо-сопрано как-то не вяжется с обликом серой длиннохвостой птички, летающей скованно, после каждых двух взмахов прижимающей крылья к телу, и всегда очень прямо, не глядя по сторонам, куда-то виновато и рассеянно спеша. Не в награду ли ей за тысячелетние слезы дана такая песнь?

— Кукушка-кукушка, где твои детки?

— Я их потеряла... Вон там, кажется, там... Или там, за холмом, в ивовой поросли... Не могу найти. А где твои?

— И я их потеряла. Они шли в этот мир и не пришли. И мне не суждено увидеть, как по дачному дощатому столу муравей тащит куда-то полупрозрачный, словно молодой месяц, детский ноготок. Однако откуда-то я это знаю! Ведь эти детки живут внутри моих мыслей, моих движений и действий.

Тебе, первому, суждено было стать писателем, и теперь ты водишь моей рукой; я напишу за тебя все до последней строчки и получу все твои награды и ругань.

А ты — второй, сероглазый *ladie's man* девятнадцати лет, мимолетно осененный даром — лишь отблеском дара — Кришна и Казанова. Девушки льнут к тебе по первому мановению руки, и ты не скупись на мановения. Главное, что у тебя есть, — мягкость улыбки и вдохновенная серьезность в любви. Придется мне за тебя соблазнить ослепительную манекенщицу с безвкусным именем Элиана, длинноногую, как газель. Я подарю ей от твоего имени жемчужное ожерелье и сделаю из ее нарисованной мордочки лицо. За это ее выгонят от Славы Зайцева, но возьмут на четвертые роли в кино, называя теперь Норой. Это будет уже другая женщина; что будем делать с ней? Я слушаю тебя и повинуюсь тебе.

И вы, двое заурядных крепышей-погодков от законного мужа, не беспокойтесь: я произнесу ваши тосты и промахнусь за вас в уток на охоте, но не оставлю за вас потомства (что для вас, конечно же, главное), ибо сказано — стоп.

И ты, младшая, желанная, не выдержавшая перелета из субтропиков в холодную Россию. Я сорву все твои комплименты, соберу все брошенные на тебя взгляды — на смуглую, синеглазую, с пышными волнистыми волосами, с движениями пантеры и архаической улыбкой статуи. Пока я этого не сделаю, я не вправе сбросить оболочку женской красоты.

Все дети рядом, идут впереди меня и ведут меня за собой. Нет ничего реальнее этих призраков. Чур меня, чур. Щур меня. Благо щуров и пращуров мною поднято на ноги много. Вот они наступают сзади, молча, терпеливо, угрожающе.

Вас это шокирует? Ах, сестра и кузина, вспомните получше, не было ли у вас в жизни чего-либо подобного? С вашего, братья и кузены, отстраненного согласия? Не нагромождаете ли вы на одного (хорошо, если на двух) наследников ношу, которую надо бы разделить между пятерыми? Вы не помните? Что ж, палачи и судьи, свита и подданные, идите рядом, одесную — друзья, ошую — враги.

А в центре каре — я, пленница, которая должна поплатиться за неисполненный долг, тяжеловесная пушка, которая должна выстрелить, монарх-всадник, за которого уже выбрали дорогу. Мой конвой перемещается вместе со мной, как оптический прицел, как неотступный голос кукушки, как венок из травяных слез. Через июльскую поляну, через другие страны, через ночи и дни, через годы, без остановок, без пощады, с поднятой головой, до самого конца.

ОСЕНЬ — ОНА НЕ СПРОСИТ...

У меня радикулит,
У меня душа болит.
Два привета в двух висках,
Два мозоля в двух носках,
В сердце гвоздь,
В ушах бананы,
Папиросочка во рту.
Я, наверно, сдохну рано
Через эту красоту.

Елена Казанцева

“В сорок лет жизнь только начинается”, — говорила героиня фильма “Москва слезам не верит”. Его хорошо помнят те из нас, чья жизнь, по идее, должна “только начинаться”. Ну и как?

Принято считать, что женщины панически боятся старения и готовы черту душу прозакладывать, только бы не появились морщины. Шутки-прибаутки про молодящихся дам, скрывающих свой фактический возраст, многообразны и порой грубы: “Женщине столько лет, на сколько она выглядит” — “До столько не живут!”. Но это взгляд внешний, притом мужской — приговор обжалованию не подлежит, апелляция защиты отклоняется.

Дамская самоирония ничуть не менее жестока, она только отделана кружавчиками, а в отношении убойной силы бывает и позабористей. Ну, например... Дороти Паркер: “Единственное, о чем женщина никогда не забывает, — это год своего рождения, как только она его наконец выбрала”. Легендарная Коко Шанель просто убивает на месте: “Каждая женщина имеет тот возраст, которого заслуживает”. У блестящей юмористки, умницы Тэффи читаешь (рассказ вообще-то о том, как пишут дневники мужчины и женщины, то есть о гендерных различиях в языке и мышлении), что дамский дневник “всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаевича” и посему внешность занимает в нем не последнее место: “Я бы хо-

тела умереть совсем-совсем молоденькой, не старше 46 лет. Пусть скажут на моей могиле: “Она не долго жила. Не дольше соловьиной песни”. 5 июня. Снова приезжал В. Он безумствует, а я холодна, как мрамор”. Ну, и так далее: игры инфантильной дурочки, старое доброе кокетство с обязательной симуляцией холодности и своевременным намеком: “И если “кто нужно” сам не замечал до сих пор того, что нужно, то, прочтя дневник, уж наверное обратит внимание на что нужно”. И довольно неожиданно на фоне этих смешных зарисовок в “будуаре тоскующей Нелли” — телеграфный обрубленный финал: “Женский дневник никогда не переходит в потомство. Женщина сжигает его, как только он сослужил свою службу”. Сожженный дневник, холод мрамора, могила, соловьиная песня, до нелепости конкретные 46 лет... Стоит отвлечься от содержания, вынести за скобки очевидные авторские намерения — и тут же выявляется странная общность с грубым-прегрубым анекдотом. “До стольких” — что? “Не живут”. Как легко, как весело, как старательно мы стараемся не помнить, что из глубины зеркала смотрит на нас Ничто — всю жизнь. Каждый день, пока зеркало не завешено.

...Держать это в сознании, в его освещенном круге постоянно вряд ли возможно: на краю пропасти обзаводиться хозяйством, получать образование и заводить детей не станешь. Совсем этого не знать тоже невозможно. Вот и плетем свои кружева, по-разному кокетничая с неизбежностью. Читаем Стивена Кинга (испугаться, но нарочно и оттого не по-настоящему); читаем дамские романы (сто пудов любви в сиропе кончаются всегда хорошо), стараемся устроиться на перспективную работу (беспокоиться о деньгах и карьере можно много и разнообразно, что почти исключает то самое беспокойство), возмисся в саду (там особенно чувствуется круговорот жизни и смерти, там зима — это время перед весной), влюбляемся или как-то иначе “западаем” на кого- или что-нибудь, “шьем сарафаны и легкие платья из ситца”, отвлекаемся на “региональные конфликты” то с целлюлитом, то с остеохондрозом, то с морщинами. Светящиеся рекламные щиты с обложкой нового номера глянцевого женского журнала призывают “остаться молодой навсегда” — разумеется, чуть смазанная — не в фокусе — матово поблескивает заветная баночка. (Если вдуматься, это прямой призыв к суициду: “молодыми навсегда” остаются только покойники.) Очередная “революционная технология” обещает волшебное разглаживание рельефа наших физиономий уже через три... уже через четыре... уже не припомнишь через сколько недель, сливающихся в месяцы и годы. По сумме забытых и пропущенных голов побеждает, разумеется, рельеф.

Морщины? Ха, напугали! А вот как насчет хруста в коленках, потихоньку подрастающих косточек там-сям, противных синюшных пятен на ногах, сухих локтей, а также килограммов, которые когда-то было легко и набрать,

и сбросить — экзамены, любовь, морковно-творожный день, — а теперь набрать почему-то получается, а вот насчет сбросить... И это все еще цветочки, мелкие трещинки по фасаду. Но перекрытия, коммуникации... Короче, износ: как бы мы ни глотали сырой рис и какие бы чудеса здорового образа жизни ни являли миру, тихо подкрадываются болезни и, как говорилось в старой шутке, "ступеньки стали такими высокими, а буквы — такими мелкими..."

Есть болезни, о которых можно и даже сладко иногда поговорить — та же дальновзоркость или отложение солей. Это — тема, повод объединиться и подбодрить друг друга: девочки, мы справляемся! Достаточно не есть (или есть) что-то определенное, делать кое-какую гимнастику, перейти на правильную обувь, подобрать роскошную оправу ("Ой, тебе так даже лучше!")... Съедем, сделаем, перейдем, подберем — ничего, ничего, ничего!

Есть болезни, о которых говорить не так уж хочется, — это когда мы побаиваемся пойти к стоматологу уже не потому, что "будут сверлить", а потому, что эта чертова металлокерамика влетит в такую копеечку, что держись. А плохие протезы — это старушечий рот. А-а, не хочу! Почему так рано? Разумеется, не тянет обсуждать и многое другое — хотя бы потому, что сам жанр такого разговора кажется преждевременно "возрастным", а нам еще очень даже есть о чем поговорить кроме собственного здоровья.

Ну, и есть — где-то там, в страшной космической пустоте — болезни, о которых мы не хотим не только говорить, но и думать. Вы знаете, какие. Совсем недавно — вчера — визит к гинекологу означал тревожный вопрос: не беременна? Потом, для многих из нас, вопрос: все ли в порядке с будущим ребенком? Потом спирали, эрозии, мастопатии — все это раздражающее хозяйство, которым вечно некогда заниматься, но надо же за собой следить! И мы следили. Пока на очередном осмотре ужасно современный, продвинутый и холеный доктор (рекомендация подруги, которая ничего плохого вообще не держит) не сказал этак небрежно: "Ну, вам уже можно не беспокоиться". Как это — уже? Какая бестактность! Чтобы я еще когда-нибудь к этому типу...

Вообще-то самый страшный подтекст того, что сказал этот тип, вот какой: не о том вам теперь стоит беспокоиться. Ровесницы одна за другой переносят "небольшие гинекологические операции". Насколько небольшие? "Этого" нет? Спросить не то чтобы неловко, все люди-то близкие и небезразличные, но... искушать судьбу... А вдруг и правда "нехорошее"... Да и, наконец, откуда нам знать? И мы спрашиваем друг друга о самочувствии так, словно переболели насморком, а отвечаем так браво, так легкомысленно, словно и впрямь верим, что этой легкостью тона можно отогнать грозные тени возрастной статистики. Одна веселая дама чуть моложе моего в

подобном разговоре обронила: “Ну что, вечнозеленые-неувядаемые, следующий раунд, никак, переломы шейки бедра? Девки, все срочно пьем кальций, после климакса поздно будет!”

Но и это еще далеко не все. То, что происходит с телом, очень важно. Но... почему так важно? Почему, когда читаешь у Лидии Авиловой (была такая писательница в начале века; ее, кажется, любил Чехов или она так думала): “Под подбородком у меня сделался сморчок”, — хватаешься за шею? Нет, не искать первые признаки “сморчка” — ниже, за горло, будто заталкиваешь ладонью назад сухой горький ком...

На дне старой сумки, качаясь в вагоне метро,
Случайно нашаришь забытый пенальчик помады
И губы покрасишь — усталый вечерний Пьеро,
Которого ждут — не дождутся балы-маскарады.

И вздрогнешь от горечи: жуткая, жгучая слизь!
Возьмешься за горло, захочется кашлять и плакать.
Масла и добавки в такие оттенки слились —
Взамен земляники прогорклая алая слякоть...

Вероника Долина

Мы говорим пока не о старости как таковой. Мы говорим о цветущем среднем возрасте, когда еще очень много чего хочется и может, но все-таки “уже” становится больше, чем “еще”. Уже вряд ли будут другие дети. Уже понятно, каков потолок карьеры. Уже не переглядываешься со случайными молодыми мужчинами — так, рассеянная приветливая улыбка для всех — и они уже редко-редко ловят твой взгляд. Уже не очень тянет на вечеринки: все расклады и сценарии известны. Уже не можешь безнаказанно провести бессонную ночь и бежать вперед как ни в чем не бывало. Еще плохо водишь машину. Еще не верится, что большая часть жизни прошла. Еще вздрагиваешь от каждого крика “Мама!” на улице, хотя собственное чадо уже наложило лапу на твои майки и кроссовки. Еще просыпаешься по утрам с неясной надеждой на что-то хорошее... Но — уже можешь не успеть.

Старости и смерти люди боялись всегда — бесчисленные афоризмы и перлы народной мудрости тому порукой. В нынешнем веке случилось нечто новое: от того возраста, когда заканчивается цикл первой половины жизни — то есть подрастают и могут сами о себе позаботиться дети — до немощи и смерти как таковых вдруг оказалось ужасно много времени. И совершенно заново приходится искать и придумывать для этого времени смысл, цели, образ самой себя. Мужчина может продолжать делать карьеру (или не делать, если таков его выбор), или просто крутиться, или баловать себя пивком... Женщина, которой веками вбивали в голову, что ее главное

предназначение... сами знаете что, слышали, и не однажды — продолжать не может.

Одна из моих двух бабушек, Елена Романовна, была восемнадцатым ребенком в семье (само собой, выжила едва ли половина). Для ее матери никакого "среднего возраста" и "второй половины жизни" не было: начав рожать в восемнадцать, она продолжала почти до пятидесяти. Вся ее жизнь слилась в одну сплошную беременность, уход за детьми, потери — а вот и снова с прибавлением в семействе — и, наконец, старость. К появлению последних деток она была уже так физически изношена, выработана, как рудная жила, что младших растила старшая девочка, по возрасту больше годящаяся им в матери, чем настоящая мать. Эта девочка так и осталась без семьи (а когда?), не родила своих детей (допускаю, что не очень и хотела, хотя кто знает). Она стала любимой тетушкой нескольких семей, ее уважали и побаивались, как мать. И ее жизнь тоже не имела "среднего возраста": только подросли младшие братья и сестры, как родились первые племянники, и все по новой.

Такую женскую жизнь большинству из нас даже представить трудно — это что-то совсем иное, имеющее не только другой фон и обстоятельства, но и какие-то совершенно другие чувства, другое измерение времени, другое все... Одна мудрая женщина, мать троих детей, как-то высказала кажущуюся на первый взгляд шокирующей мысль: традиционный брак — традиционный в полном смысле слова, то есть брак без развода и контрацепции — это закономерное и необратимое изменение в жизни девушки. Определение отдает тривиальностью? А вы вдумайтесь: закономерное и необратимое — как разновидность смерти. Вновь родившись уже в ином качестве, женщина вспоминает то, что "до", — как сон, как не с нею бывшее; ни в каком случае обратной дороги нет — "оттуда" не возвращаются. И в этом смысле брак — первая смерть, утрата репродуктивной способности — вторая, а там можно готовиться и к третьей, собирать приданое. Так или не так они себя чувствовали на самом деле, понять до конца невозможно: женщины этой судьбы все свои прозрения и тайны оставили при себе. Красивое и жестокое рассуждение — так и хочется назвать его "Три смерти", показав язык великой тени Толстого, — хорошо погулявшего смолоду и опозтизировавшего простоту и патриархальность попозже.

Между прочим, рассуждение на этом не заканчивается: выходит, что настоящий брак — это очень страшно. Даже в лучшем случае он и в самом деле бесповоротное "судьбы решение" — не потому ли невесту оплакивают, как покойницу? Брак же, который может "не считаться", — это совсем не страшно, так, один из жизненных выборов, но тогда... тогда и напряженное взглядывание в глаза своей судьбы лишено смысла, и вообще о чем

говорить? Тогда все огромные — с жизнью величиной — ожидания, традиционно связываемые с браком, не очень-то и к месту. Никаких, знаете ли, “матушка, матушка, что во поле пыльно?..”. И цыганка может не страшать насчет “утонешь в день свадьбы своей”, и надрывная мелодраматическая шарманка у церкви, где, разумеется, “стояла карета, там пышная «свадиба» была... из глаз ее горькие слезы ручьем потекли на лицо... напрасно девицу сгубили” — может умолкнуть. Тогда не страшно, не опасно — потому что не очень и всерьез. По крайней мере, не более всерьез, чем все остальные отношения и занятия жизни. Увернуться, сбежать от этого противоречия не так просто — даже если считать все рассуждения моей знакомой не более чем метафорой.

А противоречие в голом, откровенном виде просто и жестко: если в жизни есть только один важный, имеющий серьезное значение выбор, то, совершая его, ты убиваешь все другие возможности, все другие свои лица и роли: полная определенность равняется полной безнадежности, все уже случилось и остается лишь принимать последствия случившегося. Если же решение это не “особенное”, определяет лишь ограниченный во времени цикл твоей жизни, то за него уже не спрячешься надолго — и тем более навсегда.

И это означает неизбежность кризиса всякий раз, когда заканчивается один жизненный цикл и начинается следующий: “ветер свободы” — свободы делать со своей жизнью что угодно — отдает пронзительным космическим сквозняком. Неуютно, тревожно, страшно. И как-то не вспоминается, что “времена перемен” уже бывали и ты справлялась. А всякие серьезные перемены, приди они хоть извне, хоть изнутри, — это ситуация с непредсказуемым исходом, сопряженная с опасностью потерь. Кризис то есть, по определению. Ему положено вызывать у человека сомнения относительно привычных ценностей и целей. Приходится принимать решения, приспосабливаться к новым условиям, строить новые смыслы. Чувство беспомощности, некоторая потеря ориентировки, переживание какой-то утраты неизбежны, из них-то и прорастает новое. И четырнадцатилетний гадкий утенок — вся в черном, в носу колечко, никто ее не любит и не понимает — тоже не сравнивает свое состояние с уже бывшим в ее жизни опытом. Например, таким: первый класс, страшный школьный шум, от которого негде спрятаться; никому не нужная, потерявшаяся в толпе со своими бантиками... Уже нет понятной вчерашней жизни, еще не образовалось понятное новое место, роль, новые “свои” и “чужие”. Старшие вместо помощи чаще всего говорят с оттенком многозначительности: теперь вот узнаешь, ты теперь... школьница, взрослый человек, студентка, жена, мать, солидная дама, бабушка... дальше говорить сакраментальное “вот узнаешь” постепенно становится некому.

Но вернемся к зеркалу. Как поет неувядающая Алла Борисовна, "а потом вдруг грянула осень, теплой лести зеркало просит...". А говорит оно разное: то утешит, то напугает; то "еще ничего", то "уже все". Может быть, в переживании неизбежных физических изменений самое болезненное то, что они не враз случаются, а как бы дергают веревочку туда-сюда: уже-еще, чего-ничего, все-не все... Старость страшна, но понятна — как у мамы, у бабушки, у тети Вали. Что делать с собой теперешней, неясно. Смириться и стареть, ждать внуков? Прежде смерти помирать? Или бороться за каждый сантиметр, удерживать себя "в форме", демонстрировать себе и миру свое "еще ого-го"? Или выбрать другое, сделать вид, что эти легкомысленные мелкие огорчения и радости вообще не имеют к тебе никакого отношения, потому что ты прежде всего профессионал и твой отсчет успехов и неудач идет по другой шкале? Или вступить на тернистую тропу борьбы за власть — неважно где, в семье или на работе — и тем самым заставить относиться к себе серьезно? Сменить, так сказать, методы и сферу влияния? Готовы ли мы отныне и навек вызывать только уважение, иногда чуть утрированное — ведь все знают, что "дамы средних лет это любят"?

Дамы средних лет, между тем, любят не только это... Современная научно-популярная литература, бодро объясняющая все, что считает нужным объяснить о женской физиологии, говорит, что наша "зрелая сексуальность" останется с нами чуть ли не до гробовой доски. Это, конечно, радует, но и порождает свои проблемы. Потому что окружающий мир вполне может не посчитать эту самую зрелую сексуальность большим подарком. Как пишет Сюзан Зонтаг,

"...физическая привлекательность женщины значит для ее жизни больше, чем привлекательность мужчины — для мужской жизни. Но женская красота, отождествляемая в культуре со свежестью и молодостью, плохо сопротивляется времени. Женщины перестают считаться сексуальными раньше, чем мужчины... Те переживают старение не без сожалений и, разумеется, тоже чувствуют сопряженные с ним утраты. Но большинство женщин испытывают в связи с физическим увяданием еще и стыд. Старение для мужчины — это нечто печальное и неизбежное, общечеловеческий удел. Для женщины оно к тому же означает уязвимость"*.

Сравните два выражения: "солидный господин" и, к примеру, "солидная дама" — можно говорить и о "зрелых", "не первой молодости" людях того же пресловутого "среднего возраста". Стоит начать сочинять историю или хотя бы несколько утверждений про этих воображаемых женщину и мужчину, как станет ясно: в культуре (в языке прежде всего) средний возраст

*Sontag, Susan. "The Double Standard of Aging". Saturday Review, October, 1972, pp. 29—38.

господина ассоциируется с властью, опытом, седыми висками и новыми возможностями, для дамы же именно возможности на глазах убывают, ограничиваются, хотя ее могут считать элегантною, общительною и “еще привлекательною”.

Вы скажете, что в жизни все часто бывает прямо противоположным образом, что ваши знакомые женщины проявили чудеса отваги, сумели приспособиться к изменившимся жизненным условиям, реализовали свой опыт и, что называется, взяли свое? Правильно, и я вижу вокруг много примеров обратного свойства. Но патриархальной мифологии, как и любой другой, нет дела до нашей с вами реальности: она сформирована веками и исчезать под влиянием опыта одного-двух поколений не собирается. Понятно, что в ситуации полной материальной зависимости от мужчины-кормильца и в традиционной роли жены-матери ни о каких особенно захватывающих возможностях женского среднего возраста речи быть и не могло — кроме, разве что, возможности власти в семье (теща, свекровь) или в небольшом социальном кругу (дама-патронесса, законодательница норм этикета и блюстительница морали).

И чем больше оные новые возможности служили компенсацией собственной утраченной молодости, тем больше в них “отрывались” на зависимых и бесправных молодых женщинах... Физическая свежесть, молодость хороши сами по себе — кто бы спорил? Но их “общественная ценность” гораздо больше связана с подразумеваемым репродуктивным здоровьем, то есть способностью родить, выкормить и не помереть до срока, чем с романтизированным образом “вечной весны”. В неосознанном “сценарии выживания” миллионов женщин эта грубая реальность трансформировалась в целый пласт запретов и предписаний, страхов и хитростей, “секретов ее молодости” и прочих вариаций на тему “соловьинной песни до сорока шести лет”. Как бы ни были тривиальны тревоги о том, что некий мужчина — отнюдь не воплощение всех мыслимых совершенств — “уйдет к молодой”, отрицать их не стоит: из отрицания тревоги никогда ничего хорошего не выходит. Распространенное утверждение насчет того, что “сама виновата, не удержала”, тоже заслуживает непредвзятого рассмотрения. Оно подразумевает, что в предшествующей жизни не должно было быть ни минуты покоя, постоянные усилия — от борща до черного эротического бельишка, от детей до незаменимости в совместной работе, от политического союза со свекровью до вульгарного шантажа — явно и тайно, днем и ночью должны были быть направлены на стратегическую цель “удержания”. То есть не жить следует, а “удерживать”. Не справилась — сама виновата: у мужчин это “природа”, а тебе следовало “быть похитрей”. Рассуждения, конечно, достойные коммунальной кухни, но... в них, как в грязноватой луже, отражается не что иное, как пресловутый “двойной стандарт”. Статья Сю-

зан Зонтаг, между тем, так и называется: "Двойной стандарт старения". А принимать ли его внутренне, смотреть на него отстраненно как на некий культурно-исторический факт или восставать и показывать этому самому стандарту большую феминистскую фигуру — это уж наш выбор.

Смутный страх унижения (куда тебе теперь, тетка?) заставляет многих женщин "забирать свои ставки из игры" задолго до того, как "игра" заканчивается. Кстати, это относится не только к сфере личных отношений. Десятки, сотни женщин испытывают адовы муки в ситуации смены работы: в их сознании сам факт "предложения своих услуг" соединяется с образом ненужности, выброшенности из жизни: как они на меня посмотрят, что подумают. Вот что рассказала одна милейшая дама под сорок, у которой в конце концов все устроилось наилучшим образом: "У меня сначала было ощущение, что я делаю что-то недостойное, прямо-таки пошла на панель, а все эти молодые мужики на меня так и смотрят как на старую шлюху, которая еще и кочевряжится, цену набивает. Я поняла, что с таким отношением к себе и к ситуации ничего хорошего не найду, и создала себе другую модель: мы на равных, наша заинтересованность взаимна, я оцениваю ваше предложение, вы — мое. И самое главное: то, что я ищу работу, не означает, что со мной что-то "не так", это нормально. Кто-то считает иначе? Его проблемы. Труднее всего было разобраться со своей внутренней зависимостью от их оценок. Я считала себя уверенным человеком и если бы не ситуация, могла бы и дальше пребывать в этом заблуждении. Это была уверенность не в себе, а в благосклонности этих людей. Я поняла, что начинаю меняться, когда после очередного собеседования перестала терзать себя фантазиями о том, что и как они говорят обо мне, когда я выхожу за дверь". Это признание во многом говорит само за себя, оно просто намного откровеннее, чем это принято; фантазии об отвергнутой, неадекватной сексуальности идут рука об руку с фантазиями о социальном унижении, внутреннее "выравнивание позиций" совершенно неожиданно оказывается большой и трудной работой — ведь раньше и в голову не приходило, до какой степени право оценивать отдано воображаемой "фигуре власти". Только если в традиционных культурах эта самая "мужская фигура власти" скорее отцовская, то в силу обстоятельств у нас она сильно помолодела и зачастую приобрела привычки и ухватки подростка из неблагополучной семьи, слегка завуалированные внешним "бизнесовым" лоском. Допускаю даже, что склонность некоторых женщин покупать (не обязательно за деньги) любовь молодых мужчин связана не столько с тем, что "иначе на нее не польстятся", сколько с тем, что это дает большее чувство безопасности, контроля, — а возможно, и реванша.

Кстати о контроле, реванше и зеркале... Одна сорокалетняя дама совершенно неожиданно для своего мужа купила машину. Вдруг привалило не-

сколько приличных приработков, из небытия вернулся давно задержавшийся гонорар — что мешало сделать пару-тройку звонков разбирающимся в вопросе подругам? Сориентировалась в возможных вариантах, купила, зарегистрировала, застраховала, пригнала домой и поставила рядом с машиной мужа. Семья вышла посмотреть, выбор одобрила, за совместным ужином поупуку обмыла, счастливую и самостоятельную хозяйку поздравила. Несколько возбудившиеся дети отправились спать. Стали потихоньку готовиться ко сну и родители. Такой, знаете ли, идиллический семейный вечер после длинного дня: кто в душе плещется, кто прилег почитать перед сном. И тут муж совершенно ни с того ни с сего и говорит: “Знаешь, мать, я давно хотел тебе сказать... Ты бы обратила внимание на свою шею. Лицо у тебя довольно ухоженное, моложавое. А вот шея несколько... как бы это выразиться... выбивается из ансамбля”. Сказал — и уткнулся в своего Акунина. Оставив остолбеневшую “мать” в ванной перед зеркалом тревожно разглядывать шею: еще ничего или уже “сделался сморчок”? Интересно, нанес бы он этот мастерский удар, если бы жена примерно на ту же сумму накупила тряпок или какого-нибудь чудодейственного омолаживающего зелья?.. Вопрос, впрочем, почти риторический. Вы знаете ответ.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

И вот, нежданно-негаданно, ты становишься женщиной среднего возраста. Ты анонимна. Никто не замечает тебя. Ты обретаешь удивительную свободу — свободу человека-невидимки.

Дорис Лессинг

Что же мы дергаемся, в самом-то деле? Жизнь как-никак сложилась, даже во многом удалась. Что такого теряем, ведь и в более молодые времена большинство из нас много работали дома и на службе и не строили свое существование “вокруг внешности” — трагедия профессиональных красавиц редка и не очень понятна обычной женщине. Разве мы выбрали бы иначе, если бы вдруг нам предложили этот выбор? Наверное, все-таки нет... Пожалуй, дело в другом: в том, что становится предельно ясно, что такого выбора уже никто и не предложит. Не о принятых решениях мы жалеем, а о самой их возможности. Не о несбывшихся надеждах, а о смелости надеяться снова и снова, когда “у нас в запасе вечность”. И даже те из нас, кто крепко-накрепко прикипел душой и телом к своим спутникам жизни, кругу общения, трудам и профессиям, до поры до времени позволяют себе помечтать: вот начнется что-то новое, вот прорежется новый мой голос, вот удивлю саму себя и всех вокруг... И выбора этого, казалось, навалом. А

в настоящей, случившейся и состоявшейся жизни он только тот, который был: как сделан, так и сделан. Один, второй, десятый... тогда казавшийся судьбоносным и едва ли не последним, иногда трудный и мучительный, но он был. И — состоялся.

В книге "Необходимые утраты" Джудит Виорст пишет:

"И порой мы начинаем чувствовать, что в это время нашей жизни приходится прощаться постоянно, терять одно за другим. Нашу талию. Наш кураж. Ощущение жизни как приключения. Наше стопроцентное зрение. Нашу веру в справедливость. Нашу юную серьезность. Нашу молодую дурашливость. Нашу мечту когда-нибудь стать знаменитой теннисисткой или телезвездой, сенатором или женщиной, ради которой Пол Ньюман в конце концов оставит свою Джоанну. Мы расстаемся и с надеждой прочесть все книги, которые когда-то пообещали себе прочесть, и с планами побывать везде, где когда-то собирались обязательно побывать... и уже не надеемся, что однажды именно мы спасем человечество от рака или от ужасов войны. Мы даже оставляем надежду "похудеть навсегда" — вместе с тайной надеждой на бессмертие.

Мы словно утрачиваем опору. Нам неуютно, мы испуганы. Что-то случилось с самым центром нашего бытия — он больше не удерживает все на своих местах, жизнь прямо-таки разваливается на части. Неожиданно у наших знакомых, а то и у нас самих начинаются измены, разводы, сердечные приступы, рак. [...] И в каждой "болячке", в каждом возрастном ограничении слышится напоминание о том, что мы смертны. А глядя на постепенное (или не такое уж постепенное) старение и упадок отцов и матерей, мы понимаем, что скоро нам предстоит утратить тех, кто всегда был нашим живым щитом — стоял между нами и смертью. Они уйдут. И настанет наша очередь"*.

Кризис середины жизни не обязательно приходит в сорок. И называется он так не потому, что его место точно посередине: узнать, где расположена эта самая середина, можно только тогда, когда от всех наших надежд и впрямь останется прочерк между двумя датами. "Середина жизни" — это такое место, где еще очень хочется (и как будто даже еще и возможно) продолжать жить как раньше, но все уже не так. Это время, когда мы принимаем важные решения, хотя сами можем не очень это осознавать. Будем ли мы делать вид, что ничего не происходит — игнорировать изменения, отрицать

*Judith Viorst. Necessary Losses. The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow. Fawcett Gold Medal, New York, 1990. Pp. 12 — 172.

или подавлять свои страхи, печаль, тревогу? Станем ли цепляться сверх разумных пределов за “маленькие хитрости” — то за крем из дорогой баночки, то за “по-тря-сающую” диету, то за уроки тенниса? Или, наоборот, незаметно для себя решим, что “уже все” и воспользуемся негласной привилегией немолодых теток есть что попало, красить губы не глядя и говорить о болезнях? И тот, и другой путь — это защита от нормальной драмы, нормальной боли и мучительного, но необходимого опыта потерь. Первый позволяет сосредоточиться на частностях, разменять одну большую несбыточную надежду на много маленьких и не столь очевидно иллюзорных; второй лучше всего описывается присказкой “брось, а то уронишь”. По-настоящему важны не сами решения — и я намеренно упоминаю о самых поверхностных, самых житейских их проявлениях: не о профессиональном росте, не о значимых отношениях, не о духовном развитии — важен их защитный характер. Там, где привычная почва закачалась под ногами, очень трудно не зажмуриться со страху и не плюхнуться на ближайшую кочку. Возможно, понадобится время, проводники, крепкий посох. Возможно, придется учиться ориентироваться в этой незнакомой местности и вновь узнавать, что горькие ягоды могут оказаться целебными, а очаровательные зеленые лужайки — скрывать опасную топь. Не исключено, что замолчат знакомые и не раз выручавшие в трудную минуту голоса: ни хрустальный башмачок, ни благословенная куколка, ни корявая открытка от сына-первоклассника из домашнего архива, ни любимая книга, всегда расставлявшая все по своим местам, в этом сумрачном лесу могут не заговорить, не засветиться, не вывести на нужную тропку. Но у сумрачного леса середины земной жизни есть свои голоса, и часто они поначалу пугают, потом печалат — и только потом подсказывают. А поскольку и в этом месте нам не суждено задержаться надолго, а грядущее напрямую зависит от направления нашего движения, стоит к ним прислушаться.

Вот работа, которую сделала на группе красивая, умная, много и успешно работающая женщина Лера. Ее тема сначала звучала так: “Что-то случилось с моей жизнью в последнее время. Я все чаще задумываюсь: а надо ли мне все это? Как будто завод кончается — а ведь еще жить и жить”. О, сколько ненужных советов можно дать по такому поводу, сколько готовых рецептов! Если ранжировать их все по степени тривиальности, то в первую десятку непременно попадут рекомендации “завести любовника”, “подумать о тех, кому ты нужна”, “сменить занавески” (работу, квартиру, цвет волос или что-нибудь еще), “поехать отдохнуть”, “относиться ко всему философски”, “сходить к астрологу” и “заняться собой”. Кто-то из мудрых говорил, что, к сожалению, на каждый хороший совет нужно еще десять о том, как ему последовать. Мне Лерина жизненная ситуация — по крайней мере ее первое предьявление — напомнила, скорее, один анекдот... Его первый, чаще всего и последний смысл кажется мне чистой воды “обман-

кой", способом не увидеть второй. "Ударилась Василиса Премудрая о землю... лежит и думает: "А не хватит ли мне уже?". Уверю вас, большинство слушателей понимают это так, что, мол, героиня известной сказки (мы-то помним, что наша Василиса ни о какую землю не ударялась и никем не оборачивалась; возможно, здесь речь идет о тезке — Царевне-Лягушке) выпила лишнего. По-моему, алкоголь тут вовсе ни при чем. Грянувшись о землю, герои волшебных сказок в очередной раз становились кем-то еще и решали очередные неразрешимые задачи: спасали, догоняли, скрывались от погони и прочее. В этот раз волшебство не срабатывает: "лежит и думает" все та же Василиса. И совершать очередной женский волшебный подвиг ей совсем не хочется — а не хватит ли? Сколько ж можно? Как будто завод кончается — а ведь еще жить и жить... (Да ведь и в сниженном "алкогольном" варианте не без этого: чего-то героиня "перебрала", приняла, как говорится, лишнего...) Пока мы молоды и решаем свои первоочередные жизненные задачи, нас поддерживает мысль, что за перевалом будет спуск, еще рывок — и немножко расслабимся. Вот подрастут дети — и... Вот закончу диссертацию... Вот поставлю на ноги свой отдел... Вот перевезу родителей поближе... В минуты пронзительного трезвого видения вдруг понимаешь: это "вот сделаю — и..." — всего лишь средство. Возможно, способ собраться, подтянуть силы для очередного рывка. Возможно, попытка угоризить себя не думать о других задачах, временно оставленных ради главной. Но главной ли? Что упущено, чем заплачено за победы и маленькие — или не маленькие — чудеса терпения, изобретательности, невероятной женской живучести?

Порасохлась моя старая лира,
Пооблезла с нее вся позолота.
Что ж тут странного? На ней между делом,
Между стиркой и готовкой бряцали.

Забавляли ею плачущих деток,
Забивали дубеля в переводы,
И пристроив между двух табуреток,
В семь рядов на ней сушили пеленки.

Что ж ты плачешь, нерадивая баба?
Что ты гладишь ослабевшие струны?
Ты сама лежишь меж двух табуреток
И сломаешься вот-вот посередке.

*Марина Бородицкая.
Из древнегреческого*

...Первые ассоциации, какими бы неуместными они ни казались, кое-какую ценность представлять могут, однако смело за ними идти тоже не стоит.

Ощущение бессмысленности и потеря энергетического потенциала могут быть симптомом “личного времени перемен”, но могут означать и многое другое. В общем-то, каждой взрослой женщине знаком порой еле ощутимый, порой отчетливый до отчаяния внутренний голос: “Больше не могу!”. Можем. Проверено.

Лера сначала хотела понять, разобраться, а это в наших силах. И как только у нас появилась — материализовалась в виде одушевленного символического существа — “Жизни, С Которой Что-то Случилось”, как только этот персонаж обрел речь, мы услышали вот что:

— Меня осталось не больше половины, а ты живешь так, как будто все впереди. Остановись, дурочка, подумай обо мне!

(Разумеется, это говорила сама Лера в роли Жизни.) Та, кого она оставила “за себя”, повторила вопрос: “Что же с тобой случилось?” — и получила ответ: “Из меня слишком многое ушло, а ты и не заметила”.

Зачем нам такая искусственная конструкция, зачем кому-то изображать мою жизнь, я что, ее сама не знаю? Дело в том, что очень многие свои потребности и проблемы мы не видим, не осознаем именно потому, что они слишком привычны, мы их как бы “слишком знаем”. Люди, находящиеся в размышлениях о своей жизни, порой говорят, что хотели бы на нее посмотреть со стороны. Жизнь как отдельный персонаж, с которым можно поменяться ролями и поговорить, обязательно скажет что-нибудь новое. Вот и в Лериной работе мы столкнулись с темой “окончательного взросления”, а этот диагноз не так легко принять. Мы же все прекрасно понимаем, на что похоже все окончательное...

С чем же прощалась умная, красивая и успешная Лера? Боже мой, да с тем, с чем большинство из нас так или иначе прощается, становясь по-настоящему взрослыми!

Ведущая: Лера, что ты хотела отпустить, с чем попрощаться?

Лера: Мои надежды. Мои иллюзии — на собственный счет, насчет других людей, отношений, в конце концов, насчет мира вообще. Я держусь за них и чувствую, что сама себя дурю.

И мы встретились с целой стайкой Надежд и Иллюзий. Ах, как жаль, что их невозможно описать подробно, они были такими красивыми: они порхали, они манили, они пели сладкими голосами сирен... Среди них были и те тайные искушающие голоса, в которых не принято признаваться вслух... Но и они почему-то показались многим из нас знакомыми.

Лера: Кто ты?

Первая Надежда: Я твоя тайная надежда, что папа и мама поймут, как они были неправы, и наконец скажут, какая ты молодец, как они тобой гордятся, и даже попросят прощения за все несправедливые замечания. И папа скажет, что ты унаследовала его мозги и с толком ими распорядилась... (*Плачет.*) А мама погладит по головке и скажет, что ты самая-самая лучшая девочка на свете.

Вторая Надежда: А я твоя фантазия о большой семье: у тебя пятеро детей, большой шумный дом, где много музыки, где живут собаки и кошки, где часто бывают друзья. Ты в центре этого маленького королевства и у тебя никогда не возникает вопроса, зачем ты живешь.

Третья Надежда: А я... О, я такая (*пируэт*)... мечта о невероятной, исключительной любви. Вот появится удивительный, потрясающий мужчина — и все остальное станет неважным! Гром и молния! Он обмирает от одного твоего взгляда! Ты смотришь... ну, скажем, на его запястье и так его хочешь, что почти теряешь сознание! (*Пируэт.*) Да, вот такая страсть! Но с ним еще можно разговаривать, вместе смеяться, советоваться, спорить — с ним можно все, что для тебя важно! А эти все — просто козлы!

Четвертая Надежда: Я — твое тщеславие бывшей отличницы, пожизненной прыгуньи в высоту. Это я тебе нашептываю: будь лучшей, и неважно, сколько жизни ты на это положишь. Давай результат! Что не вверх, то вниз — что не пять с плюсом, то для тебя кол с минусом. Это же не просто амбиции, это оценят рано или поздно. И скажут: вот это Проффессионал с большой буквы, супер, вне конкуренции!

Пятая Надежда: А я просто твое отражение в зеркале, которое не меняется. Смотри, твоя грудь все так же упруга, шея гладкая, кожа светится... Ты на свете всех милее, всех румяней и белее.

Шестая Надежда: Ты — замечательная мать, почти идеал. У тебя всегда есть время и силы, ты всегда внимательна и справедлива, они всегда будут любить тебя больше всех на свете, ты не совершила ни одной серьезной ошибки и дала сыну и дочери все, что им нужно. Твои дети прекрасны, и это полностью твоя заслуга.

Лера (лицом к лицу с Надеждами и Иллюзиями): Я хочу... (*Сильно бьет кулаком в стенку, плачет.*) Нет, не хочу, совсем не хочу, но мне нужно с вами проститься. Господи, страшно-то как... (*Первой Надежде*) Солнышко, мама не придет и не скажет, как она была не права. Папа не похвалит мои мозги, у него и со своими сейчас... И не они погладят по головке, а уж скорей я их. Я отпускаю тебя и благодарю за то, что ты поддерживала меня в молодости. (*Второй*) Ты такая красивая, теплая, мне так жаль с то-

бой расставаться. Ты — моя другая жизнь, которой не будет. Не будет этих деток, этого большого круглого стола, не соберу я вместе всех любимых людей. Правда, музыка все равно есть, собака одна, но замечательная. Друзья тоже. Это то, что я оставляю себе, это правда. Сегодня это есть, и я готова его ценить и беречь. *(Третьей)* Пошла вон, дура. Ты меня в такое как-то вдрыпала, что стыдно вспомнить. *(Неожиданно хихикает.)* Ой, чего-то даже и не стыдно... *(Третья Надежда совершает очередной пируэт.)* Ладно, давай уже выходи на поклон, горе ты мое. *(Третья Надежда изящно приседает в балетном реверансе.)* Занавес! И ничего мои мужики не козлы, без тебя мне виднее. *(Четвертой.)* Знаешь, я сейчас поняла, что в тебе главное. “Вне конкуренции”, и этим ты для меня опасна. Я хорошая, но бывают и лучше. Не сегодня, так завтра. Вообще ты — родственница первой, и я про это еще подумаю. Объявляю тебе благодарность в приказе и отправляю в очередной отпуск. Отдохни, ты заслужила. Потом на свежую голову разберемся, когда прыгать, а когда и не очень-то. И решать буду я, а не ты. Такая у нас теперь субординация. *(Шестой)* С тобой я уже почти простилась, дети хорошо учатся. Знаешь, они мне очень много дали, в тебе есть здоровый кусочек... Я очень сильно прожила то, что с ними связано, спасибо. Но я не ангел-маменька, никогда ею не была и не жалею. И догадываюсь, чем я тебя раскормила так, что недавно ты и меня чуть не слопала. Надо бы тебя уменьшить до человеческих размеров, а то простишься с тобой, а ты на какую-нибудь молодую мамку нападешь. Слезай, приехали *(немножко стаскивает, немножко бережно помагает сойти с возвышения Шестой Иллюзии)*. А теперь я хочу поговорить с тобой, Свет мой Зеркальце. Иди-ка сюда. *(Исполнительница роли Пятой Иллюзии, красивая женщина моложе Леры лет на десять и смутно на нее похожая, подходит и становиться прямо перед ней.)* Свет мой зеркальце, скажи, зачем ты говоришь неправду? Я ведь не нуждаюсь в таких утешениях и жалости, в чем дело? *(Обмен ролями, Лера в роли Пятой отвечает.)*

- Я храню память о твоих прошлых обликах, твоё “Я”. Я хочу тебе сказать, что ты — по-прежнему ты. Это важнее видимых знаков увядания, важнее твоего настроения, удачного или неудачного макияжа. Я — твоя летопись. Могу рассказать о прошлом, могу о будущем. Хочешь? *(Обмен ролями.)*

(В реальной групповой ситуации — если отвлечься от того, что это Лерина работа и ее личные отношения со своими иллюзиями и надеждами — от этого диалога возникло впечатление сильного “второго плана”. Позже, когда мы сидели в кругу и делились чувствами, “Экс-Пятая Надежда” Вика ска-

зала, что для нее эта роль была крайне важна и что Лера "отработала" за нее некоторые зарождающиеся страхи и соответствующие им защиты.)

- Очень хочу, но сначала хочу помириться. *(Бережно трогает "стекло". Две женщины, чуть соприкасаясь кончиками пальцев, стоят друг перед другом в молчании, которое нарушает Лера.)* Оставайся со мной с тем голосом, который я услышала сейчас. Храни ощущения, помни образы моих прошлых лиц и моего тела. *(Торжественно)* Я не отказываюсь ни от одной морщинки, ни от одной растяжки, ни от одной ошибки. Это моя история, подписываюсь под каждой ее страницей. Я — это я.
- Ты — это ты.
- Я меняюсь и буду меняться дальше; это значит, что я живая.
- Ты — живая.
- Мы будем разговаривать о прошлом, настоящем и будущем. А сейчас мне пора.
- Тебе пора...
- ...Пора двигаться дальше. Я хочу на прощание взять у каждой своей надежды что-то, что оставлю себе, и отпустить их. Идите сюда, мои хорошие. Это лучше сделать молча. *(Все семеро соединяют руки; кто-то, возможно, описал бы происходящее как "передачу энергии", кто-то — как "физический контакт, дающий ощущение поддержки".)* Всем спасибо, все свободны. *(Мягко, но решительно освобождает руки, встряхивается. Бросает Зеркальцу: "До встречи!" и поворачивается к месту действия спиной.)* А вот теперь я и правда готова и мне правда пора. *(Ведущей)* Похоже, часы завелись.

И мы сели в круг и стали говорить о чувствах и о том, как они связаны с личным опытом. И конечно, даже очень наивному и недалековидному человеку не показалось бы, что это была работа только про "переходный возраст середины жизни". Хотя, конечно, и про него тоже...

Я многое тащила на горбу:
 Мешки с картошкой, бревна и вязанки,
 Детей, калек, чугунную трубу —
 И я лишилась царственной осанки.

Но так судьба проехала по мне,
 Так пронеслись руины Карфагена,
 Что распрямылся дух, и я вполне
 Стройна и даже слишком несогбенна.

Нет, я в виду имею не поклон —
Поклоны я отвешиваю в тоннах!
Но есть какой-то несогбенный стон
И радость, не согбенная в поклонах, —

Я говорю о том, что обрелось
Помимо воли и ценою плоти,
Прошло свою действительность насквозь
И отразилось в зеркале напротив.

Юнна Мориц

НАД ПРОПИСЬЮ ПО ЛЖИ

Боже милостивый, как они лгут!.. Вскользь, невзначай, бесцельно, страстно, внезапно, исподволь, неопределенно, отчаянно, совершенно беспричинно... Те, кому это дано, лгут от первых слов своих до последних. И сколько обаяния, таланта, невинности и дерзости, творческого вдохновения и блеска! Расчету, корысти, запланированной интриге здесь места нет... Женская ложь — такое же явление природы, как берега, молоко или шмель.

Людмила Улицкая. Сквозная линия

Лживость — это свойство, прочно и дружно приписываемое женщине. Мол, только на ложе любви и на смертном одре от нас услышишь правду. У меня возникают большие сомнения по поводу того, так ли уж нужно кому-нибудь слышать эту правду. Сомнения эти небезосновательны. Есть женщины прямые, правдивые. Существуют такие люди женского пола, которым врать действительно тяжело, неинтересно, не нужно — короче, “не дано”. Сплошь и рядом они вызывают недовольство, как будто с ними что-то не так. Нет в ней такой непредсказуемости, слишком она правильная, положительная. Пресная.

Слово “правильная” и слово “правда” одного корня. Что же худого в том, что она правильная, положительная? Похоже, все-таки правдивость — нежелание здесь умолчать, там приписать, тут польстить — не так уж ценится в этом мире. Особенно когда эти свойства принадлежат женщине.

Моя оксфордская коллега Верена Бус рассказывала такую историю. Она, выросшая в швейцарской деревне, какими-то судьбами познакомилась со своим будущим мужем, который в Оксфорде защитил ученую степень. Он с молодой женой был зван на научный прием. Ужасно волновался, поскольку возможность быть принятым в этом обществе, сидеть за этим высоким сто-

лом он воспринимал как серьезное достижение. Когда рассаживали гостей, она оказалась далеко от мужа, но видела все время его взволнованное бледное лицо. По правую и левую руку от нее восседали совершенно незнакомые ученые мужи, а правила хорошего тона на такого рода приемах требуют разговора исключительно о науке. Главный вопрос, на который отвечают при положенном светском общении — пять минут с соседом справа, пять минут с соседом слева — звучит примерно так: “Чем вы занимаетесь (в смысле: каков предмет вашего исследования)?” Сидит Вренни в окружении посторонних ученых мужей, чей предмет исследований ей совершенно неизвестен, смотрит на своего бледного мужа. С соседом слева разговор как-то сложился, потому что она первая задала положенный вопрос, а он подробно ответил. С соседом справа немножко опоздала и услышала уже вопрос от него.

Никакого предмета исследований на тот момент у Вренни не было, ей вообще было неудобно. И не совсем понятно, что тут такого возвышенного в этих никому не интересных обязательных речах “пять минут направо, пять минут налево”. И подозреваю, что невероятно трепетное отношение мужа к этому событию ее чем-то раздражало и задевало. Она ждала ребенка, не очень хорошо себя чувствовала, и когда сосед справа спросил, глядя слегка насквозь, что же в настоящий момент является предметом ее исследования, она сказала, что в настоящий момент предметом ее исследования является ее беременность, четвертый месяц. Ученый сказал: “Вот как?” — гениальная академическая реакция на любое сообщение, полностью снимающая все неловкости. Услышав, в свою очередь, вопрос о предмете исследований, он обрел почву под ногами и пустился в пространные описания.

Когда Вренни и Филипп оказались дома, она рассказала об этой маленькой и, как ей казалось, забавной ситуации. Муж пришел в ужас и раздраженно сказал: “В конце концов, могла бы что-нибудь соврать!”.

Мне кажется, что это занятная история. История о том, как от женщины успешной, выполняющей все правила, подтверждающей все ожидания, требуется невинное, разнообразное, но тем не менее вранье. Причем постоянно, а не только на приемах. Все мы встречали иногда в каких-нибудь книжках по “интимным вопросам”, что Настоящая Женщина, — мне хотелось бы когда-нибудь разобраться с этой мистифицированной особой, выяснить, что же имеется в виду, когда ее упоминают, — должна быть леди в гостинной, кухаркой на кухне и проституткой в постели. (Вообще-то не проституткой, а блядью, поскольку речь не идет о зарабатывании денег, но компьютер возражает.) Вот таков золотой стандарт — что хотите, то и делайте. То есть, извините, как раз не что хотите, а что надо. Тьфу, совсем завралась! Тем не менее, многие из нас стараются следовать этому стандарту — в той или иной степени.

Есть злой анекдот про женщину, которая перепутала три свои роли и выступила в каждой из них, но не совсем уместно. И в этой истории есть что-то настораживающее. Подумайте сами: если не говорить о бесконечном разнообразии других ролей, которые требуются от взрослой женщины, то даже эти три — леди, кухарка и проститутка — предполагают временный отказ от всех остальных своих способностей, возможностей, желаний. Превращение в функцию. По всей вероятности, дело должно обстоять так.

...Хорошо воспитанная и одетая, искусно ведущая беседу дама, условно говоря, в гостиной (то есть в социальной реальности) должна полностью отделиться — отделаться? — от того, что за час до начала этого приема она была кухаркой. Вспотевшей, пропахшей жареным луком. Причитала над пирогом, металась по кухне, плевала на обожженный палец. И даже если она готовила этот обед не сама — а в нашем случае она его все-таки готовит чаще сама, — мысли ее занимало, хорошо ли загустеет соус, хватит ли всего на всех, нет ли пятен на стаканах и так далее. В тот момент, когда ее приготовления закончены — а очень редко бывает, чтобы они были закончены строго вовремя, — следует привести себя в порядок и принарядить к исполнению роли леди.

Она должна преобразиться. Для этого преобразования используются свои приемы: мы не просто принимаем душ и укладываем волосы, вымывая из них кухонные запахи, не просто лежим десять минут с огуречной маской и не просто "набрасываем основные черты лица". В этот момент, глядя в зеркало, мы говорим себе не словами, а чем-то другим: "Я уже не *то*, я уже *это*". Грянулась оземь и явилась... Что, наши гости не знают: то, что на столе, приготовлено этими руками? Они что, верят, что помогали гномики? Тем не менее, символический отказ от себя кухонной чем-то важен: с какой гордостью говорится, что такая-то наготовила на целый полк гостей, а выглядела так, как будто вообще на кухню не заходила. Какую победу торжествуем?

Ну, а уж превращение леди в проститутку или кухарки — в нее же... Современная популярная литература требует от нас — именно требует — сексуальной раскованности, изобретательности. И вот она, только что направлявшая умелой рукой возвышенную беседу, или она, только что приготовившая полный обед на завтра для семьи, должна опять-таки грянуться оземь. И — восстать в виде соблазнительницы в черном кружевном белье с завлекательными эротическими приамбулами... Может быть, чуть тронув розовой губной помадой соски и мочки ушей, благоухая пряными чувственными запахами. Должна быть забыта усталость и суетливость кухни, должна быть забыта светскость, подтянутость и некоторая властность настоящей леди. Она вакханка, она всегда соблазнительна и притягательна,

всегда готова... Пароль: “Девушка, что вы делаете сегодня вечером?” Отзв: “Все”. Так надо, так ожидают.

Меня больше всего интересует, что происходит в тот момент, когда героиня нашей сказки, грянувшись оземь, — ну, не совсем в буквальном смысле, но тем не менее крепко приложившись, — меняет роль. *Оборачивается* кем-то еще. Вся жизнь так или иначе состоит из ролей. Мы разные, когда пребываем в материнской роли, в роли любовницы, в роли женщины, профессионально делающей ту или иную работу, когда мы дочери, когда мы сестры, когда мы подруги. Но “разность” бывает... разная. Например, естественная: ты действительно забываешь обо всем, что беспокоило час назад, когда вступаешь в зону какого-то другого интереса, когда что-то другое становится важно и нужно. Ролевое же переключение в пределах собственного дома и с одним и тем же (почти) партнером — это что-то немножко вынужденное, не так ли? Но этого ждут, разочаровать нельзя. Оборотень, Ваш выход. Занавес!

В истории про три женские роли есть интереснейший намек на то, что в неблагоприятном разговоре называется лживостью: “Женщины не любят лжи, они только пользуются ею”. А именно: в глазах партнера женщина крайне редко предстает целостным существом, в котором есть и то, и это, и еще четвертое, пятое, семнадцатое — и есть одновременно. А предстает она функцией, приписанной-привязанной к удовлетворению какой-то *его* потребности. Хорошо еще, если не только его, но и своей, но это в общем-то не обязательно.

Одна чудесная и глубоко мной уважаемая женщина рассказывала о своем первом браке — с человеком намного старше себя. Он выставлял ей оценки — спасибо, хоть устно — за достижения в различных сферах жизни. Детская — пять, спальня — пять, кухня — четыре... Не помню, что там было еще, но ведомость выходила объемистая. Вот такое получение оценок — за исполнение ролей, за функции — настолько глубоко вошло в плоть и кровь, в поведение и мысли, что большинство женщин уже и не представляют, как бы могло быть иначе. И находятся постоянно между упреком в лживости — в том, что у нее десять разных лиц, в том, что она слишком разная, а стало быть, неискренняя — и упреком в пресности, прямоте: тогда скучно. Как выведение на чистую воду, ловля на неискренности, так и травля за пресность и правильность представляют собой интересные виды спорта.

Давайте вернемся в гостиную. Смешанная компания, люди все молодые и успешные — мужья и жены, бойфренды и их подружки. Все они достаточно широких взглядов, не стесняются обсуждать физиологические подробности сексуального порядка, рассказывают любые анекдоты, не гнушаются

ся ненормативной лексикой — умеренно, мило, к месту. Хозяйка, перестав быть кухаркой и еще не став проституткой, выполняет роль настоящей леди, слегка направляет разговор, смотрит, чтобы никто не заскучал, отвечает к месту, вовремя, остроумно и так далее. Разговор идет, скажем, о машинах или о курсах валют. Хозяйка не водит машину, машину водит муж. Подробности — состояние тормозных колодок, что купил Влад и за сколько, как там с аэродинамикой и что нужно поставить сверх базовой комплектации — ей не очень интересны. Она поддерживает разговор, видя, что один из гостей тоже хочет рассказать про свою тачку. Вспомнив, что Антон как раз недавно свою красавицу немножко стукнул и должен был ремонтироваться, она задает участливо вопрос об этом ремонте. Он рассказывает столько, сколько сочтет уместным. Все нормально, совсем-совсем нормально.

Сорок минут все присутствующие за столом женщины говорят и слушают, выполняя первую обязанность настоящей леди: говорить о том, что интересно собеседнику. Если бы вся компания была за рулем, и мальчики, и девочки — это другая ситуация. Тексты могли бы произноситься те же самые. Всякий автомобилист, равно как и всякий садовод, собачник и любитель водного спорта, имеет что рассказать. Но это если бы у всех присутствующих был равный или почти равный опыт и равный или почти равный интерес в этом деле.

А в нашей истории получается что-то совсем другое. Получается, что четыре женщины, включая хозяйку, демонстрируют, изображают, наигрывают интерес для того, чтобы их мужчины могли поговорить о том, что интересно им. Теперь представьте себе совершенно неприличную ситуацию, когда в той же компании кто-то из женщин заговорил, например, о месячных. Взрослые, раскованные люди, не стесняющиеся естественных проявлений человеческой физиологии, были бы шокированы — все без исключения. Давайте немножко разовьем эту фантазию (разумеется, ни вы, ни я не собираемся в ближайших гостях ее проверять экспериментально). "У тебя сколько дней — три, четыре?" — "У меня пять, но все довольно легко проходит". "А ты что-то принимаешь?" — "Да нет, как-то я не доверяю этим препаратам". Чем, собственно, это отличается от разговора про авто-сервис? Но можем ли мы себе представить, что присутствующие бойфренды и мужья изобразят — пусть неискренне, пусть деланно — интерес к этой теме, как было в нашей первой реалистической картинке? Скорее всего, тему немедленно сменят, а женщину, выступившую со столь неприличным заявлением, осудят и "мальчики", и "девочки". Почему? Не занятно ли?

Разумеется, мы остаемся оборотнями. Мы будем поддерживать разговор. О машинах, о карьерах и даже о дайвинге и рафтинге, если нужно будет. Ра-

зумеется, мы не будем затевать за общим столом разговора о том, как режутся зубки у ребенка, или о том, как функционирует наш организм; не будем говорить не только о тряпках, но и о своих делах. И еще о многом-многом другом. Мы существуем в системе определенных ожиданий. Если хотим быть в этой жизни успешными, принятыми в домах, благосклонно оцененными, а не обруганными нашими спутниками жизни, мы будем играть по правилам. И помнить, что это не наши правила, — это правила, которым мы всего лишь подчиняемся. Но подчиняемся так давно, что они уже стали частью внутренней цензуры.

Однажды мне случилось со всего маху напороться на такой вот “забор” в собственном сознании. История прошлая и сугубо личная, но в качестве иллюстрации расскажу. Дело происходило “в гостиной”, и принимала я двух весьма респектабельных американцев — банкира и профессора психологии. Это был именно домашний ужин, никакой не прием — по-простому, с играющим под столом ребенком; как живем, так и живем. Год на дворе стоял девяносто второй. Знакомы между собой гости не были, весь таец взаимного приглядывания, оценки, выяснения who is who происходил на наших с мужем глазах. Разумеется, подавалась домашняя еда: пирог с капустой, какая-то рыбная солянка и прочие грибочки с огурчиками. Джон и Джеффри все это охотно и с энтузиазмом кушали, постепенно проникаясь друг к другу все большей симпатией. Вот уже и о своих детях и женах заговорили; выяснилось, что у Джеффри ребенок приемный — некие медицинские проблемы не позволили родить своего, а у Джона жена тоже долго не могла родить второго, ну, и так далее. И зубки, и памперсы, и все вполне заинтересованно, с юмором и симпатичными байками про бессонные ночи на первом году жизни детенышей и нравы американских акушеров и педиатров. “А ты как рожала? — спросил кто-то из гостей. — Тебе кесарево предлагали? А почему отказалась?”. Мой вполне приличный английский стремительно таял: вдруг оказалось, что в активном словаре просто нет нужных понятий. Я видела, что два солидных господина не “прикалываются”, а действительно считают эту сторону жизни нормальной и интересной темой для разговора; они ждали от меня не вежливой отговорки, а ответов. Отвечать было *очень трудно*. И не от излишней застенчивости. Во всей ситуации ощущалось что-то совершенно невероятное — начиная с того, как серьезно и доброжелательно смотрели мои гости, и кончая их осведомленностью о тонкостях родовспоможения. В голове что-то не укладывалось. Мило отшутиться, сменить тему и подать десерт? Но я же чувствовала, что вот это — как раз и есть нормальный разговор равных взрослых людей, и неужели я предпочту в очередной раз слегка приврать? Да ни за что! Рассказала я, почему отказалась от кесарева сечения. И английский вдруг улучшился: “правду говорить легко и приятно”...

При внимательном наблюдении за собой и другими становится как-то понятней легенда о женской лживости: это ровно то, что и заказывали. В "Царевне-лягушке" герой захотел узнать всю правду, какая-то часть правды ему сильно не понравилась, вот он, дурак, и сжег лягушачью шкурку, и пришлось ему потом свою царевну долго, трудно, мучительно отвоевывать назад. Если бы существование лягушачьей шкурки не было для него проблемой — для нее-то оно проблемой не было, — может, сказка была бы совсем другая. Кстати, знаете ли вы, за что героиня — а ее тоже звали Василисой Премудрой — была превращена в пучеглазое земноводное? По одной из версий дело было так: "старый старичок" расспрашивает Ивана-царевича о его несчастье и говорит: "Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надевал, не тебе ее было снимать. Василиса Премудрая хитрей, мудрей своего отца уродилась. Он за то осерчал на нее и велел ей три года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за ним смело". Клубок, конечно, приводит к Бабе-яге, куда же еще? Дорого, ох, дорого обходится девушке неуместная мудрость...

Раз уж заговорили о сказках, я позволю себе вспомнить еще одну групповую сессию: мы совместными усилиями исследовали сказку "Морозко". Помните: падчерица, бедная, трудолюбивая, и мачехина дочка, ленивая, капризная, вздорная, взбалмошная. Отправляют их в лес. Первую отправила мачеха, чтобы там она замерзла. Вот девушка сидит, зубами лязгает, тут появляется Мороз Иваныч и спрашивает ее: "Тепло ль тебе, девица?" — "Тепло, дедушка", — отвечает она. А он пуще холоду нагоняет: "Тепло ль тебе, девица?" — "Тепло, дедушка", — отвечает девица, уже почти не разжимая заледеневшие губы. А глупая, ленивая мачехина дочка на вопрос "фигуры патриархальной власти" правду ответила. Мы все помним, чем кончилась сказка: только косточки от нее и остались.

Это серьезное и грозное напоминание: когда некто, обладающий статусом и властью, спрашивает нас, как мы себя чувствуем "на его территории", мы всегда должны чувствовать себя хорошо. Это правильный ответ. А мачехина дочка, как бы она ни была несимпатична, не прошла жестокую школу принуждения, которую прошла падчерица. Поэтому ей ничто не подсказало, что с "фигурами власти", от которых зависит жизнь, на правде далеко не уедешь. Вот какая интересная история.

А теперь давайте-ка заглянем в спальню. Мы все сейчас люди эмансипированные, у нас никаких табу на обсуждение сексуальности не осталось. Именно поэтому "заглядывать в спальню" стало куда менее интересно, чем в ханжеские времена, когда это было рискованным, почти неприличным разговором. Люди сейчас гораздо более увлеченно обсуждают деньги, чем секс. По окончании акта любви он задает ей сакраментальный вопрос: "До-

рогая, тебе хорошо?" А теперь представим, что дорогая отвечает: "Ты знаешь, милый, если честно, очень сводит судорогой левую ногу, наверное, бо-соножки были неудобные". Или говорит: "Да, все в порядке, только давай сейчас сразу будем спать, мне вставать завтра в шесть", или еще какую-нибудь правду. Мы уже понимаем, что ответ неверен, обида будет смертельной, и как бы это ни было подсахарено и смягчено, все равно правильный ответ только один. Если это случайный, временный партнер, то "Это была феерия, экстаз, никогда и ни с кем ничего подобного". А уж если собственный муж, то тогда ответ куда важнее, от него зависит больше — мы же не хотим, чтобы он весь следующий день куксился и крысился. И тогда это "Как в двадцать лет!" или "Как еще никогда". Кстати, говорят, что такого рода ответы особенно хорошо удавались проституткам всех времен и народов в приличных борделях. И что же удивительного? В том месте, где Настоящая Женщина должна исполнять роль проститутки, ждут и ответа проститутки.

Пожалуй, от экскурсии на кухню мы воздержимся: слишком ясно все, что мы можем там увидеть. Понятно, что любой сложности обед, на любое количество персон всегда готовится легко, играючи, и после его приготовления Настоящая Женщина никогда не бывает усталой, взмыленной, огорченной, а с солнечной улыбкой сервирует стол. Единственное, что ее интересует, это чтобы он понравился. Здесь, пожалуй, в отличие от спальни и гостиной есть одно любопытное обстоятельство. Очень часто ожидания в отношении наших кулинарных подвигов таковы именно потому, что мужчина видел эту ролевую модель в родительской семье. Мальчик не особенно интересуется, какова мать в гостиной, уж и подавно ему не положено знать, какова мама в спальне, но вот какова мама на кухне, он знает точно. Самозабвенное кормление часто бывает первым опытом, который подрастающий мужчина на кухне получает. И ему действительно не должно быть важно, сколько мама это готовила, где она это взяла, от каких дел она оторвалась для того, чтобы была его любимая жареная картошка с котлетами. Зато от того, насколько с удовольствием, быстро и полезно он поест, зависит мамино гордое самосознание "хорошей матери".

Может быть, это особенно характерно именно для нашей культуры, где с едой всегда были проблемы. История голода, растянувшегося на много поколений, и сопутствующей ему материнской лжи, необходимой, вынужденной ("я уже поела") — это печальная история. Как и многие другие сценарии, его стоит внимательно рассмотреть, чтобы не транслировать дальше в своей собственной семье эту угрюмую программу, связанную с выживанием.

Раз уж заговорили о материнской лжи, то стоит углубиться в эту тему подробнее. Когда мать расстроена, переживает или думает о другом, ребенок

всегда это чувствует, будь то мальчик или девочка. Мы нужны детям для общения, для совместных игр, для того, чтобы мы могли их чему-то научить, — тогда и только тогда, когда мы полностью в этом присутствуем, душой и телом. В противном случае, даже если мы все делаем правильно, но душою не здесь, ребенок чувствует себя заброшенным, а то и отвергнутым. Ему горько, и это нехорошо.

И каждая женщина, растившая детей, знает ситуацию, когда ей совершенно не до того, голова ее пухнет и раскалывается от десятков проблем, требующих решения... Но просьба, она же требование, в пятнадцатый раз прочесть сказку — безусловна. Что бы ни происходило в сердце, в голове, в позвоночнике, это надо делать хорошо. Некоторое особенное качество самоконтроля есть в исполнении роли матери. Она должна быть терпелива, радостна, занята, с ней должно быть уютно, но она еще и медсестра, полицейский, клоун, исполнительница народных песен и спасатель МЧС. Может быть, это одна из труднейших ролей. Да, ее поддерживает мощный биологический импульс, но не только. Просто нам очень важно, чтобы им с нами было хорошо. Мы считаем совершенно законным и естественным, что им — детям то есть — не очень важно, хорошо ли нам в этот момент. Как говорится, вырастут — поймут.

Сколько их, этих ежедневных "наступаний себе на горло", чтобы войти к ребенку с "правильным лицом"? Самые умные из нас придумывают какие-то специальные приемы для того, чтобы лицо все-таки было не вымученным, не лживым, а хотя бы приближалось к правде. И действительно переключаются — сидят три минуты с закрытыми глазами, принимают ванну, нажимают у себя внутри какую-то кнопку, для того чтобы важная роль хорошей матери все-таки могла быть исполнена.

И это тоже одна из причин того, что женщин считают лживыми. Ведь дети вырастают. Рано или поздно они начинают хорошо разбираться в той маленькой складочке между бровями, маленькой трещинке в голосе, которая предательски сообщает: мама не так весела, как кажется, и хотя она говорит уверенно, но может быть, все-таки... все не совсем так?

Надо заметить, что мать — это первый человек, с ложью которого ребенок в своей жизни сталкивается. Иногда эта ложь невинная, иногда она ребенку не очень интересна. А вот про то, будет или не будет больно, или вкусно что-то или невкусно, или скоро или нескоро мы пойдем домой из какого-то скучного места... Наверное, каждая может вспомнить десятки случаев, когда мы говорили своим детям неправду — возможно, не придумав лучшего ответа, не имея в виду моделировать недоверие ко всему, что мы потом собираемся сказать. И со временем мы обязательно услышим, что говорим-то одно, а сами... Далее появится убедительный список наших непоследовательностей, мелкого бытового вранья по пустякам. Такова мзда

за то, что когда-то ты была абсолютно не подвергающимся сомнению источником информации. Если что-то говорила мама, то это было правдой по определению. Так не бывает, а в сложной взрослой жизни и подавно.

Я много раз слышала от взрослых мужчин: только став совсем взрослыми — где-то к середине жизни, — они смогли хоть как-то представить себе всю меру непростоты жизни своей матери. В детстве — а каждому ребенку положено быть эгоистом — они воспринимали только ту сторону, которая была *для них*, то есть опять-таки функцию. И только много позже узнавали, что как раз в этот период решался вопрос о разводе, или у мамы были неприятности на работе, или в доме было плохо с деньгами. И только когда сын пишет собственную диссертацию, он вспоминает о том, что мать что-то делала по ночам на кухне. Проникновение в некоторые части ее жизни происходит очень не быстро и очень не сразу, — но догадки возникают достаточно рано. Представление о том, что женщина может обмануть кого угодно — не основано ли оно и вот на этой материнской лжи, которую иногда называют святой?

Итак, леди, кухарка, проститутка, маменька — и это еще не все. Гораздо больше. Современная жизнь с ее возможностями — великолепный полигон для тренировки способности “обернуться” еще десятком функций. И пресной занудой быть не хочется, и хамелеоном что-то не тянет, себе дороже. Понимаю, что в очередной раз оригинальностью не блещу: и этого за нас никто не решит. Тепло ль тебе, девица?

ДЕНЬ 8 МАРТА

Взгляд искоса — самый главный женский взгляд. Самый честный. Открытый, простодушный, наивный, циничный, кокетливый, холодный, уверенный, злой, близирующий, волнуемый, тупой, обещающий... Эти взгляды женщина бережет для других, а тот, что “искоса, низко голову наклоня...”, оставляет себе.

Евгения Двоскина. Мелкие пуговицы

“Восьмое марта близко-близко...” — предупреждает неприличный стишок. Дальше сами знаете. Кто не знает, “близко” рифмуется с “пиписка”, и этим сказано все.

Странный праздничек. Вроде как восходит к временам той еще борьбы за женское равноправие. Неукротимая Клара Цеткин, которую мы смутно

представляем безобразно стриженной старухой... Передовые работники, требующие права голоса и равной оплаты труда: "Никто не даст нам избавленья..." — правильно, и не дали. Учительница литературы Ольга Александровна, разбирая с нами, малолетками, какие-то "женские образы в советской литературе 20-х годов" и видя перед собой ряды наших кривых глумливых ухмылок, говорила на невысказанные вольности: "Нет, девочки, Советская власть действительно дала женщине очень много... но... "ключи от счастья женского", как там дальше у классика, кто напомним... какая-то рыба, видимо... проглотила". И мы радостно ржали, избавленные ее иронией от необходимости прямого противостояния, от которого в этом зверском возрасте так недалеко до прямого хамства. А в параллельном классе девицы, страшно возбужденные собственной лихостью, к Восьмому марта выпускали стенгазетку "Хоть день, да наш!". А мы, не придумавшие такого прикола — правда, тогда это называлось как-то иначе, не помню как, — мы завидовали, но одобрительно рассказывали направо и налево: правда, классно? И каково же было... что, разочарование? — когда одна из наших мам мягко так улыбнулась: "Как, и вы тоже?". Оказалось, что незнамо в каком году, в другой школе и даже в другом городе, но тоже к Восьмому марта... А одна компания молоденьких бесшабашных умниц заявила седьмого в школу в траурных нарукавных повязках из черной капроновой ленты. Думаете, скандал? Как бы не так, никто и не заметил, и акция протеста тем самым была, но не состоялась. А в университетские времена наши мальчики презентовали мамзелям одиннадцатой группы по зеленой керамической рюмахе вкупе с брошюрками "Коварный враг здоровья женщин", тоже зеленой и на ту же тему. Отхохотавшись и распив положенное, мы пришли к решению ни мужского, ни женского праздника более не отмечать, а праздновать совместно Первое марта — весну то есть, которая всем весна. Дацзыбао "Хоть день, да наш!", как мне доподлинно известно, время от времени выпускается барышнями по сю пору — с применением новейших технологий.

Если же вы спросите о смысле этого праздника у женщин постарше, никто и не вспомнит передовых работниц, марширующих по долинам и по взгорьям вперед заре навстречу. Скорее всего, вам грустно улыбнутся и почему-то, слегка оправдываясь, скажут: а что, мне все равно нравится, хоть цветы подарят. Цветы — да, подарят. И как раньше мрачные мужики давились за хилой мимозой, так нынче бойкие яппи машинами увозят стандартно скрученные по спирали букеты из какой-нибудь "Интерфлоры". В одной фирме молодые люди обрядились к празднику в майки, украшенные фотографическими изображениями всех работающих с ними девушек... Девушкам не совсем понравилась перспектива (пятно кетчупа на глазу, корзина с грязным бельем, стиральная машина... или, может быть, более

глубокий смысл этой символической акции овладения), но обижаться и тем более портить праздник ребятам, которые “так старались”, конечно, никто не стал. А для самого социально незащищенного гражданина тоже продается недорогой цветочек в бетонной трубе перехода, и он потащит этот цветочек своей “половине”, а она ему чего-нибудь не то ворчнет, не то мурлыкнет, глядя почему-то в сторону, в сторону...

А что творится в школах и детских садах — не передать. Родительский комитет одолевает поборами, кипят нешуточные страсти по поводу символических, но абсолютно необходимых жестов в адрес Валентины Ивановны: да зачем ей эти венки, надо что-то дельное, из косметики! Чем непрестижнее профессия — то есть чем ближе она к воспитанию, образованию и прочим феминизированным областям, — тем обязательнее букет. Валентина Ивановна должна быть довольна — кому-то же надо и эту работу делать, дети все-таки. А утренники! Душещипательные стишки про мамочку родную, где обязательно будут помянуты “ласковые руки” и остальной парфюмерно-кондитерский словарь устойчивых выражений, разучиваются загодя и под большим секретом. Стишки, как правило, ужасны — но тоже обязательны. И уж которое поколение мам одновременно искренне умиляется своим Денискам и Аликам и... испытывает что-то еще. Что-то такое, от чего сладкая улыбка “гендерной именинницы” немного сползает вниз, а взгляд ее почему-то уходит в сторону. В сторону...

Двусмысленный какой-то праздник, приторный с горчинкой, сентиментальный с еле уловимой ноткой непристойности. Вроде и неловко, и нужно, но как бы и правильно. Похоже на скомканное извинение, а кто и перед кем виноват? И ритуальное мытье посуды домохозяевами — “сиди-сиди, сегодня мы сами” — это что, насмешка или репарация? Просто Юрьев день какой-то! А обязательные тосты с пожеланием “всегда оставаться такими же милыми, красивыми, любящими”? О каком “всегда” может идти речь, какому мгновению велено остановиться? Мужчины деликатного образа мыслей часто поздравляют так: “Не знаю, признаешь ли ты этот праздник, но это только повод...” — далее по тексту. Таксисты и случайные прохожие поздравляют без затей — и маленького волевого усилия стоит не ответить, как на другие поздравления (с Новым годом, скажем) — не вякнуть на автопилоте: “И Вас также”. Выйдет глупо и незаслуженно обидно, чем таксист-то виноват?

Но при всей своей двусмысленности или благодаря ей праздник этот жив и будет жить. Потому и будет, что он прославляет идеализированные — то есть фальшивые, но ведь это всем известно — отношения мужчин и женщин, а в то же время самой своей приторностью напоминает: так не бывает, это все понарошку. Он воспевает “ласковые руки”, понарошку же пре-

давая краткому забвению всю мучительную сложность отношений мамы и ребенка — сегодня только хорошее или ничего, как о мертвых. Он клянется в вечной любви, красоте и вообще во всем, чего не бывает по определению. Я бы даже назвала его "гендерным карнавалом" — как известно, на карнавале все наоборот, не как в жизни.

И юные девы, в соответствии со своей возрастной нормой, не желают порой принять именно эту двусмысленность и объявляют себя неприсоединившимися, но их марш протеста все равно останется незамеченным. Им еще хочется смотреть прямо, но... "вырастешь, Саша, узнаешь". Со временем кто-то из них сделает свой выбор — и для нее этот праздник напрочь перекроется трудами и чувствами Великого Поста. А кто-то выберет иное и будет просто предвкушать развлечения или дела, которым нерабочий день всегда ох как кстати. Кто-то сполна насладится однодневным карнавалом, коллекционируя букеты, поздравления и приглашения, собирая свою маленькую быстро увядающую дань. А кто-то в ответ на общепринятый сироп нарушит перемирие и рявкнет: "Я этот гинекологический праздничек вообще не признаю!" — и наградой ей станет неподдельное смущение поздравителя, и в том-то и будет "хоть день, да наш". И уж в следующем году человек по тому же делу не позвонит — ну ее в болото, самому, что ли, очень хочется на телефоне висеть, могла бы тоже вид сделать.

Всего на один день Великая Богиня, сняв оранжевый дорожный жилет или бифокальные очки, разогнувшись от корыта или верстки, является нам, — но шаржем, пародией на саму себя, и ей не отпущено даже карнавальной недели. Слишком много обид, ожиданий, иллюзий. Слишком глухо молчание. Легче для всех, когда она предстает Девушкой с веслом, раскрашенной ради праздничка дешевым итальянским набором "Пупа".

Одна простая и ныне давно уж покойная женщина из владимирских крестьянок говаривала — сильно окая, как положено: "Баба — она и есть баба, чо ее праздновать?". Она не понимала этого праздника, крепко и естественно вросшая в традиционный уклад, где ему и впрямь не место (хотя нынче и празднуют, и ничего, был бы повод). И, наверное, в каком-нибудь совсем ином мире, где женские потребности, ценности, жизненные циклы и роли признаются важными и это никому не надо доказывать, — там этому празднику тоже не место, там по совершенно противоположной причине возникает тот же риторический вопрос: чо ее праздновать?

Мы же держим, как умеем, хрупкое и двусмысленное равновесие. Когда можем позволить себе такую роскошь, обращаем внимание на собственные чувства, возникающие по поводу и в связи. Если очень повезет, можем их даже проговорить, поделиться — и что-то услышать в ответ. Когда

не получается, просто говорим “Спасибо!” — а сами смотрим в сторону, в сторону...

Март в России — месяц холодный, цветочки приходится заворачивать во вчерашнюю газету с фотографиями президентов, нефтяных магнатов, спецназа в масках и со смятым заголовком “...есны, любви!”. Кстати, упомянутый выше неприличный стишок существует в двух вариантах: в мужском кое-чему предписывается “расти”, в женском — “беречься”. Вот тебе, девушка, и Юрьев день.

РАЗЛУКА ТЫ, РАЗЛУКА...

Не лезть на кухню к ней, чтоб знать судьбу заране,
И верить в собственные силы, как в нее.

Юнна Мориц

Она — это понятно кто. Страшная или нет, с косой или без, она придет ко всем. В очень хорошем романе Мюриэл Спарк “Memento mori” пожилым людям — мужчинам и женщинам — звонит по телефону неизвестный и сообщает: помните, что Вас ждет смерть. Они пугаются, они обращаются в полицию; они считают, что кто-то скверно, жестоко шутит. Когда выясняется, что телефонные голоса к тому же у всех разные, они решают, что “здесь действует целая банда”. И только одна старая дама отвечает на звонок не страхом или руганью, а, что называется, по существу: “Боже мой, — сказала она, — последние тридцать лет, если не больше, я то и дело об этом припоминаю. Кое-чего я не помню, мне ведь все-таки восемьдесят шесть лет. Но о смерти своей не забываю, когда бы она ни пришла”. “Рад слышать, — сказал тот. — Пока что до свидания”*.

Помнить о старости и смерти стоит не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы ценить свою единственную жизнь с ее бесконечными возможностями — и не утрачивать во всех ее передрыгах чувство благодарности. Кажется, женщинам это дается немного проще, даже молодые и полные жизни готовы об этом говорить и думать. И покойников женщины боятся меньше: кто, по деревенскому обычаю, их обмывал и обряжал? И само слово женского рода. Спросите у Бабы-яги, почему, — она знает.

Страшно, конечно, а помнить надо, хотя бы время от времени, и не только о той, главной, но и о ее “младших сестрах”. Сколько всего заканчивается навсегда, сколько прощаний ожидает нас на пути — и как важно отдать им положенную дань и все-таки двигаться дальше. Кстати, почему гово-

*Спарк М. Избранное. — М.: Радуга, 1984.

рят: “Это мне так нравится, просто умираю”? Почему “до смерти хочется”? Не задумывались ли вы о том, почему в народных песнях так много самоубийств — и все больше покинутые девицы: “И остались бедной смех людской да прорубь”... “Пойду я в лес высокий, где реченька течет, она меня, глубокая, всегда к себе возьмет”... И так далее, и так далее. Может, деревенские девушки и правда легко расставались с жизнью? Но кажется, дело не в этом. Все-таки поэзия — не криминальная хроника, что-то здесь другое.

Вспомните, как это бывает, когда утеряно что-то очень-очень дорогое: человек, отношения, чувство. Что-то, составлявшее, возможно, смысл жизни. Завтра мы поймем, что все-таки не всей жизни, — а сегодня такое ощущение, что *все кончено*. Хоть не просыпайся утром, все пропало, вся жизнь насмарку. Выразить это прямо почти невозможно — разве что каким-нибудь воем, да и на тот сил может не быть. И высокий текст, вроде “Плача Изиды”, и забубенные народные “Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбились — разбилась жизнь моя” — что-то вроде памятника вот этому чувству. Но поем-то мы *ее* или слушаем — живые, и не ты первая, и с тобой это не впервые, и все образуется. За нас — выразили. В боли нет совсем уж крошечного одиночества, кто-то так уже чувствовал. Кто-то это *пережил*.

“Не впервые” означает еще и то, что с самого младенчества, с самого первого “утраченного рая”, с потери полного единства с материнской фигурой — мы этому учимся. Горько рыдаем, когда лучшую подружку переводят в другой детский сад — это горе на полчаса, но настоящее. *Смертельно* обижаемся на родителей, которые без спросу, нарушив все границы, выбросили письменный стол и заменили новым: все не то, я никогда не смогу за ним *так* читать, верните мне мой любимый старый, кто вас просил лезть! *Смертельно* ссоримся с друзьями — до демонстративного отказа здороваться, до “неразговора” — и убеждаем себя в своей правоте, в том, что совсем-совсем не скучаем, не нуждаемся, не вспоминаем. В первый раз теряем любимых животных — рыжий ли кот ушел и не вернулся, старая ли облезлая собака умирает — это настоящая боль и настоящая утрата, если была настоящей привязанность. Конечно же, теряем свою первую любовь, а потом и не первую... Уходят, уезжают, а иногда и умирают люди, составляющие наше человеческое окружение. Наконец, уходят сами периоды, циклы нашей жизни: что-то заканчивается, “место” в душе остается пустым — не навсегда, но это каждый раз тревожит, как вид заколоченного на зиму дома или развороченное переездом жилье. Даже окончание большой работы, даже конец года вызывают легкое покалывание в сердце: страница перевернута.

Все это, как и многое другое, мы переживем. От серьезных потерь останется, конечно, зарубка на сердце, фантомная боль. Когда-нибудь и она угаснет — только никто не знает, когда и как: "Много раз в жизни мы прощаемся с уходящими, и один раз — с теми, кто остается".

Конечно, хотелось бы представлять себе человеческие отношения как надежную гавань, теплый свет очага и прочее в из разряда *home, sweet home**. Но мы догадываемся, что отношения — и отношения с мужчиной в частности — это не диван с клетчатым пледом и плюшевым мишкой, а в лучшем случае огород, который надо возделывать, а в худшем — минное поле. Конфликты, взаимонепонимание, угроза разрыва и сами разрывы, разлуки, разводы — такая же часть этой реальности, как очарование первой встречи или то, чем была так прекрасна четвертая, пятнадцатая, сороковая. Есть еще внешний мир с его обязательствами, долги и планы, повороты жизненного пути: близкие люди, внезапно вы сделали дальними...

Сколько пролито слез в темноте кинозалов обо всех разбитых сердцах, всех путях, что непоправимо разошлись, — о чем они, эти слезы? Развели ли героев судьба, чья-то злая воля или собственный выбор — всякая история расставания неизменно задевает какие-то особые, на эту тему настроенные струны и отзывается сердечной печалью: нет повести печальнее на свете... Потому ли, что напоминает обо всех случившихся и в нашей жизни утратах? Или предупреждает нас, смертных, о грядущих неизбежных разлуках? Тональность рассказа может быть самой разной — от надрыва до легкой печали, жанр — от авангардистской скульптуры до блеклой изысканной акварели. Мы все равно знаем, о чем это все. Нас не обмануть ни хорошими манерами, ни грубостью, ни карнавальным костюмом.

Не избегай так стремительно на
крыльцо
моего дома сожженного.
не смотри так внимательно мне в лицо,
Ты же видишь — оно обнаженное.
не бери меня за руки — этот стихок
и так отдает Ахматовой.
А лучше иди домой, хорошо?
Вали отсюда, уматывай!

Вера Павлова

Не с одними возлюбленными мы прощаемся, надолго сохраняя в душе эту саднящую царапину, след-напоминание, след-предупреждение — как на

*Дом, милый дом (англ.).

замке, который вскрывали. А друзья? Может быть, расставания с ними чаще происходят второпях, на бегу — и как же потом жаль, что не сели, не помолчали, не сказали каких-то важных слов вовремя: “Иных уж нет, а те далече”. В прошлом веке — в девятнадцатом то есть, все никак не привыкну называть прошлым двадцатый век, принять до конца его уход — люди относились к разлукам с друзьями с подобающим почтением. Огромность пространств, бесчисленные почтовые версты, да ранние смерти кругом, да превратности фортуны — все заставляло смолоду переживать каждое прощание серьезно. Судьба в любой момент могла погрозить пальцем — и вот милая барышня из соседнего имения, глядишь, умерла родами, не пробыв замужем и года, а старый друг сослан, а троюродный братец второй год путешествуем где-то в Европе, и от него ни слуху, ни духу... Столько расставаний в великой поэзии прошлого, что можно почти физически ощутить силу и “плотность” чувств — дружеских ли, любовных ли.

В нашей жизни все иначе: мы можем позвонить, написать и даже заехать — куда угодно. Возможно, и не в любой момент, но милые нам люди как будто доступны, только руку протяни. И что, сделало ли это нас ближе? И не иллюзия ли эта “страховка” от настоящих, режущих по сердцу, расставаний? Мне иногда кажется, что привычка считать отношения чем-то, что можно “консервировать” и извлекать на свет по надобности, сродни американской моде набивать чучела из умерших “домашних любимцев”: ну прямо как живой. Что-то не так с этой уверенностью в том, что даже если “абонент временно недоступен”, только и дела — перезвонить. Может быть, на звонок ответит совсем не тот человек, с которым вы прощались...

...Отъезды конца семидесятых. Тогда казалось, что навсегда: Америка была не ближе Марса. Друзья детства, суматошной университетской юности, такие разные; столько вместе перечитано и переговорено... Да, обязательно, с первой же оказией — длиннее письмо; ладно, ребята, пока. Пока. “Рас-стояние: версты, мили... Нас рас-ставили, рас-садили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли”. Конечно, Цветаевой с Пастернаком мы себя не воображали, но стихи казались в точности про нас. В молодости вообще стихи часто кажутся “в точности про нас” — наверное, это тоже помогает переживать многое из того, что иначе пережить было бы еще труднее.

И — много лет спустя — звонок по телефону. “Ты откуда?!” — “Я в Москве по делам фирмы. Слушай, что тут у вас происходит, действительно опасно ходить по улице? А воду фильтровать обязательно? Конечно, повидаемся — как раз сегодня у меня небольшая вечеринка, party. Так, человек двадцать. Сейчас моя помощница тебе продиктует адрес. Маша! А, вот она. Ну, до

встречи". Вечеринка вполне удалась. "Друзья уходят — кто же остается? Друзья уходят — кем их заменить?"

Сколько раз — не сосчитать и не упомнить — работали мы на группах вот с этими "младшими сестрами смерти": разлуками, расставаниями, разломами, разводами. Одних бумажных носовых платков сколько извели — иногда ведь мы и сами не знаем, что боль не прошла, а только затаилась; начнешь вспоминать — и она тут как тут.

"Наверное, это не просто больно, наверное, это очень больно, а то, что женщины боятся боли меньше, чем мужчины, — неправда. Это их, мужской миф, мы боимся боли не меньше, просто мы больше к ней готовы, мы ожидаем ее каждый день, каждый час, каждую минуту"*.

Так это или не так — не знаю, но с "застрявшими" осколками рухнувших отношений мы действительно работали часто. Прощались и прощали, сами просили прощения. Не только возлюбленные или бывшие мужья получали подробные "письма" — старые подруги, с которыми "жизнь развела", в одночасье и бесследно исчезнувшие из семьи отцы, когда-то страшная и нелюбимая свекровь, умершие в одиночестве учителя... Даже если в реальности уже нет никакой возможности завершить отношения (никто не знал, что виделись в последний раз, наши любимые — или мы сами — не потрудились, побоялись, не нашли способа проститься, да мало ли), отношения должны быть завершены во внутреннем, душевном плане. Те, которые были, — потому что речь далеко не всегда идет о физической смерти или физическом же расставании. Разве не предъявляем мы претензий окружающим людям просто за то, что они становятся не такими, как раньше? Разве не трудно "перезаключать договоры" с мужьями, родителями, детьми, друзьями? "Что-то ушло", — говорим мы с горечью. А разве бывает, чтобы в отношениях с живым человеком вообще ничего и никогда не уходило? Да, мысль не нова, но принимать ее всякий раз трудно: никакие отношения не длятся вечно. В принципе, чтобы в один прекрасный день оказаться в новом — другом — браке, не обязательно разводиться и разъезжаться: любые длительные отношения переходят в новое качество. Это если выражаться деликатно, а если поглубже — умирают в старом качестве и, *может быть*, возрождаются в новом.

Мне кажется — и многие работы моих героинь это подтверждают, — что без постижения "искусства терять" женщине невероятно трудно жить. Как ни странно. Казалось бы, хранительница домашнего очага, она так нуждается в стабильности и постоянстве хоть чего-нибудь! Но: "Три вещи дарованы нам, чтобы смягчить горечь жизни, — смех, сон и надежда"... "На-

*Ткаченко К. Ремонт человекoв. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

дежда — это когда ты чувствуешь, что то, что ты чувствуешь, не может продолжаться вечно". Не скажу, чьи слова: достаточно того, что это было сказано женщинами. А вот как говорила об этом одна из наших участниц — веселая, разбитная Ирина, мать троих детей и бабушка одного внука, да к тому же еще и директор туристического агентства:

"Жизнь полна потерь, что поделать. Женская — особенно. Смотрите, ведь это мы теряем невинность — может, и невелика потеря, но почему-то же это называется именно так? А потом, когда рожает, перестаем быть с ребенком одним целым, то есть опять как бы теряем, отдаем его в мир. Да что там, каждые месячные — это еще один неродившийся ребенок, тело словно оплакивает его... кровавыми слезами. Ну, и дальше: детей надо вырастить и отпустить. Надо потерять молодость и красоту, а потом и саму способность давать жизнь. И будем смотреть правде в глаза: большинство из нас переживет своих спутников, это объективный факт, и мы все это знаем. И где бы мы были, если бы не были способны не только терять без конца то одно, то другое, а еще и воскресать, возрождаться? Я не думала об этом, пока не пережила клиническую смерть. Не было у меня никаких коридоров со светом в конце, но что-то очень изменилось. Стало больше радости. Жизнь слишком хрупка, чтобы проживать ее на автопилоте. Не потеряешь — не найдешь, девочки".

А иногда у нас случались и прямые разговоры с "величественной дамой в черном" — так, кажется, где-то у Окуджавы. Страшно? Да не страшнее всего того, что в реальности мы уже переживали. Ирина, например, была с ней близко знакома и поэтому начала свой разговор так.

- Извини, буду говорить "на ты". Хотя это и не совсем прилично, иначе не могу: ты была совсем рядом. И знаешь, что я тебе скажу: спасибо. Спасибо, что не забрала. Спасибо, что научила уму-разуму. В сущности, благодаря тебе я теперь больше понимаю, что такое жизнь, время. Это ты меня научила. Я думаю, что своих близких я бы от тебя защищала зубами и когтями. Но у меня лично с тобой свои отношения, и тут я просто говорю спасибо. *(Обмен ролями.)*
- Наконец-то слышу разумные речи. Учишь вас, учишь — один страх, никакого усвоения материала. Могу дать один совет... *(Обмен ролями.)*
- Я спросить не решалась — знаю, как к тебе пристаю с вопросами. Но совет, конечно, приму и выполню. *(Обмен ролями.)*

- Ты напрасно избегаешь кладбищ — вон у мамы сколько не была. Теперь тебе там бояться нечего, тебе будет светло и спокойно. Съезди, не ленись. Ты вполне здоровая женщина, не убудет тебя прибраться и посадить кустик-другой. Мама любила сирень, ты помнишь? *(Обмен ролями.)*
- Да. *(Тут явно что-то происходит, потому что Ира начинает тихо-тихо плакать, не утирая слез; мы ждем — слезам, как и смеху, нужно время.)* Мама любила сирень. А я с ней не простилась, не успела в больницу. Ты считаешь, мне уже можно сходить на кладбище? *(Обмен ролями.)*
- Конечно, можно. Ты не виновата, что не успела. Ты теперь сама знаешь, что со мной все иногда бывает так внезапно! Но ты можешь не спешить, дожидаться весны, сухой погоды и поехать... Там действительно поет соловей, ты сядешь на лавочку и будешь вспоминать ее без вины и боли, легко. Тебе это нужно, поверь. *(Обмен ролями.)*
- Я обязательно это сделаю. Спасибо и за этот разговор. *(Обмен ролями.)*
- Приятно было познакомиться. Не знаю, когда увидимся, но я о тебе не забываю. *(Обмен ролями.)*
- И я о тебе — тоже...

Вот такой фантастический разговор с собственной Смертью — один из многих, между прочим — произошел у нас как-то раз. Вика, которую Ирина выбрала на эту роль, была преисполнена величия и вовсе не казалась страшной и отталкивающей — как ей Ирина роль задала, так она и действовала. Конечно, после таких работ мы особенно тщательно выводим исполнителей из ролей — а то, неровен час, Вика и впрямь бы могла уверовать в свое всемогущество, а такое до добра не доводит. И разумеется, Ирина разговаривала не со смертью как явлением объективного мира — с этой-то не больно побеседуешь, даже поговорка есть: "На смерть, как на солнце, в упор не взглянешь". Она говорила со своим образом всемогущей и неумолимой силы, отвечающей за начала и окончания. Если угодно, с идеей конечности бытия — и не забудем, что с этой идеей она уже была близко знакома и приняла ее полностью, потому и разговор со Смертью получился такой мирный, даже лирический. Да, кстати, не напоминает ли он вам другой разговор другой героини — с Высокой Болезнью? Мне так очень напоминает, а ведь героини совсем разные, совсем. Роза, если помните, все никак не могла отпустить "острый период" влюбленности — Ирина решает другие задачи, да и лет ей побольше... Она в каком-то смысле уже утратила душевную "невинность" — ее слово, хоть и из другого

контекста. У одной английской писательницы есть чудные строчки как раз об этом: “Утратить невинность — не только наша судьба, но и наша обязанность, а когда уже это случилось, напрасны старания устроить пикник в Эдеме”. Наша героиня трезва и стараний попусту не тратит.

А вот с покойной мамой остались незавершенные отношения, остался какой-то оттенок вины, — и нечто *в самой Ирине*, что мудрее и могущественнее, а возможно, и старше ее житейского опыта, заговорило от лица Смерти. Для группы эта работа была очень важна: все наши раны и ожоги, все фантомные боли враз оказались словно в картине другого масштаба; вдруг стало пронзительно ясно, что и за потери можно быть благодарной. И, конечно, вернулась тема неоплаканных утрат — тех, на полное переживание которых не хватило то ли сил, то ли времени, то ли смелости. И были в тот день еще работы — о разном, не только о потерях: “о жизни, о жизни и только о ней...”

В юности мне рассказали некую притчу — откуда она, я так, к стыду своему, никогда и не узнала, а о чем — думаю по-разному примерно каждые десять лет. Вот она: “Что есть жизнь?” — спросил старого философа ученик. Учитель отвернул рукав и молча показал ему гноящуюся язву. А в это время в Севилье благоухала сирень и пели соловьи”. Так и хочется добавить: возможно, на кладбище. Впрочем, это было бы уже перебором.

А недавно попала ко мне газета “Дейли Экспресс” — нормальная английская газета, а в ней женская страница — разворот. Половина — про то, как осмелевшие кинозвезды стали отказываться от пластической хирургии, потому что вечные подтяжки, перетяжки и прочие силиконовые добавки в конце концов не оставляют ничего от тебя самой, а актриса тоже человек. Более того, звучит уже почти кощунственная мысль, что целлюлит как навязчивую идею придумали в коммерческих целях — не бороться с ним (или с морщинами, или с десятью фунтами лишнего веса) надо, а жить. Другая полоса — как раз про то, что жить можно даже в самых немислимых обстоятельствах. Речь идет о тележурналистке Пэтти Колдуэлл, пятидесяти лет от роду, умирающей от рака мозга. Сначала был рак груди — одна операция, другая, и так три года. А теперь понятно, что жить осталось недолго:

“Когда мне поставили этот диагноз, я и подумать не могла, что вскоре буду себя так хорошо чувствовать. Я имею в виду душу, а не тело. [...] Мои приоритеты изменились, и я могу ясно видеть все ошибки, которые совершила в жизни. Я вполне осознаю, как часто бывала несчастной сама и делала несчастными окружающих — не специально, а просто забывая, насколько прекрасна жизнь. Вчера утром я сидела на солнышке и думала о том, что теперь для меня главное. Ясно и понятно: мочевого пузыря (и хотела бы про него забыть, но не могу), друзья и прекрасные мгнове-

ния жизни. Если я разберусь с этим, то смогу справиться с чем угодно"*.

И вот что я вам скажу... Как профессионал, я понимаю, что это потрясающее благодущие, этот оптимизм на краю могилы может быть связан не только с силой духа, но и с областью поражения мозга. Возможно, психиатр сказал бы что-то вроде "критика к своему состоянию снижена". И, возможно, был бы прав. Кроме того, британское хладнокровие и юмор — это вещицы из чужого "бабушкиного сундука", которые не подлежат не только вывозу, но даже и буквальному переводу. Все так, может быть. Но эта женщина вызывает восхищение — каково бы ни было происхождение ее счастливой улыбки. Мне нравится, что она замужем за человеком намного моложе себя. И что у них десятилетняя дочь. И что этой Пэтти "плевать на волосы", которые, конечно, вылезли после химиотерапии: "С волосами или без, зато я опять хожу". Есть такая суровая и потому не очень известная русская поговорка: "Жить не умел — помирать не выучишь". Вы понимаете, о чем я.

И все наши раны, потери, разлуки, все эти "младшие сестры смерти" действительно важны: умение обходиться с ними — это часть *умения жить*, которое включает в себя очень многое, в том числе и "искусство терять". Все мы много раз видели, как женщины собирали себя буквально по кускам после тяжелых жизненных катастроф. Но даже внешне совсем не драматичная жизнь может быть драматична внутри: быть женщиной очень часто трудно и больно; смертельные болезни, землетрясения и даже банальный развод не так уж обязательны: "Выживать — значит родиться снова и снова". Те, кто не остановился, не "застрял" в гневе и обиде (эти чувства нормальны, даже обязательны на какой-то стадии), кто залечил свои раны, принял случившееся, но не дал этому случившемуся управлять своей жизнью, — рождаются снова и живут. Более того, в них появляются какие-то новые качества — бесстрашие, пронизательность, обостренное чувство ценности жизни и ее радостей. Они ценят дружбу и любовь, но не боятся и одиночества; их огонь, зажженный когда-то от пылающих глазниц всевидящего черепа, может служить и мирным целям: вот закипает чайник, кто-то может заглянуть на огонек.

Василиса череп зарыла, дом заперла и отправилась в город, где поселилась у безродной старушки и стала делать то, что умела делать хорошо: прясть и ткать. Баба-яга, надо полагать, продолжила уединенную лесную жизнь женского божества в отставке — и в свойственной ей грубой, пугающей манере помогла еще не одному герою сказок (разумеется, если они были вежливы и умели расположить к себе старуху). А одна мудрая женщина, не похожая ни на красную девицу, ни на Бабу-ягу, сказала как-то о "проекте", который определял без малого двадцать лет ее жизни: "Мой брак успешно завершился". И если уж терять — то так. Может, еще научимся...

Вот еще две маленькие истории о расставаниях. Есть у меня коллега — очень мягкая и обаятельная женщина. Когда она собиралась замуж, — а было это довольно давно, — она знала, что ее любимый мужчина уже год как развелся с первой женой. И ее беспокоило, что он ушел, как говорится, хлопнув дверью — как будто перечеркнул вместе прожитые годы. И никогда не упоминал о них. И она мягко настояла, чтобы перед их свадьбой он все-таки пошел к бывшей жене, попрощался по-человечески, вернул обручальное кольцо и пожелал счастья. Что и было сделано — и все трое вздохнули с облегчением: изжившие себя отношения были завершены, перестали быть неловкой, запретной темой. Спустя много лет уже не важно, что там у него в первом браке не сложилось, а важно, что последняя встреча освободила обоих. Как ни парадоксально, единственные неизменные отношения — это отношения прерванные и на том остановившиеся, “убитые”. Иногда они держат людей мертвой хваткой. Хорошо, если кто-то понимает, как важно проститься по-человечески, “вернуть кольцо”.

Вторая история тоже о любви и потере, хотя совсем о других. Когда умер мой старый пес, сыну было лет пять. Полдня я маялась, не зная, “как сказать ребенку”, — но зная, что сказать нужно, что эта первая в его жизни смерть в доме должна быть принята, что ему тоже нужно “проститься по-человечески”. Его реакция оказалась поразительной: утерев первые слезы, он звонко, на всю темную осеннюю улицу — мы шли из детского сада — сказал: “А знаешь, мама, что я думаю? Когда собачка умирает, ее душа в раю много-много лет ждет хозяйку”. Как дитя умудрилось и пожелать мне долгой жизни, и пообещать встречу с любимым существом, да еще в раю? И к тому же — в одной фразе! — создать образ мира, где есть место верности, печали и надежде? Не знаю. Похоже, детям и в самом деле известно о расставаниях гораздо больше, чем нам нравится думать. Я благодарна судьбе за тот промозглый октябрьский вечер.

“Тем более что жизнь короткая такая”.

УТРО ВЕЧЕРА

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.

Белла Ахмадуллина

Здесь придется сделать паузу, перевести дыхание и признать: я осторожно вступаю на нетвердую почву рассуждений о том, что пока не соотносится

ни с каким личным опытом. Старой я еще не была. И голоса участниц групп не помогут — как ни странно, многие из нас близко видели свою смерть, но лишь с огромным усилием могут почувствовать старость, прикоснуться к тайне позднего женского возраста. Мы узнаем ее в свой черед — конечно, если повезет и жизнь будет достаточно долгой. Между прочим, это может оказаться действительно долгой историей — лет на пятнадцать-двадцать.

Конечно, первая реакция женщины "цветущего возраста" — даже думать об этом не хочется. Вторая — страшновато, но важно. Третья — оказывается, я и так думаю об этом довольно много, на удивление много. Может быть, проговорив — или проиграв — какие-то из этих мыслей и чувств, удастся понять что-то и о моей сегодняшней жизни. Что мы и делаем, меняясь ролями с бабушками и прабабушками, задавая почтительные вопросы Бабе-яге, а иногда и прямо: вызывая образы "себя в старости". Конечно, наша "первая примерка" робка и неточна, подробностей ощущений мы еще не знаем, — но в любой женской группе чей-то поход "туда" вызывает бурю чувств. Разных, в том числе и очень позитивных.

Вспоминается одна старая работа — уж лет семь тому будет... Героиня, Алина, в тот период переживала сильное чувство вины — по-глупому стогряча изменила мужу, а он так ей доверял, а дети теперь выглядят живым упреком, а дома стало так тревожно... И чего мы только ни делали: выкапывали корни чувства вины где-то в детстве, рассматривали практический аспект вопроса (признаваться или не признаваться, то есть), анализировали причины самой "роковой страсти"... Все без толку: заплаканная Алина все равно вязла и тонула в своей вине, как в болоте. И тут одна ее фраза — "Может быть, когда-нибудь я посмотрю на это иначе" — подсказала простое действие. Совсем простое.

- Аля, ты жить собираешься долго?
- Вроде да. *(Смотрит несколько обалдело, поскольку продолжительность ее жизни нашим предметом никак не являлась.)*
- Ну, выбери место для себя старенькой. Алина Станиславовна, Вам сколько лет? Девяносто-то есть? *(Смеется! Черт побери, за час с лишним первый раз смеется!)*
- Да нет, я еще молодая, восемьдесят шесть всего.
- Что Вы скажете вот этим молодым женщинам о жизни — у Вас такой опыт...
- Девочки, все проходит. Берегите себя, любите своих близких, путешествуйте, читайте. Не закливайтесь на болезнях — их от этого меньше не будет. И не бойтесь стареть — в моем возрасте можно найти в жизни массу удовольствий, которые и вы оцените со временем.

- Алина Станиславовна, строго по секрету: а в молодые годы Вы были строгой и неприступной или легкомысленной?
- Ох, милая, честно говоря, гуляла.
- Ну и как?
- Ох, и хорошо...

Засмеялась опять — и вся группа просто зашлась от хохота — сняла с головы платочек, на ходу подобранный в качестве знака “возрастной роли”, вернулась в свой двадцатисемилетний возраст. Глаза почему-то просохли, а дело пошло: из бесконечно далекой перспективы удалось принять то, что без этой прогулки в старость разглядеть в себе никак не получалось.

Да, так о чем это я? А, о старости. О страшной, отталкивающей и все такое прочее:

“На самом деле страх перед скелетом совсем не страх смерти. Человек, к стыду своему и славе, не так страшится смерти, как унижения. А скелет напоминает ему, что внутри он бесстыдно смешон и довольно уродлив. Не знаю, что тут плохого. [...] Нескончаемому лету успеха надо напомнить, что звезды смотрят на нас свысока”.*

Конечно, можно стать подтянутой и модной старухой или плюнуть на все и вообще перестать смотреть в зеркало — но похоже, что дело не в этом. Только взгляд со стороны, без внутреннего обмена ролями придает такое значение неизбежному “обрушению фасада”. Если в свое время удалось пообщаться с Бабой-ягой, это как раз не так и важно. Безусловно, окончательная и бесповоротная — это вам не кризис среднего возраста! — утрата физической привлекательности существенна. Радоваться тут вроде бы нечему: это в сорок “старость не радость” звучит кокетливо, а в семьдесят — уже просто констатацией факта. Но, несмотря на “гречку” на руках и седые волосы на подбородке, старые женщины не перестают быть женщинами.

Не такая банальная мысль, как может показаться. Я не о привычке прихорашиваться или пожизненной склонности к французским духам, не о чувствительности к мужскому вниманию — не об остатках грима женской роли. Эта игра с настоящими ставками сыграна много раньше: теперь она уже не определяет поступков, решений и судьбы, поэтому может честно занять место именно игры. Более того: именно тогда, когда невозможно больше *функционировать* как женщина, никто и ничто не отнимет возможность ею *быть*. Не наблюдателю судить. Для него ты уже не женщина — возможно, это и есть наш шанс хотя бы теперь узнать, что это такое?

*Честертон Г.К. В защиту скелетов. Эссе, статьи и “Чарльз Диккенс”. Собр. соч. в 5 томах. Т. 5. — М.: В.С.Л., 1995.

Тут всех на старость повело строчить донос:
 не той красы у ней власы, коленки, нос,
 а также зубы, — и пора ей в гроб со сцены.
 Да что вы знаете о прелестях ее,
 о тайных силах, презирающих нитье
 и вашу книгу жалоб?.. Драгоценны
 ее мгновенья, а тем более — года!...

Юнна Мориц

И, кажется, нас снова ожидают интереснейшие открытия. Только для этого придется пустить в оборот все капиталы, нажитые за предыдущую жизнь — иначе не отбиться от страхов и стереотипов. Позвольте поделиться некоторыми наблюдениями, сделанными в группах и "в поле". Первое и главное, чего боятся женщины, — это физическая беспомощность и зависимость от других людей. "Быть в тягость" для пожилых — такое же пугало, как страх отвержения у детей и подростков. Естественно, защиты и способы перехитрить это пугало будут примерно такими же, какие исправно работали всю жизнь. Властная старуха, у которой ходят по струнке даже те, кто в принципе не обязан это делать, — прямая наследница девочки, которая когда-то решила, что только тотальный контроль гарантирует хоть какую-то безопасность. Семидесятилетняя мастерица эмоционального шантажа — "Ты разговариваешь со мной так, что у меня поднялось давление" — тоже натягивает тонкие нити долга и вины не впервые. И подчеркнута независимая героическая бабушка, никогда и ни на что не жалующаяся, в старости разыгрывает все ту же пьесу своей жизни под названием "Обойдусь". После смерти выяснится, что родные у нее были и давным-давно предлагали помощь, только не на ее условиях, — а она не в состоянии была платить столь высокую "цену".

Условия нашей жизни на памяти последних поколений были таковы, что дети долго зависели от родителей — жили вместе, получали подзатыльники и подачки, мечтали о разезде и все равно никуда не девались. Родители же, преимущественно женщины, довольно рано начинали зависеть от детей, преимущественно от дочерей. Норма, молва, стереотип бытового сознания — как хотите назовите — требует во второй половине жизни ухода за престарелой матерью: свои дети подросли — готовься, милая. Деться, как правило, было некуда. Нянь — некого. Решались эти проблемы по-разному: с любовью и без, жертвенно и убийственно, за счет собственных распадающихся браков и за государственный счет: "Сдала мать в богадельню, чего от нее еще ждать". Тяжело решались, надрывно. Так что страх перед своей возможной будущей беспомощностью имеет опору в невеселом опыте множества других женщин. Интересно, что первые уколы остро, ледящего душу ужаса перед физической несостоятельностью многие женщины впервые ощущают во время беременности — "на сносях", когда

уже тяжело ходить и нагибаться. Вроде бы ничего общего, так чего пугается эта молодая здоровая баба? А все ее же, зависимости в других “предлагаемых обстоятельствах”: “Я впервые подумала о старости как о своем будущем. Лестницы, тяжелые двери, падающие чашки — а сама поднять не можешь, убрать не можешь. Или будешь это делать целый час. Мне сейчас помогают, у меня есть муж и мама. Моей неуклюжести умиляются: уточка, говорят, шарик. А тогда?”.

“Чармиан пробралась в библиотеку и понемногу разожгла угасший камин. Наклоняться ей было трудно, и она посидела в кресле. Пора бы уже и чай пить, самое время. [...] Чармиан вдруг почувствовала восторг и трепетание. Неужели она сама приготовит чай? Да, попробует. Чайник был тяжеловат. Наполовину наполненный, он стал еще тяжелее. И затрясся у нее в руке, болезненно оттягивая тощую, крупно испятнанную старческую кисть. Все-таки она подняла его и поставила на конфорку. [...] Она ощущала в себе силу и бесстрашие”*.

Это бесконечно долго, но самостоятельно готовит себе настоящий английский крепкий чай все та же старая дама из романа Мюриэл Спарк. Я сократила описание раз в семь, хотя оно прекрасно своей детальностью: каждое простое действие совершается, как восхождение на Фудзияму; все то, что раньше делалось “на автомате” и не стоило ничего, становится бесценным. Старой леди важно побыть одной и самой сделать себе чай. Она побеждает не только свои трясущиеся руки и коварный чайник — и главным образом не их.

Сила и бесстрашие — вот что понадобится нам всем, даже если представить себе идиллическую картину умытой, подтянутой старости в окружении любящей семьи. Так получится не у каждой. И дело не в “неблагодарных детях” — даже самые нежные и заботливые из них сегодня предпочитают жить отдельно. Они заняты. Они должны быть очень, очень заняты: на глазах изменилась формула житейского успеха, им придется “вертеться”. Может быть, они помогут с бытовыми вопросами, с лекарствами и врачами, но выслушивать наши рассуждения об устройстве мира и воспоминания молодости вряд ли будут. Нам по-прежнему будет очень нужно общение, друзья. Позаботиться о том, чтобы они были, придется заранее. Спутники жизни — дай им Бог здоровья и долгой жизни — не всегда смогут и захотят поддерживать потребность в “разговорах запросто”: это мы уже проходили в другие периоды, вряд ли что-то изменится и в старости.

Старинные подруги поздних лет жизни — это особое, ни с чем не сравнимое сообщество. В чем-то смешные (“Как ты можешь с ней общаться, она

*Спарк М. Избранное. — М.: Радуга, 1984.

же в полном маразме!"), а в чем-то — вызывающие преклонение. Бесстрашие выйти из дома в гололед, только чтобы поздравить "эту старую перечницу" с днем рождения и подарить какой-нибудь пустяк, — поразительно. Стойкость в борьбе с подступающей дряхлостью, шуточки и издевки по поводу собственных болячек — величественны. И похоже, что именно женская дружба — да-да, та самая, о которой сказано столько неместного, — останется с нами до самого конца. Если сложится, если заслужим.

По крайней мере, когда я смотрю на семидесятипятилетних подруг моей мамы, хочется на это надеяться. Их жизнь — жизнь интеллигентных старых дам со скромными доходами — трудна, их домашние обстоятельства могут быть довольно печальны и даже трагичны. А вот поди ж ты, с ними бывает веселее, чем в более молодых компаниях. (Мне кажется, что вообще интереснее и полезнее выбирать симпатичных, привлекательных для тебя людей из следующей возрастной категории: они уже пережили то, что ты только собираешься пережить, и ничего. Какой мне хочется быть в срок, пятьдесят или еще позже? Будет, разумеется, по-другому — важен настрой).

Громко и страстно — многие глуховаты, что поделаешь — они обсуждают какие-нибудь премьеры или вчерашние новости; их, впрочем, легко совлечь с публицистического пути, спросив что-нибудь о профессиональном прошлом или вот об этой прелестной брошечке. Рассказы об общих знакомых и коллегах бывают очень занятыми и смешными, уважение к тем, кто делает свою работу первоклассно, — неподдельным, а пироги с луком и яйцом — настоящими пирогами с луком и яйцом. Они собирают свои "посиделки" вдохновенно и ревниво: кто что печет, кто чем удивит. Печень и поджелудочная, между тем, капризничают — да и ладно, не так важно съесть, как "потрепаться". Как они рассказывают неприличные анекдоты! Как толково и подробно передают кулинарные рецепты! Для меня совершенно очевидно, что секрет их достойной старости — в интересах, выходящих за пределы семьи, отношений и даже бывшей карьеры. В способности интересоваться чем-то, что не имеет к тебе прямого отношения. Их послушать, так Лондон состоит из одних музеев, а вчерашняя премьера режиссера Эн безобразнее всякого теракта.

Это никак не противоречит практическому складу ума — вообще-то они своего не упустят и вовсе не наивные "институтки". Их записные книжки полны полезных телефонов ветеринаров, туроператоров, автомехаников и еще Бог знает кого. Спорт и "прикол" состоит в том, чтобы получить качественный сервис по скромным ценам и рекомендовать понравившегося специалиста "своим". Все довольны и есть о чем поговорить, если с премьерками на неделе бедновато. Каждая из них по-прежнему что-то делает впервые. Моя мама, например, села за компьютер в семьдесят два года, а

когда я искренне восхищаюсь ее успехами, скромно говорит: “Просто мне нравится делать то, что я еще не умею”. К слову сказать, она надела свои первые джинсы в шестьдесят, сварила первое варенье под моим телефонным руководством в шестьдесят восемь, а первый пирог испекла в семьдесят. Так сложилось, что все эти навыки раньше были не очень необходимы, а джинсы на работу она носить не могла ну никак. Еще ей нравится поздно вставать и поздно ложиться — можно, например, поболтать по телефону в час ночи. О годах, проведенных на службе, мама говорит: “Просто я всю жизнь жила не по своему расписанию, а теперь живу по своему”. Мне нравится сама идея: никогда — понимаете, никогда — не поздно начать жить по “своему расписанию”.

Есть у американской поэтессы Дженни Джозеф стихотворение — даже довольно известное, я видела его первые строчки на стенке в метро во время какой-то заумной культурной акции. Называется “Предупреждение”. Некая дама рассуждает о том, какие непотребства и свободы она сможет себе позволить в старости, когда уже не нужно ничем казаться.

Пенсию буду тратить на бренди,
летние перчатки и серебряные босоножки,
а говорить, что на хлеб не хватает.
Устану — сяду прямо на тротуар, а что?
Буду по мелочи приворовывать в магазинах,
срывать стоп-краны и своей клюкой —
ах, пардон, тростью —
пр-проводить по всем решеткам.
О, я отыграю за всю трезвость своей молодости!

Она заканчивает обещанием наконец-то научиться смачно сплевывать. И мы понимаем, конечно, о чем это: о свободе больше не думать о том, что подумает. О веселом, озорном воплощении все той же Бабы-яги: страшноватая, но обаятельная. Впрочем, это никоим образом не универсальный путь — их вообще не бывает.

К тому, что “смеркается медленно, но темнота наступает быстро”, приготовиться, наверное, вообще невозможно. Как сказала бабушка Раиса Григорьевна как-то рано утром (ей было за восемьдесят): “Вот как смешно человек устроен: ну, казалось бы, жизнь прошла — а все просыпаешься и чего-то ждешь”. Мне нравится это незатейливое замечание — так, между делом, расчесывая поредевшие седые волосы, она рассказала некий важный секрет. Урсула Ле Гуин сформулировала похожее наблюдение так: “Единственное, что делает жизнь возможной, — это вечная, невыносимая неуверенность: незнание того, что случится дальше”. Поживем — увидим.

МЫ ДЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ ПОЙДЕМ ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Счастье человеческое очень редко, наблюдать его очень трудно, потому что находится оно совсем не в том месте, где ему быть надлежит. Я это знаю.

Н.А. Тэффи

Про счастье тоже сказано так много и такими уважаемыми авторами, что даже как-то неудобно присоединять к этому свои соображения. Но бывает, что спрашивают: а вот скажите как психолог... И ладно бы речь шла о счастье вообще, тут, на худой конец, можно пофилософствовать; все-таки тема интригующая, все его так или иначе испытывали, но производить в промышленных масштабах не умеет никто. О женском счастье, сами понимаете, философствовать приличным не считается, оно даже упоминается обычно с эпитетом “простое”.

Однажды случилось так, что некая программа телевидения заинтересовалась моими опубликованными “соображениями” по поводу женского счастья, сочтя их необычными и шокирующими, и пригласила поговорить на эту тему в эфире. Как только я увидела свою ведущую (молодую даму, у которой я по сюжету должна была быть “в гостях”), мы друг друга невзлюбили. В такие гости я бы не пошла ни за что на свете. Хозяйка тоже предпочла бы принимать кого-нибудь другого, но работа есть работа. И у нее, и у меня. Так что кое-что общее у нас все-таки было, и разговору следовало состояться.

Передо мной сидело очень красивое, очень искусно сделанное, совершенно равнодушное существо. Больше всего ее интересовало, не выбилось ли что-нибудь из прически, рука автоматически так и рвалась поправить и лишь усилием воли оставалась на месте. Перед ней сидела немолодая, не совсем ей понятная и приятная, совершенно чужая по духу тетенька, ко-

торой нужно было вежливо задать соответствующие вопросы. “Что же вы посоветуете нашим телезрительницам?” “Боже мой, — думаю, — сейчас восемь утра. Наши телезрительницы то ли провожают детей в школу, то ли пулей вылетают на собственную работу, то ли стряпают завтрак для семьи, а может, и вовсе еще спят, если их график такое допускает. С какой стати они будут слушать советы совершенно постороннего человека на такую личную тему?” Но как-то я, тем не менее, выкручивалась, на вопросы более или менее отвечала, рассказывала какие-то, с моей точки зрения, занятные байки о счастливых женщинах. Оказалось, кстати, что знаю их довольно много.

Так я чуть не стала “специалистом по женскому счастью” и, конечно, зареклась братья за такие темы. И вот... нарушаю данное слово и все-таки рискну об этом немножко поговорить. Уж очень тема неизбежная. В конце концов, все так называемые женские проблемы и их решение так или иначе упираются в этот вопрос. Счастья, большого счастья в личной жизни, как пишут в новогодних открытках, даже самых формальных, и успехов в работе, добавляют еще. И вам также, отвечаем мы.

Первое, что сразу приходит в голову, — счастье само по себе не может быть целью. Нет лучшего способа обеспечить себе недовольство, разочарование, хандру, массу неприятных переживаний, чем напрямую стремиться к счастью. Никто, впрочем, не знает, что это такое и как это делают, но именно желание быть счастливой и стремление к этому миру — явно ошибочный путь. Притом ошибка заключается не в способе достижения: ждать у окошка, зарабатывать тяжким трудом, красть, требовать — все не то. И насчет человека, который “создан для счастья, как птица для полета” — с этим нас явно надули всякие “буревестники”.

По всей вероятности, состояние счастья — это таинственный побочный эффект чего-то другого. Этот эффект мы получаем и испытываем не потому, что именно к нему стремимся, а в качестве вот такого, иногда неожиданного, “сопровождения” каких-то других задач, других жизненных путешествий, приключений, трудов. “По прямой” бывает счастлив только алкаш при виде стакана или крыса, нажимающая, пока не сдохнет, рычажок, соединенный с центром удовольствия в мозгу. Не потому ли выражение “полное счастье” обычно употребляют иронически, “в обратном смысле”? Ну полное счастье, дальше ехать некуда...

В самых лучших проявлениях жизни — в любви, в детях, в дружбе, в творчестве, эстетическом переживании, в природе — смешано много разного. И если иногда мелькнет это синенькое перышко — что ж, замечательно. Но синюю птицу на птицефабриках не разводят, не жарят и к столу не подают, ее нельзя контролировать, ее нельзя купить, нельзя застраховать,

нельзя обеспечить себе на всю оставшуюся жизнь. Более того, может быть, вот эта редкость, неожиданность появления... Чего? Этой искорки, этой блесочки, этого особого дыхания, *такого* ощущения полноты, праздника, радости как-то связано с самой природой столь загадочного явления. Оно очень уязвимо, его невозможно сохранить, законсервировать, положить в карман.

Именно поэтому — а может быть, только поэтому? — оно так ценится и так загадочно, и так хочется его испытать еще, и почему-то оказывается, что испытать это тем же способом, что в прошлый раз, — невозможно.

Существует много традиционных представлений о том, что все-таки служит источником женского счастья. Тут не поспоришь, потому что в качестве этих источников — составляющих, носителей? — называются предметы сами по себе замечательные: любовь, семья, работа, дети. И все-таки я вижу опасность в том, чтобы все это прочно связывать со счастьем, да еще и удивляться, почему мы его не испытываем, хотя все делали правильно.

Начнем с предмета самого популярного, который по традиции ставится первым, во всяком случае, у молодых женщин, — с любви. Отношения с мужчиной — как они важны, интересны и в каком-то возрасте заполняют просто полнеба! — хоть и значат потом немножко поменьше, остаются для нас чем-то важным практически всю жизнь. "Она любила", — не без зависти говорят о старушке "с прошлым", подразумевая: "Она жила".

Говорят ли так о "хорошо пожившем" старичке? Да, пожалуй, нет: он "пользовался бешеным успехом у женщин", "хорошо погулял в свое время", "от баб отбоя не было". Как и во многих других вопросах, здесь присутствует привычная "ошибка перевода" слов, которые для мужчин и женщин только звучат и пишутся одинаково. "Слово "любовь" для разных полов значит не то же самое, и в этом одна из главных причин взаимонепонимания, которое нас разделяет", — писала Симона де Бовуар. Со словом "счастье" то же самое. Одна из причин, по которым вряд ли можно именно с этой стороны ожидать счастья, как его понимают женщины, состоит в том, что для самих мужчин представление о счастье совсем другое. Оно прежде всего связано с успехом, причем с успехом, который признан обществом — другими мужчинами. Может быть, мировая слава — а может быть, уважение единомышленников. Может быть, открытие — а может быть, его признание. Победа в бою, красивый гол в ворота противника, финансовый успех, слава первого умельца и профессионала в своем деле. В конце концов, может быть, даже и успех у женщин, "отдых воина" и еще один способ переиграть других мужчин (даже если те об этом и не узнают). Достижение важнее отношений, миссия и долг важнее отношений, власть и статус важнее отношений. "Вот он скачет, витязь удалой, с чуди-

щем стоглавым силой меряясь, и плевать на ту, что эту перевязь штопала заботливой иглой”, — и это нормально. Что ж ему, витязю, сидеть дома и нитки для своей верной подруги сматывать? Она же первая его уважать не будет. Потому что в глубине души знает, что отношения с ней и не должны быть у витязя на первом месте, потому что выбрала в свое время именно такого, “настоящего мужчину”.

Когда муж при живой жене и троих детках везет свою секретаршу на Канары, при этом будучи пятидесятилетним дядечкой с животиком, он не стремится сделать ни несчастной — жену, ни счастливой — секретаршу. Он выясняет для себя совсем другие “отношения” — со своей наступающей старостью, со своим животиком, со своим материальным успехом, который позволяет ему это маленькое приключение. Но уверяю вас: счастье двух женщин, имеющих к этому отношение, их переживания никоим образом не являются его целью.

Когда благополучный и любящий отец семейства — пусть у него, смеха ради, тоже будет трое детей — приходит домой и наслаждается теплом домашнего очага, он может быть вполне доволен жизнью. Смотрит, как хлопчет жена, собирая ужин, треплет детей ласково и как бы находится в центре своего маленького симпатичного уютного мира... Каково его главное переживание, внутренний монолог? “У меня все в порядке, вот мой тыл, вот мои симпатичные шустрые дети, налаженный быт, жена, которая мне рада”. У него — здесь — все в порядке. Вытри нос, скоро придет папа. Короля играют приближенные.

Существуют, правда, другие пары, где очень многое построено на отношениях и выяснении этих отношений. Там буквально часами, глаза в глаза, задаются вопросы: достаточно ли тебе со мной хорошо, достаточно ли ты со мной счастлива? Но и в этом случае, как мне кажется, спрашивающий ищет всего лишь зеркала. “Достаточно ли я сделал тебя счастливой, дорогая?” — вот о чем идет речь на самом деле. И неизвестно, что мучительней: такое равнодушие первого примера или такой страстный и где-то в своей глубине эгоистический интерес последнего. Его “все в порядке”, его “хорошо”, его “счастливо” только в каких-то точках совпадает с женским. Это достаточно больно осознавать, довольно трудно чувствовать. Есть исключения, где-то точка превращается в прямую, в отрезок прямой — в моменты эмоционального контакта, настоящей близости мы совпадаем. Про такое еще говорят: “Они живут душа в душу”. Видимо, потому, что утрачиваем границы собственного “Я”. И это не может длиться долго, в противном случае цена для обоих оказывается слишком высока.

И все традиционные женские жалобы на то, что он предпочел семье работу, или он предпочел ей другую женщину, он предпочел машину, он пред-

почел карьеру — вся эта "классика" женских претензий и ревности, о чем она? Да про приоритеты, предпочтения: оказывается, ему для этого самого пресловутого счастья — "простого мужского счастья" — нужно *другое*. Может быть, вообще лежащее в совершенно других плоскостях, не в плоскости отношений. А может быть, то зеркало, которым являлась его подруга или жена, перестало его устраивать, потому что она уже знает слишком много, стала слишком точным зеркалом.

В свое время, предлагая руку и сердце, вежливый жених говорил: "Вы составите счастье всей моей жизни", — и при этом заведомо говорил неправду. Не по злему умыслу, а потому, что существуют какие-то лекала, прописи. Не женские ли ожидания отлиты в эту гипсовую формочку? И что бы этой дурочке не сказать именно то, что ей позарез хочется услышать? И стоит ли относиться к этому "протоколу о намерениях" так буквально? Ведь когда мы спрашиваем кого-то, как его дела, мы не ждем полного ответа! Впрочем, "руку и сердце" давно предлагают совсем другими словами. Недоразумение же живет и побеждает. "Составить счастье *всей* жизни" любимого мужчины, видимо, невозможно — не потому, что женщина чем-то нехороша, а просто потому, что у него есть другие дела и его "счастье" делается не с нею и не ею. Сварливые, ревнивые, вечно недовольные спутницы жизни — те, которые умудряются действительно осложнять и отравлять жизнь своих мужчин, — не пытаются ли они тем самым "сравнять счет"? Доказать свою значимость "от противного", так сказать. Печальная картина жертв и разрушений общеизвестна.

Но если немного подумать не о правых и виноватых, а о какой-то изначальной ошибке, то под пеплом домашних войн сплошь и рядом обнаруживается невольное, бессознательное допущение: я важна (а то и вообще — существую) постольку, поскольку отражаюсь в его глазах. Или — в глазах многих мужчин. Мое существование, моя самооценка, смысл и ценность моей жизни определяется тем, насколько я любима, желанна, нужна. Полуброшенная жена со стажем, затылком чувствующая поворот ключа в замке в пять утра и "девушка без комплексов", перебравшая три десятка партнеров в поисках кого-то особенного — что между ними общего? Да вот это: разными способами они пытаются самоутвердиться в любовной игре. Одна держит горячим ужин, другая — кое-что еще, но все равно держат: для них существовать — это существовать "на тему мужчины". В удивительно тонком и беспощадном романе Камиллы Лоранс "В этих руках"* в самом начале длинной цепи портретов, любовных историй, воспоминаний говорится следующее:

* Лоранс К. В этих руках. — М.: Монпресс, 2002.

“Я надеюсь героиню определенной чертой своего характера (я унаследовала ее от матери): все эти годы я не интересовалась — не могла интересоваться — ничем, кроме мужчин.

Это так. Да, это недостаток, если вам угодно. Недостаток внимания, односторонность ума. Она всегда смотрела на мужчин, ни на что больше. Ни на пейзажи, ни на животных, ни на предметы. На детей — если она любит их отца. На женщин — если они говорят о мужчинах. Любой другой разговор ей наскучивает, она чувствует, что просто теряет время. [...] Ей необходимо, чтобы страстный интерес, который она проявляет к мужчинам, возвращался к ней”.

И уже почти в конце романа, вновь кредо героини: “Ответить на желание, оправдать ожидание, быть объектом всех любовных стремлений: ребенком, женщиной, книгой — быть объектом любви”.

Разумеется, переживание любви — сильное переживание. В момент его наибольшей остроты мы прекрасны, бессмертны, как и наш избранник, мы существуем в отдельном взятом и изолированном от прочей вселенной раю для двоих, но все мы знаем — хотя в этот момент, конечно же, не помним, — что рая на земле нет. В том же романе Камиллы Лоранс есть прелестная в своей двусмысленности сцена: героиня читает статью для научного журнала, которую написал ее психоаналитик; она даже надеется — хочется сказать “воображает”, — что вдохновила его на этот текст. На какой же? “Любовь бессильна, даже если она взаимна, потому что не осознает, что она есть не что иное, как желание быть Одним, а это вынуждает нас признать невозможность установить между ними связь. Между кем? — Между двумя полами”*.

Хорошо, что эти моменты бывают в жизни. Хорошо и то, что они только *бывают*. Утрата иллюзии полного единства тел, душ, мыслей — это невероятно печально, но, наверное, необходимо. Не потеряв эти золотые мгновения, дни, месяцы, мы не становимся мудрее или взрослее. Худшее, что мы можем сделать, — потеряв, решить, что все дело только в том, что это не тот мужчина. Очень велика вероятность, что “не тем” окажется и следующий, и следующий, и еще один. Мы можем прийти к совершенно неверному выводу, что с самими мужчинами что-то не так. Возможно, мы их выбираем таким образом, а возможно, снова попали в плен иллюзий: мол, если очень любишь, синее сияющее перышко можно сохранить как имущество.

Есть такая точка зрения — она, наверное, спорна, на каждую точку зрения есть десяток других, — что радости, счастливые моменты любви даны нам

*Там же.

как бы авансом. Если отношения сохраняются, то эти блесочки, этот свет позволят пережить все то трудное, иногда мучительное, что обязательно приносят любые близкие отношения с другим человеком. И именно потому, что зрелая любовь — тяжкий труд, нам подарено так щедро, так легко это сияние вначале. Мы его еще ничем не заслужили, это "предоплата". Своего рода гуманитарная помощь — чтобы немного смягчить для нас труды и усилия последующего развития отношений.

Иногда из-за испытанной боли, трудностей, отчаяния перед взаимонепониманием женщины внутренне принимают решение больше в серьезные отношения с мужчинами не вступать: меня использовали, вот и я теперь буду их использовать. К счастью, чаще это решение неокончательное, "срок действия" — время зализывания ран, и в таком случае оно вполне функционально. Одна остроумная англичанка предупреждала читателей своей колонки примерно так: "Не надейтесь на твердость такого рода решений. Стоит поклясться ни к кому больше не привязываться, довольствоваться хорошим сексом и ничего не ждать от отношений, как ловишь себя на том, что в пять утра, лежа рядом с мужчиной, чье имя ты не в состоянии вспомнить, придумываешь имена для пятерых детей от этого незнакомца". В конце концов, потребность *придавать отношениям значение* довольно сильна.

Трудно предположить, если подумать хотя бы две минуты — а нам больше и не понадобится, — что это может быть источником счастья, вырабатывающим его регулярно и постоянно, как об этом твердит сентиментальная легенда.

Но может быть, счастье не в любви, а в семье как таковой, детях? Дети, в отличие от мужчин, имеют одно удивительное свойство (если, конечно, мы не говорим о мужчинах-инвалидах или очень уж инфантильных): они в нас остро нуждаются, и нуждаются постоянно. С детьми мы востребованы, мы самые главные. Конечно, семитысячный крик "мама" может уже немножко раздражать, будем честны. Но вот собственная единственность для этого существа, твоя абсолютная, бесспорная нужность — это важно. И не она ли заставляет многих без остатка растворяться в детях, лучшие свои душевные силы в них вкладывать? Почему мы верим в то, что так и будет продолжаться? Хорошая мать, не идеальная, не святая, — а та, которая рядом с ребенком, когда она ребенку нужна, и не рядом, когда он может без нее обойтись, которая в каком-то смысле не впала в зависимость от любви и привязанности своих детей, которая ими не кормится, не использует их как источник душевного питания, не тянет это счастье, как одеяло, на себя.

Ощущение, что ты нужна своим детям все меньше и меньше, и не так, и реже, может быть очень болезненным. И это тоже утрата и печаль. Но не

пережив эту утрату и печаль, их не вырастишь. Работа не будет сделана, не отпустишь их в мир с благословением своей любви, но без мягкой удушьяющей руки на горле. Поскольку дети — дело долгое, от момента, когда мама начинает как-то относиться к нему, еще не рожденному, до момента, когда она, продолжая любить, ребенка отпускает, проходят годы. Много лет, если ребенок один, и еще больше лет, если их несколько. Годы и годы постоянной, ежедневной, почти ежечасной работы позволяют нам чувствовать и думать, что это что-то вечное, постоянное, — “жизнь для детей” считается пожизненной установкой. И является одним из самых горьких обманов в жизни взрослой женщины.

Дети вырастают и все равно уходят. Женщина может решить, что остается теперь только ждать внуков, и это означает, что она намеревается отобрать ребенка либо у сына, либо у дочери. А если у сына, то значит — у матери этого ребенка. Велик соблазн сыграть в эту беспроигрышную лотерею счастья еще раз, ощутить осчастливливающее золотое свечение детской привязанности. Решения могут быть и другие. Например, многие женщины, слишком много ожиданий возложившие на “счастье материнства”, резко отдаляются от своих выросших детей, сохраняя обиду: “Ах, я вам больше не нужна, ну так вот же вам”. Некоторые, в бессознательном стремлении сохранить эту связь, начинают болеть, потому что “мама болеет”, — это серьезно, это важно. Далеко не многие способны с благодарностью завершить эту главу своего опыта и, оставаясь матерью своим детям, по-прежнему оказываясь рядом, когда это нужно, двигаться дальше. Куда, собственно?

Не столь традиционно — не веками, а всего лишь десятилетиями сложено — представление о том, что при известных условиях источником счастья может быть дело, работа. Разумеется, если она “по призванию”, “любимая”.

Много лет назад выпивали мы университетской компанией у одной моей однокашницы. Ее матушка произнесла тост, всех подтекстов которого мы, сопливые, тогда понять не могли: “Дети, ваша жизнь сложится так уродливо, что самым важным в ней будет работа. За то, чтобы это по крайней мере была хорошая работа”. С тех пор переменялось многое — например, стало возможным представить себе такую женскую судьбу, в которой работа не только не самое важное, но и вообще не играет роли. И девочки, что сидели за тем столом, решили для себя этот вопрос по-разному — разумеется, годы спустя, когда стало возможно выбирать свой ответ: дочь хозяйки, например, стала успешной и известной бизнес-леди, то есть “выполнила и перевыполнила” предсказание мамы. Нашлись и другие ответы, гораздо более неожиданные, чем можно было представить тогда. Но и тогда, и даже теперь большинство женщин все-таки не мыслят себя вне профессии,

без "хорошей работы". Она требует немалых жертв, но и дает немало: ощущение места в большом мире, признание, особое удовольствие *уметь и делать*, азарт, чувство общности с коллегами, право конкурировать с ними же, собственные деньги, пищу для ума, возможность самоутверждения, уважительную причину для дурного настроения и невнимания к близким, встречи с разными людьми (в том числе и совершенно чудовищными), поездки в Урюпинск или Париж — это уж как повезет...

По-настоящему увлеченные люди, будь то мужчины или женщины, часто испытывают, особенно в середине жизни и позднее, самые острые переживания именно в связи с этой сферой. И — да, подумав минутку, нельзя не согласиться с Лидией Гинзбург: "Жить без профессии нельзя. Работа должна быть поднята если не до пафоса, то хотя бы до профессии, иначе она раздавит бездушностью. Можно халтурить попутно, но жить халтурой нестерпимо".

Казалось бы, все к лучшему в этом лучшем из миров: еще одна область реализации, еще один источник счастья. Но и тут существует свой парадокс, своя ловушка. Если работа делается просто так, если в нее не вкладывается душа, если с ней не возникают отношения страстные и напряженные, если это не дело жизни, то и о счастье говорить не приходится. А если работа становится буквально жизнью? Мы все встречали увлеченных, талантливых, замечательных женщин, которые действительно жили работой. Но тут неумолимо вступает в действие такая тяжелая правда, которую мы не всегда хотим помнить: никакие отношения не длятся вечно. Так же, как и с любимыми другими отношениями, — гарантий нет. Есть конкуренция, есть необходимость перестать делать то, что ты умеешь делать хорошо, и начинать делать то, что ты пока умеешь делать не очень хорошо, то есть рисковать, бояться, дергаться, переживать, не спать ночами. Очень больно ощущать, что твой опыт и умение сейчас почему-то оказались невостребованными.

И часто отношения с любимой работой, которой отдана жизнь, заканчиваются так же, как и отношения в семье, — горечью, ощущением того, что было столько вложено, и вот я никому не нужна. И точно так же, как в личных отношениях: прекрасно, когда есть этот огонек, эта божья искра, это замечательное ощущение "могу и делаю". И очень опасно, когда ожидается некая "благодарность", фиксированный результат, которому ничто не может повредить и который никто не может отобрать. Почти всегда это ошибка, тяжелые и болезненные чувства за ближайшим поворотом. Даже умнейшие и талантливейшие не избегли такого печального удела. Может быть, в изначальной женской установке на приоритет отношений кроется особое коварство этой ловушки: не слишком ли мы прикипаем к делу и "команде" (ну, коллективу, какая разница)? Не слишком ли выкладываем

ся — все по той же извечной привычке “отдавать любимым все”? Не надемся ли тайно на похвалу, на высокую и уважительную оценку тех, кто всего лишь использует наш труд?

Работать, знать свое дело, получать за это достойные деньги, чувствовать свою успешность, свою компетентность — одна из наибольших радостей жизни. Но точно так же, как и в других значимых отношениях, синее перышко и здесь не дается в руки. Более того, именно фантазия о гарантированном обладании им, похоже, и делает нас несчастливими.

Вот и получается печальная история про “обманутых вкладчиков”: кому-то или чему-то приписывается функция постоянного сохранения и умножения вложений. Но если нечто можно “дать” или “не дать”, если кто-то может “сделать счастливой”, а кто-то — “заслуживать счастья”, то выходит сушая ерунда. Кто, собственно, это решает? Муж, начальник? Экзаменационная комиссия? Полный бред...

И, пожалуй, самое главное — как быть с непонятным, но засвидетельствованным многими фактом: острое ощущение счастья может посетить любую из нас в тяжелую и объективно неблагополучную минуту жизни. Когда все из рук вон плохо. Когда тревожно, одиноко, трудно. А может быть, не так уж и плохо, но причин для ликования вроде бы никаких. Или оно не так уж нуждается во внешних причинах? Может быть, способность испытывать счастье сродни способности испытывать искреннюю благодарность?

В зимний вечер, в снег и слякоть
Страж мой верный, ангел мой
Посылает мне троллейбус,
Самый теплый и сухой.

Ночью темной и огромной
С полки сбрасывает мне
Книжку давнюю, родную,
О неведомой стране.

В липкий, душный полдень летний
Он, погоду не кляня,
На скамейке у фонтана
Держит место для меня.

И в толпе, хоть раз в декаду,
Страж мой милый, ангел мой
Для меня организует
Восхищенный взгляд мужской.

Так чего же мне бояться?
И на что же мне роптать?
Что не можно с ним обняться?
Шкуруку сжечь? Врасплох застать?
Марина Бородицкая

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО...

Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая, но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в запертую дверь.

*Хелен Келлер,
глухонемая американская писательница*

На этом мы исчерпали "музыкальные темы", которые связываются со счастьем традиционно или даже не совсем традиционно. Остальные совсем рядом, мы все их знаем, но почему-то "женское счастье" в своем бытовом, разговорном значении их не включает. Возможно, неспроста.

На одной из женских групп молодая мама двоих симпатичных детей и жена весьма достойного мужа Ксения поставила вопрос так:

- Все, что принято считать женским счастьем, у меня есть. Только здесь могу признаться, что отчаянно не хватает другого. Какого-то состояния души, которое мне знакомо по прошлой жизни, но уже много лет меня не посещало. Без него я превращаюсь в бытовую технику, и это пугает.
- Ксения, давай попробуем заглянуть в это состояние души. Где оно могло бы тебя посетить?
- У моего рабочего стола. Я раньше, до детей, занималась дизайном. Мой материал — кожа. Я прямо вижу эти разноцветные лоскутки, инструменты... Это было такое счастье!
- Давай посидим за твоим рабочим столом (тут мы быстренько его обозначаем) и послушаем, что происходит внутри: мысли, чувства...
- Первое, что приходит, — это физическое ощущение. Я на своем месте, мне легко дышится, мои глаза широко открыты, руки пока просто перебирают материал, но в любую секунду готовы работать. Как будто сами, по наитию. Внутри все готово к движе-

нию, маленький импульс — и вперед. Я живая. Вся, целиком. Это место... Здесь не просто хорошо, это больше.

“Особое состояние души”, которое прозвучало в монологе Ксении, показалось настолько важным, что мы задумались о том, где для разных участниц группы это место, где “не просто хорошо”, где чувствуешь себя настолько живой и настоящей. Мы понимали, что речь может идти и не о конкретном месте — наша условная выгородка уже приобрела символический смысл особого, не бытового пространства. И разные женщины — молодые и не очень — садились на этот стул и вспоминали вслух те занятия, которые для них связаны с этим особым переживанием. Там было то, что посторонний назвал бы “увлечениями”, — и то, что посторонний вообще бы не потрудился назвать, но мы-то посторонними не были, мы были допущены к “особому состоянию души”, и душа оказывала нам честь, облекая свои переживания в слова. И конечно, было понятно, что словами все не выразить. “Входов” в особое пространство оказалось множество, “партнерами” в этом состоянии были самые разные дела, предметы и существа.

Компьютер. Мольберт. Белый лист бумаги. Лошадь. Кухонный стол с набирающим силу тестом. Двое внуков, четырех и шести лет, ступающих по лыжне перед своей бабушкой. Горная тропа. Флейта. Охапка цветов, которые могут стать букетом, композицией. Письма, которые пишутся далекому другу. Черная влажная земля, ожидающая посева. Танец-импровизация босиком в пустой квартире. Сказка для маленькой дочери, рождающаяся тут же, из головы.

Очень просто. Ничего выдающегося — среди них не было ни балерин, ни поэтов, ни впадающих в транс духовидиц. Они говорили об этих простых делах, как будто выдавали секрет. Секрет известен, но секретом быть от того не перестает. Вход в иное царство, в Страну чудес, так уж повелось, лежит совсем близко: коровье ухо и кроличья нора. Вход в особое состояние души не охраняется, за него не конкурируют, его не пристало связывать со счастьем, — а между тем оно именно здесь ближе, чем где-либо. “Двери” оказались совершенно разными, само же состояние — узнаваемо всеми и не нуждается в том, чтобы его “пробовали на зуб”. Настоящее, настоящее — как удар сердца.

И без него в самом деле ни любовь, ни семья, ни работа не обладают тем смыслом, той радостью, которые делают их действительно важными частями нашей жизни. Некоторые называют его “творчеством”, хотя слово это опасное — почти как “любовь” или “счастье”. Импульс, огонек, движение, которое заставляет создавать — или не заставляет, потому что если эта пружинка есть, она найдет, к чему приложиться.

Воспитание детей для многих женщин становится настоящим приключением, воистину делом творческим, со всеми страстями, разочарованиями, догадками, озарениями, которые свойственны любому творчеству. И тогда происходит нечто важное: сама мама меняется, перерастает простую — и такую понятную — потребность "быть нужной"; в ней зреют зерна мудрости и интуиции, которые дадут ей силы и для следующего жизненного цикла. Работа может быть точно таким же полем для творчества: умение придумать, реализовать, вовремя увлечься и вовремя остыть, опыт завершения и "отпускания" готового результата остаются внутри, что бы ни стряслось с самой работой как "местом", организацией.

Даже простые — совсем простые — дела жизни приобретают совершенно другую окраску, другой смысл... Женщины, которые любят и умеют готовить и получают от этого настоящее удовольствие, радуются возможности испечь вот такой-то невероятный пирог или засолить по редкому рецепту грибы, может, и не называют это "творчеством", но все симптомы-то налично! Блеск в глазах, несколько учащенное дыхание, полная сосредоточенность, почти транс; радостное возбуждение, выдох творца в конце. Предмет, возможно, не возвышенный; кроличья норка, коровье ухо... Все это будет съедено через два часа, о чем тут вообще говорить? О процессе. О состоянии, которое превращает тяготину жизнеобеспечения в осмысленное дело, придает красоту и завершенность вот этому моменту ее единственной жизни: "Свет смысла нам разогревает щи и воду кипятит в тазу для стирки, иначе, словно камень из пращи, душа летит из огнестрельной дырки". Один мудрый человек — сам, к слову, прекрасный кулинар — говорил когда-то: "Жизнь состоит из тысяч неинтересных дел. Просто их делать — тяжело, скучно. Значит, нужно добавить какого-то интереса для себя, эксперимента, интриги. Сделать не сто процентов, а сто пять — чтобы пять были волшебными, неожиданными, цепляли за живое. И эти пять вывезут те сто". Украшая свой дом и придумывая новую игру с детьми, сочетая слова или цвета, находя остроумнейшее решение проблемы на работе или создавая что-то в своем саду, мы прикасаемся к очень сильному источнику, который одновременно находится внутри и вне нас, — кто-то же зажег этот огонечек?

Нашими руками, глазами, языком, танцующим или рожающим телом с миром говорит сила, которая и меньше, и больше нас самих. При всей разности предметов и языков ясно одно: это нежитейское, небытовое пространство (даже если речь идет о пироге); это место, где нас посещают подсказки и догадки, как лучше сделать, которые неизвестно откуда взялись. Это место и время полной сосредоточенности, когда можно забыть о том, сколько тебе лет, как ты выглядишь, хорошо ли ты сегодня с утра себя чувствуешь, место, где ярко и сильно циркулирует какая-то особая энергия.

В такой момент нам, конечно, важно, чтобы получилось, чтобы был результат. Но важно не только это. И то, как естественно — словно сам собой — ложится по руке инструмент, будь то кисть или секатор; и то, как ничего вокруг не существует — не хочется в этот момент ни на свидание, ни в магазин, никуда, а хочется быть именно здесь, даже нужно быть именно здесь, естественно быть именно здесь, — дает удивительное переживание целостности. Это я — и это не только я. Может быть, что-то большее, чем я. Может быть, даже испытываемые чувства — только камни в этой короне, только цветные нити в этом гобелене.

“Люди слова” подробно описали процесс своего творчества — им и карты в руки, им сам Бог велел словами это хорошо описывать. Многие говорили, что у них бывает ощущение, будто их рукой что-то двигает, что они ощущают себя то ли музыкальным инструментом, то ли парусом. Некоторые из них были людьми достаточно скромными и не приписывали своей личности каких-то уникальных свойств, не считали себя избранными, не говорили вслух о божественном начале, которое присутствует в этот момент. А тем не менее особое состояние предполагает, что присутствует кто-то и кто-то вдохнул — назовем ли мы это музами, Богом или как-то иначе. Нам всем, и нас безусловное большинство, знаком этот момент Посещения, и мы знаем, что его тоже нельзя поймать за хвост, посадить в клетку, зафиксировать и присвоить. Можно только создать условия в своей жизни для того, чтобы это случалось чаще. Но и в таком случае нам никто ничего не обещал и не гарантировал. Важное отличие вот такого творческого женского начала от всех традиционных источников “простого женского счастья” в том, что это начало само находит себе приложение. Если это существует как способность, как возможность, то оно обретет форму, притянутся и обстоятельства, и люди, и материал — все будет.

Где-то рядом всегда есть великие и неподвластные никаким житейским передрягам источники счастья: природа и искусство. Само по себе созерцание прекрасной картины или слушание замечательной музыки не заменяет ни человеческих отношений, ни житейского успеха. И тем не менее, если порыться в памяти, вспомнить по-настоящему счастливые моменты своей жизни — те, в которые можно было сказать себе “да, сейчас я счастлива”, то рядом со взглядом в глаза возлюбленного, рядом с улыбкой ребенка, рядом с высшим баллом за самый сложный экзамен обязательно вспомнится переживание музыки, поэзии, живописи и уж точно — переживание природы.

Этой “природой” может быть что-нибудь совсем дикое, когда рано утром входишь в озеро, над которым тянется утренний туман, и плывешь медленно, чувствуя, как туман оседает на волосах, и вот на берег выходит из леса косуля... И ты видишь одновременно воду и небо, ощущаешь тело и струе-

ние воды, видишь, как блестит карий глаз, как бьется жилка на стройной шее и как качается задетая зверем ветка за секунду до шумного прыжка обратно в чашу. В этот момент мир един, точно так же, как в момент творчества, и неважно, сколько тебе лет, замужем ты или нет, какие у тебя есть или будут болезни, удачи, потери. Это момент внутреннего единства, цельности — его, как и любое другое счастье, нельзя сохранить, но вопроса о том, счастье ли это, не возникает.

А может быть, это какая-то совершенно другая природа? Искусственная, парковая: пенятся какие-нибудь вьющиеся розы совсем в другой стране с более мягким климатом и более мирными нравами, отбрасывают кружевную тень вековые деревья, играют на стриженном бархатном газоне безмятежные собаки... И все это почему-то ощущается как укол в сердце — почти как тот укол, который мы испытываем, когда в сердце попадает стрела амура. И ощущение любви, и того, что мир прекрасен, раз могут быть такие розы, бывает настолько пронзительным, что опять-таки вопроса, счастье ли это, не возникает — полное переживание вопросов не задает. Вот оно, сейчас, с этим ударом сердца.

И очень близко, рядом с радостью и полным переживанием прекрасного, рукотворного и нерукотворного, существует общение. Когда обо всем этом — полный восторг! — еще можно и поговорить. Одно из отличий вот такого общения от бытового — к сожалению, чаще всего от семейного — состоит в том, что оно не имеет практической цели. Дома и на работе мы чаще всего обсуждаем что-то, решаем проблемы, а не общаемся. В широком смысле наше общение деловое, когда озабоченно — хорошо если еще и с удовольствием, с юмором — мы говорим вечером о том, что нужно сделать завтра, или о том, как мы будем проводить отпуск. Это общение для какой-то цели, для принятия решений. У него есть результат, есть и критерии эффективности: за минимальное время — максимум информации и решений. Все по делу. "Делом" может быть хоть простуда ребенка, хоть сегодняшней ужин, хоть прием на работу нового пресс-секретаря.

Общение дружеское этой цели лишено. Мы разговариваем, говорим и слушаем, пытаемся выразить себя и услышать, как другой человек, например старинная подруга или приятель, тоже выражает себя. Мы ценим то, как этот человек это делает, а наш собеседник ценит то, как это делаем мы. Нам интересно. Могут присутствовать вторые и третьи "планы", подтексты. Могут существовать и общие дела: где-то там, вне рамок конкретного разговора. Нас может связывать сердечная привязанность, то ли прошлая, то ли будущая, то ли настоящая, но при этом нам еще и *просто интересно*. Нам нравится следить за ходом ассоциаций, за тем, как мысль делает свои повороты. Мы верим и не сомневаемся, что и то, как мы думаем и чувствуем, тоже интересно.

В дружеских отношениях важно бывает и другое: речь может идти о помощи, о поддержке, о том, чтобы выслушать в горе или посоветовать. Тогда эти отношения проверяются на истинность, прочность. Возможность же “просто поговорить” не связана с такими — почти кровными — узами дружбы. Она воздушней, в ней больше необязательного. Даже с человеком достаточно случайным находится общая нота, общий тон, и надолго сохраняется ощущение настоящего разговора, интереса. В тот момент, когда мы подхватываем мелодию и мысль или нашу мелодию и мысль подхватывает другой голос, мы вместе *творим* этот разговор. Результат этого творчества не предназначен для показа или тем более продажи, но процесс — прекрасен.

Такое общение совершенно не обязательно — и важно. Женской душе оно очень нужно, без него она чахнет. Жанр “разговора обо всем на свете” уходит корнями в юность, когда так сильна потребность в слушателе. Кому можно “сказать все” в пятнадцать? Лучшей подруге, и только ей. Разговоры — часами. То хихикают, то обе мрачнют, то умолкают, уходят в себя — и понемногу учатся выражать и описывать словами чувства и отношения. Задают вечные вопросы: что есть судьба? Трусость ли самоубийство? Лучше любить или быть любимой? И тут же — о том, что носят, кого с кем вместе “видели”, как правильно накрасить ресницы, с кем из мальчиков что было и чего не было. Вот когда возникают знаменитые женские разговоры обо всем на свете, которые раздражают мужчин и в пятнадцать, и в пятьдесят и названы ими “разговорами ни о чем”. У такого общения свой синтаксис, свои подтексты. Это — не обмен информацией, скорее уж мелодия. Контакт важнее содержания, процесс важнее выводов. В разговоре с хорошей подругой или приятелем нет “неважного” и “неинтересного”, и никто не назовет ваше вчерашнее плохое настроение “ерундой”. Это очень счастливые моменты, и они вполне определенно отливают синим блеском — как то перышко...

Однажды мне довелось просматривать материалы исследований, главной задачей которых было выделение ведущих факторов в представлении о счастье мужчин и женщин. Все это было изложено вполне академическим языком, основано на многочисленных и достаточно корректно проведенных опросах, когда люди разного возраста и пола описывали переживания счастья в своей жизни. Таблицы, статистика, ожидаемые результаты... Ну-с, что там с “простым мужским счастьем”? Как и положено — социальный успех, признание. А что же сказали женщины?

Когда конкретные ответы были обобщены и проанализированы, самыми “весомыми” оказались два источника. Первый — это возможность ощутить себя частью чего-то большего, чем ты сама. Когда я прочитала эти строчки отчета, у меня в голове что-то “щелкнуло” и картинки разных историй со-

вместились. И молодая мать троих малышей, полностью растворяющаяся в игре с ними, во времени "сейчас"... и женщина, сажающаяся за инструмент, чтобы сыграть ноктюрн... и прикусившая губу в поисках нужного слова, выражения или мысли... и выходящая на рассвете в свой сад — небо, яблоки, трава под ногами — как бы вдыхающая этот миг, растворяющаяся в нем... и та, которая третий час кряду расписывает пасхальные яйца вечером Чистого четверга, — они все счастливы. Они все находятся в центральной точке переживания своего единства с чем-то, что больше. Забывают себя. Принадлежат. Поглощены — но, что важно, не навсегда.

Дети в любую минуту потребуют иного внимания — острого и без всяких признаков "благорастворения". Ноктюрну предшествовали нудные репетиции. Рукопись придется редактировать и править, сад — полоть, а до и после любого праздника бывают будни. И это тоже хорошо.

Да, а в качестве второго "фактора женского счастья" была упомянута возможность "выражать свой опыт словами". Беседовать, разговаривать. Не обсуждать вопрос, не проводить совещание со своим семейством, а именно выражать себя словами. Вот так все оказалось просто и неожиданно. И вполне независимо от того — тех, — кого традиционно считают "держателями акций" этого самого счастья.

Люди из мира устойчивых мифов — те же ребята с телевидения — воспринимали эти сведения как нечто не то чтобы сенсационное, но безусловно эпатажное: не может быть. Женщины должны быть счастливы не так! История про Люсю К., которая назло "любимому" переспала с пятью его друзьями — кажется, даже в один день — давно никого шокировать не может. История про тещу, отбившую зятя у дочери, тоже. Девушкой, оскальпивавшей подружку из зависти к кудрям последней, тоже никого не удивишь. А эти сугубо академические байки почему-то людей современных и "без комплексов" сильно смутили: как будто не Люся К., а они сами, что называется, не тем давали. Думаю, а не поговорить ли об этом на ближайшей женской группе? (О счастье, разумеется, а не о смущении нынешних "властителей дум".)

И одна темпераментная врач-нарколог сказала: "Вы знаете, не удивляет: ну, конечно, это так, а как же иначе?" И десять других очень разных женщин, находящихся в совершенно разных профессиональных, семейных и личных ситуациях, пожалы плечами, покачали головами и сказали: "Ну да, конечно. Мы-то это знаем. Не вопрос".

А говорили мы потом совсем не о том, "так" это или "не так", а об очень важной для всех присутствовавших проблеме: до какой степени, на какое время становится "частью чего-то большего", растворяться в этом "большем" для нас хорошо, а когда это становится рискованным и может пове-

сти к утрате границ собственной личности. А поскольку та группа была длительной, а занятие — последним, заодно подводили итоги и своей почти годичной работы. Одно высказывание кажется мне прямо связанным с темой: “Для меня этот год был, возможно, первым в моей жизни опытом таких отношений, когда можно сопереживать, симпатизировать, даже любить — но не вторгаться, не претендовать. Не жрать другого человека и не питать своей кровью. Я впервые за свои почти сорок лет поняла разницу между “быть рядом” и “слипнуться в ком”. И, кстати о птичках, я счастлива вот от этого ощущения разницы: я теперь знаю, что можно быть вместе, и это не грозит потерей себя; и можно быть отдельно, и это не означает, что тебя никто не любит. А вообще — хорошо быть женщиной. Столько возможностей быть счастливой...”

Ну да, конечно: возможностей время от времени испытывать совершенно разное, но тем не менее явное счастье гораздо больше, чем принято считать. Эти возможности вокруг все время, их очень много, они одновременно внутри нас и в мире. Конечно, они будут разными в зависимости от того, двадцать тебе лет, сорок или шестьдесят, но это возможности. И в какой-то период, на каком-то цикле жизни для нас самым главным будет любить мужчину или рожать ребенка. Но — в том же возрасте! — для другой женщины это может быть авторский проект или то, что она чувствует как свою миссию, “дело жизни”. И тоже не навсегда. Статистика не помогает решить проблемы нашей единственной жизни — “как у других” счастье не бывает, оно бывает “как у себя”. Завершается какой-то цикл, решаются его задачи — то, что вчера было важно и составляло смысл жизни, почему-то перестает быть таким важным: душа ищет других целей. Обычно в этот период мы переживаем кризис, и если находим другие цели, то новое, во что стоит вкладывать себя, то входим в новый цикл — и он тоже, к счастью, не последний.

Мне хочется поделиться воспоминанием об одном разговоре с очень-очень пожилой женщиной. Ей, наверное, было лет восемьдесят. Ее счастье, конечно, очень отличалось от моего, поэтому у нас вышел философский спор. Я помню его со всей отчетливостью, так, как будто это было вчера, хотя прошло уже довольно много лет. Мы разговаривали о растениях, и та старушка с ясными-ясными голубыми глазами и обветренной кожей — такая бывает у людей, которые много возятся в саду, — говорила очень высокие слова о радостях этой работы, о счастье видеть ранней весной, как сад просыпается, и укладывать его спать поздней осенью. Я слушала ее с удовольствием и интересом, хотя в тот момент меня гораздо больше занимало здоровье моего трехлетнего ребенка, обстоятельства карьеры и прочие трудные вопросы другого возраста. Она почувствовала, что мое внимание не полностью с ней, улыбнулась и сказала:

— Вот доживете до моих лет и поймете, что ничего лучше этого нет на свете, совсем ничего.

— Но позвольте, — сказала я, — а как же дети?

— Дети, — сказала она, — но ведь мы их называем "цветами" жизни именно тогда, когда они хорошие, любящие, нежные, а ведь они такими бывают не всегда...

— Хорошо, — сказала я, несколько опешив, — а любовь, творчество, работа?

— А вам в саду мало любви, работы и творчества? Где же больше?

— Пойдите, пойдите, ну а Бог?

— Так ведь люди рай садом себе и представляют, — ответила она.

Мне было нечего добавить, нечего возразить, все мои аргументы были полностью исчерпаны. Рассказываю эту историю не для того, чтобы согласиться с чудесной бабушкой-философом, и не для того, чтобы ей возразить. Мы не знаем, что для каждой нас будет счастьем через десять, двадцать, тридцать лет, но оно возможно и тогда. Другое — такое, до какого дорастем и какое сможем принять и узнать в лицо. Для того чтобы напомнить и вам и себе эту очевидную истину, я позволила себе потревожить память той чудесной старой женщины. И поэтому должность "специалиста по женскому счастью" останется вакантной, кому она нужна?

Пусть уж каждая в меру своего разумения разбирается с этим... ну, которого, говорят, на свете нет, но есть покой и воля...

ПОСТСКРИПТУМ: ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ СТРАШИЛКА

И что, в самом деле все так серьезно? Сплошные кризисы, переживания и работа над собой? Черепа со светящимися глазницами, лягушачьи шкурки, постоянные испытания? И даже “простое женское счастье”, оказывается, не за поворотом — “я могла бы побежать за поворот”, — а тоже требует своевременного похода в темный лес, да еще не один раз за жизнь? Фу, как скучно! У них там, наверно, в этих женских группах, собрались сплошные закомплексованные зануды — им и идти за огнем к Бабе-яге, а *нормальным женщинам* должно быть и от булавок светло! Так или примерно так. Слышала, и не раз. Позвольте, дамы и господа, категорически не согласиться — и не советую без нужды поминать жительницу темного леса. Все-таки богиня, хотя и “из бывших”...

Я-то, конечно, пристрастна. Да и сказала уже почти все: меньше, чем задумывалось, и явно больше, чем принято. Заглянем-ка мы напоследок не на женскую группу и не в окно избушки на курьих ножках — заглянем в очень серьезный и объективный аналитический доклад:

*“Надо сказать, что с точки зрения психологического состояния российских женщин около трети из них находятся, что называется, “на пределе” и только у четверти из них психологическое состояние достаточно комфортное. И хотя женщины, понимая свою ответственность перед семьей и детьми, стараются “держаться” и сохранять оптимизм, многие из них делают это буквально из последних сил (см. рис. 8)”**

На “рис. 8” смотреть не будем, ничего хорошего там не показывают. В поясняющий его текст, однако, заглянем:

*Женщина новой России: какая она? Как живет? К чему стремится? Аналитический доклад. Институт комплексных социальных исследований РАН. Российский независимый институт социальных и национальных проблем. М., 2002. С. 27. Курсив не мой — аналитиков.

“Почти половина российских женщин испытывает практически постоянное ощущение несправедливости происходящего вокруг, около трети считают, что, хотя так дальше жить нельзя, но сами они не в состоянии повлиять на происходящее вокруг и при этом никого не волнует, что с ними происходит”*.

А по большому счету, что случится в мире Настоящего Дела от того, что время от времени одна-другая — ну хорошо, и третья тоже — женщина будет находиться “на пределе”? Не сменится же от этого владелец телеканала, не уйдут в буддийские монахи депутаты, не проиграет наша сборная по футболу — то есть проиграет, но не поэтому. Даже водка не подорожает. И уж совсем никак это не отразится на новой коллекции галстуков от Армани. Понимаете, девочки, свою ответственность перед семьей и детьми? Вот и ладненько. И чтоб тихо. Перед очередными выборами о вас вспомнят и чего-нибудь наобещают, использовав тот же аналитический доклад.

И не думайте, что данные получены в каком-нибудь жутком месте с видом на кладбище, — это обобщенные результаты по всем возрастным и социальным слоям. Для безработных и пожилых цифры еще хуже, для молодых и успешных — получше, а в целом вот так. “Цифирь” нехороша, что и говорить. Но может быть, именно мрачный характер этих данных позволяет — да нет, заставляет! — задуматься о собственных решениях. Потому что, похоже, их больше ждать неоткуда. Придется самим...

P.P.S.

Жизнь, между тем, продолжается. Если это твоя единственная жизнь, то она продолжается “здесь и теперь”. И все же есть кто-то, кого “это волнует”: ты сама. И такие же, как ты, — все, кто готов думать, решать и поступать по-своему.

Не ждать справедливости, а просто делать для себя все, что можно. Дружить, любить, интересоваться многим и разным. Менять окружение, если оно мешает развитию, искать и находить поддержку и понимание. Подвергать сомнению стандартные сценарии женской жизни. Сохранять в себе способность удивляться, начинать все сначала и благодарить. Время от времени что-то делать исключительно для души и искать тех — мужчин и женщин, — с кем можно этот опыт разделить. Найти возможность говорить “своим голосом и о том, что важно для тебя”. В группе или где-то еще — это уже детали.

*Там же.

За годы работы я не раз убеждалась в том, что наши “последние силы” не такие уж и последние — если ты “у себя одна”, они находятся. Прабабушки могли бы гордиться нашей энергией, юмором, способностью радоваться и меняться. Что мы оставим дочерям и внучкам, зависит не только от обстоятельств. От кого же еще они узнают, что быть женщиной — хорошо?

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Благодарности
- 6 Чистосердечное признание автора
- 9 КТО БОИТСЯ ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ?
- 12 Своим голосом: женщины без мужчин
- 22 Дан приказ: ему на запад, ей — в другую сторону...
- 28 И все-таки что мы там делаем?
- 37 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
- 42 Поле чудес... в стране дураков
- 51 ШЛЯПКА, САЛАТ И СКАНДАЛ
- 62 Гроздь гнева
- 72 ГОРЕ УМУ, ИЛИ НЕВИДИМ У БАБ УМ — И ДИВЕН
- 79 Судьба отличницы
- 93 Теневая состоятельность, или “женщины ночи”
- 102 ТЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
- 110 Еще цветочки...
- 119 Мечтать не вредно...
- 124 “Фоторобот” мужчины моей мечты (МММ)
- 128 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
- 133 История нелюбимой Хрюшки
- 141 История Вариного веера
- 146 История про Тонино тело
- 154 Шабаш эгоисток
- 162 ПРО ЭТО, ДА НЕ ПРО ТО
- 171 “Дочки-матери” наоборот
- 182 БАБУШКИН СУНДУК
- 192 История розовой шляпы
- 200 Страшная баба

- 217 МАТУШКА, МАТУШКА, ЧТО ВО ПОЛЕ ПЫЛЬНО?
227 Хаос, далее везде
235 Мать-и-мачеха: в одном флаконе
243 Каре
- 246 ОСЕНЬ — ОНА НЕ СПРОСИТ...
254 Какие наши годы!
- 264 НАД ПРОПИСЬЮ ПО ЛЖИ
273 День 8 марта
- 278 РАЗЛУКА ТЫ, РАЗЛУКА...
287 Утро вечера
- 294 МЫ ДЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ ПОЙДЕМ ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ
304 А счастье было так возможно...
- 313 ПОСТСКРИПТУМ: ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ СТРАШИЛКА

Екатерина Львовна Михайлова

“Я У СЕБЯ ОДНА”,
или ВЕРЕТЕНО ВАСИЛИСЫ

Редактор И.В. Тепикина

Компьютерная верстка С.М. Пчелинцев

Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль

Научный консультант серии Е.Л. Михайлова

Изд.лиц. № 061747

Гигиенический сертификат

№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.

Подписано в печать 21.10.2002 г.

Формат 60×88/16. Гарнитура Оффисина.

Усл. печ. л. 20. Уч.-изд. л. 18,6.

М.: Независимая фирма “Класс”, 2001.

103062, ул. Покровка, д. 31, под. 6.

E-mail: igisp@igisp.ru

Internet: <http://www.igisp.ru>

ISBN 5-86375-049-9 (РФ)

www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”